

ДОМИНАНТА

DOMINANTE

DOMINANTE

Almanach für Literatur und Kunst

ДОМИНАНТА

Литературно-художественный альманах

München 2017

Impressum

Herausgeber: >Dialog< Neues Münchner Kunstforum e.V.
Asam Str. 8, 81541 München
Telefon +49 (0)89 65 60 52 Telefax +49 (0)89 65 86 50

Chefredakteur: Simon Gourari
info@almanach-dominante.de
texte@almanach-dominante.de

Redaktion: Eitan Finkelstein, Brigitte Huber, Elena Kazjuba, Konstantin
Kedrow, Vadim Perelmuter, Joelle Ribas, Sigrid Richter, Axel
Sanjosé, Norbert Preuß

Design und Gestaltung: Anatoli Steinberg (†), Simon Gourari

Die in der *DOMINANTE* / *ДОМИНАНТА* veröffentlichten Beiträge geben die Meinung
ihrer Verfasser oder Verfasserinnen wieder und nicht in jedem fall die des Herausgebers
oder der Redaktion.

Printed in Germany: VS Druck + Versand e. K.
Alle rechte sind vorbehalten

ISSN 1863-6322

Dominante 2014 / 2015 / 2016

СОДЕРЖАНИЕ / INHALT

Дороги прозы / Die Wege der Prosa

Franz Kafka Erzählungen / Франц Кафка Рассказы	6
<i>Übers. / Пер. (d/r) И. Самойленко</i>	
Владимир Абрамсон Рассказ «Признание Доры»	10
Борис Сандлер Роман «Томление души на полпути к тебе»	22
<i>Übers. / Пер. (jüd/r) Э. Финкельштейна</i>	
Erich M. Remarque Novelle „Der junge Lehrer“	54
Эрих М. Ремарк Рассказ «Молодой учитель»	
<i>Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника</i>	
Julien Hebenstreit Novelle „Die Fliege“	60
Жюльен Хебенстрайт Рассказ «Галстук-Бабочка»	
<i>Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника</i>	

Domizil des Drama / Дом драмы

Роман Перельштейн Пьеса «Допрос »	66
Roman Perelstein Theaterstück „Das Verhör“	83
<i>Übers. / Пер. (r/d) Е. Schewtschenko</i>	
Константин Лопушанский Киносценарий „Иерусалимские хроники“	103

Речь поэта / DichterREde

Gedichte von KZ-Gefangenen / Стихи узников концлагерей:	150
Isroel Stern / Изроэль Штерн, Rachel Korn / Рахель Корн,	
Pavel Friedmann / Павел Фридманн, N.N./Н.Н.	
<i>Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника</i>	
Yvan Goll Gedichte / Иван Голль Стихи	158
<i>Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника</i>	
Борис Хазанов «К северу от будущего: Хайдеггер и Целан»	164
Константин Кедров Стихи / Konstantin Kedrow Gedichte	174
<i>Übers. / Пер. (r/d) И. Самойленко</i>	
Hilde Domin Gedichte / Хильде Домин Стихи	182
<i>Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника</i>	
Николай Шамс Стихи / Nikolai Schams Gedichte	188
<i>Пер. (r/d) И. Самойленко</i>	
Нури Бурнаш Стихи	212

Сергей Бирюков Стихи / Sergei Birjukow Gedichte Übers. / Пер. (r/d) M. Schuhmacher.	218
ПеРеぞды / ÜbeRsEtzungen	
Пауль Целан «Фуга смерти» Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника, Р. Вайнера	172
Райнер Мария Рильке «Пантера» Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника, И. Самойленко	200
Осип Мандельштам Стихи / Osip Mandelstam Gedichte Übers. / Пер. (r/d) I. Samoilenko	202
Àxel Sanjosé Gedichte / Аксель Санхозе Стихи Übers. / Пер. (d/r) И. Самойленко, В. Перельмутера	204
Вадим Перельмутер «Птицы» / Vadim Perelmutter «Fögel» Übers. / Пер. (r/d) A. Sanjosé	210
МИниатюры / MIniaturen	
Елена Кацюба Стихи / Elena Kazuba Gedichte Übers. / (r/d) D. Tenjatnikow	226
Gerhard Bachleitner Gedichte / Герхард Бахлайтнер Стихи Übers. / Пер. (d/r) I. Lein	232
ФАкультатив / FАkultativ	
Lew Schestow Studien / Лев Шестов Студии Übers. / Пер. (r/d) I. Samoilenko	236
Anton Röhr «H. Rosas Soziologie der Weltbeziehungen»	242
ФАнтoм художника / Le FАntôme des artistes	
Вадим Перельмутер «Записки без комментариев»	247
Kerstin Blum „Irina Gerschmann: Eine Reise zur Identität“	267
СОЛЬные размышления / SOLO	
Семен Гурарий «В поисках середины»	279
ЛАНдшафты языка / SprachLandschaften	
Наталия Волкова, Graziano Moretto, Genja Rykova, Elena Kaufmann, Марина Бочкова	301
Сюжеты Истории / Sujets der Geschichte	
Эйтан Финкельштейн «Мифы Холокоста»	316
Доcье / DOssier Об авторах / Über die Autoren	328

Franz KAFKA

DIE VORÜBERLAUFENDEN

Wenn man in der Nacht durch eine Gasse spazieren geht, und ein Mann, von weitem schon sichtbar - denn die Gasse vor uns steigt an und es ist Vollmond -, uns entgegenläuft, so werden wir ihn nicht anpacken, selbst wenn er schwach und zerlumpt ist, selbst wenn jemand hinter ihm läuft und schreit, sondern wir werden ihn weiterlaufen lassen.

Denn es ist Nacht, und wir können nicht dafür, daß die Gasse im Vollmond vor uns aufsteigt, und überdies, vielleicht haben diese zwei die Hetze zu ihrer Unterhaltung veranstaltet, vielleicht verfolgen beide einen dritten, vielleicht wird der erste unschuldig verfolgt, vielleicht will der zweite morden, und wir würden Mitschuldige des Mordes, vielleicht wissen die zwei nichts voneinander, und es läuft nur jeder auf eigene Verantwortung in sein Bett, vielleicht sind es Nachtwandler, vielleicht hat der erste Waffen.

Und endlich, dürfen wir nicht müde sein, haben wir nicht so viel Wein getrunken? Wir sind froh, daß wir auch den zweiten nicht mehr sehen.

DIE BÄUME

Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.

Франц КАФКА*Übersetzung / Перевод Ильи САМОЙЛЕНКО***ПРОБЕГАЮЩИЕ МИМО**

Если мы ночью в полнолуние прогуливаемся по переулку и видим бегущего навстречу нам незнакомца, мы вряд ли станем его задерживать, даже если он всего лишь жалкий оборванец, спасающийся от орущего преследователя. Нет, мы позволим ему бежать дальше.

Нам вовсе дела нет, что в полнолуние некто двое устроили для забавы погоню. А может быть они преследуют вдвоём третьего? Ведь если первый невиновен и его хотят убить, тогда мы окажемся невольно соучастниками убийства. Или оба не имеют понятия друг о друге и каждый торопится просто на свой страх и риск домой. А если это лунатики? Или этот оборванец вооружён?

И, наконец, разве нам не позволительно тоже быть уставшими после изрядной выпивки? Как хорошо, что второй пропал из вида.

ДЕРЕВЬЯ

Мы словно поваленные стволы деревьев в снегу. С виду они скользкие и кажется их легко можно столкнуть с места. Но на деле это невозможно, так как они неразрывно соединены с землёй. Впрочем, даже и это, по-видимому, только кажется.

WUNSCH, INDIANER ZU WERDEN

Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glattgemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.

DIE BRÜCKE

Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eing bohrt, in bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. – So lag ich und wartete; ich musste warten. Ohne einzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören, Brücke zu sein.

Einmal gegen Abend war es – war es der erste, war es der tausendste, ich weiß nicht, – meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in der Runde. Gegen Abend im Sommer, dunkle rauschte der Bach, da hörte ich einen Mannesschritt! Zu mir, zu mir. – Strecke dich, Brücke, setze dich in Stand, geländerloser Balken, halte den dir Anvertrauten. Die Unsicherheit seines Schrittes gleiche unmerklich aus, schwankt er aber, dann gib dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ans Land.

Er kam, mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich, dann hob er mit ihr meine Rockschoße und ordnete sie auf mir. In mein buschiges Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich wild umherblickend, lange drin liegen. Dann aber – gerade träumte ich ihm nach über Berg und Tal – sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Wer war es? Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. – Brücke dreht sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon, ich stürzte, und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kiesel, die mich immer so friedlich aus dem rasenden Wasser angestarrt hatten.

МЕЧТА СТАТЬ ИНДЕЙЦЕМ

В действительности стать индейцем, означает всегда быть готовым на скачущем коне взмыть молнией в воздух, нестись по содрогающейся земле, затем отпустить шпоры, так как их и не было и, наконец, отбросить воображаемые вожжи, и почти не замечать ни устремлённого навстречу тебе свежескошенного луга, ни конской гривы, ни конской головы.

МОСТ

Я была мостом над пропастью – твёрдым и холодным. С одной стороны пальцами ног, с другой стороны руками вонзилась я в крошившуюся глину. Фалды моей юбки развевались по бокам. Глубоко внизу бурлил ледяной ручей, наводнённый форелью. Ни один турист не забредал на эту труднопроходимую высоту, ведь мост ещё не был отмечен на картах. – Так я держалась и ждала, мне не оставалось ничего другого, как ждать. Если ты уже мост, только при обрушении ты можешь перестать им быть.

Однажды под вечер – то ли это был первый, то ли тысячный, я не знаю, – мои мысли как всегда путались в какой-то круговерти. Итак, в этот темнеющий летний вечер, на фоне далёкого журчания ручья, я услышала человеческие шаги. Ко мне, ко мне! - приготовься мост, расправься, оправдай доверие путника, поддержи его балкой без перил. Незаметно направляй его неуверенные шаги, но при шатании, словно горная Богиня, дай понять ему твою власть и доведи его до другой стороны.

Путник подошёл и вначале металлическим наконечником своей трости постучал по мне, затем сложил на мне свисавшие фалды моей юбки. Он переместил трость в мои всклоченные копной волосы – наверное, в панике озирался. Но вдруг, – когда я уже мечтательно представляла себе вместе с ним эту впечатляющую панораму гор и долин, – он прыгнул двумя ногами в самую середину моего корпуса. В полном недоумении я скорчилась от дикой боли. Кто это? Ребёнок? Мечта? Разбойник? Самоубийца? Искуситель? Я начала переворачиваться, чтобы на него посмотреть. – Да, мост переворачивался! И почти сразу же я упала вниз и была изодрана острыми камнями, что всегда так мирно приветствовали меня из бурлящего ручья.

Владимир АБРАМСОН**ПРИЗНАНИЯ ДОРЫ**

В Латвии умерла Двойра, Дора. Она и полагала там умереть, хотя с этой страной связаны грустные ее годы. О них Дора рассказывала урывками несколько лет кряду, в смутной надежде оставить память другому, самой же освободиться. Я стал этим другим случайно. А Доре ничто не помогло.

Она родилась в Московском пригороде – это в основном русская, густо и бедно населенная часть Риги. Но прежде обычный круг завершили ее родители, бежав из Петрограда в 19 году. Волочили чемодан лесом, лесом, потом через просеку и оказались в Эстонии. В Ревеле они не прижились: не было тогда критической эмигрантской массы с самостоятельными хорами, сплетнями и публичными обвинениями в связях с ЧК, с возможностью получить работу по весьма сомнительной рекомендации, и «достать квартиру» по взятке. Не было еще русских врачей, парикмахеров, контрамарок и даже газетчиков. Не было смысла учить эстонский с его восемнадцатью падежами. Родители вновь потащили по лесу чемодан и пересекши просеку, пришли в Латвию.

В младшие классы школы девочки являлись в белых воротничках и серых платьицах. Писали синими чернилами на подоле Б.Ж. Интимно отвернув подол, шифровали таинственный знак: «БЖ – бей жидов». В старших классах русско-еврейская молодежь заражалась социализмом, отчасти в пику родителям. И модно это было, какой-то чад. Искренне восхищались СССР, читали всё советское. Другие читали еще о социальном дарвинизме и Фрейде, была наэлектризованная интеллектуальная среда. Родственница Доры выехала в СССР и

обосновалась в Ленинграде. Она не писала, что ночует пятнадцатой жилищкой в коммуналке на Лиговке. Дора и одноклассница Вера Рыхлова решили бежать в СССР. В том 1936 году, чтобы сдать красным пограничникам, бежали через Чудское озеро. Но прежде надо оказаться на его эстонском берегу. Дора и Вера ехали в поезде, пока деньги были. Потом несли чемодан лесом на восток и увидели высокие камыши, озеро. Лодку они решили украсть на берегу, но не смогли протаскать ее до воды. Её кромка на глазах под ветром уходила от берега. Плакали и шли в Латвию. Без денег и еды небольшая страна предстала огромной.

В Риге 37 года Дора познакомилась с бельгийским моряком Францем. Его пароход лежал после войны почти целым на берегу протоки Зунд в Задвинье. Назывался уже по-немецки „Фриц Шооп“. Примерно в этом месте сейчас многоэтажный латвийский Дом печати, а был долгие годы лагерь немецких военнопленных, они стирали в Зунде бельё. *(С одноклассниками я пробирался в дыру ветхого лагерного забора. За папиросы немцы давали самоделки – деревянные игрушки, зажигалки. Один хорошо говорил по-русски, спросил однажды: Мальчик, ты еврей? Приходи сюда пореже).*

Мне становится неуютно и душно после кончины Доры оттого, что более никто из известных мне людей не помнит нелепый среди города «Фриц Шооп» и этот лагерь пленных. И ресторан «Фокстродил», где Дора встречалась с Францем. Там был танцевальный круг из толстого непрозрачного цветного стекла, в зале гас свет: пол вращался, мутно и таинственно светился. Дора вышла замуж за Франца и уехала в Бельгию. *(Как просто. Если в советские времена заграничный моряк полагал жениться на рижанке, красноречивый доброжелатель разъяснял, что ваша девушка-невеста самая гулящая из «Фокстрота». Если же советский моряк оставался на Западе, то в полицию являлся замполит судна и навсегда объявлял его вором, вскрывшим капитанский сейф. Западники это скоро раскусили).*

Спросил Дору: - Любила ты Франца? - Не знаю. Была молода и готова на всё. Была как добрый цветок, только проклюнувшийся весной и говорящий людям «вот и я». И знаешь ли, первая республика (*Латвия 1920 – 1940 годов*) была удивительная страна, в которой почти ничего не происходило. Вот на первой странице газеты: «вчера вечером, выходя из Красных Амбаров, купец Шлимович-Мыльников упал на тротуар (сердце, это может случиться с каждым из нас, господа!). Его нашли известные на Форштадте девушки Саша и Маша. Они отнесли его бумажник 87 латов 26 сантимов - большие деньги для каждого (!) в околотов. Однако полицейст Клотыньш на место трагедии не прибыл, не имея ночного фурмана (извозчика), а вызвал пожарных. Когда те примчались, господин Шлимович ушел пешком в сторону Задвинья». Купец, девы форштадтские, полицейст Клотыньш и сейчас передо мной как живые. Тогда же решила – уеду от них навсегда. Франц был красив, в темно-голубой с белым офицерской форме торгового флота.

О жизни Доры в Европе я ничего не знаю. Более не слыхал о штурмане Франце. В 1940 заболел отец Доры. Она пробралась в Ригу морем через Швецию, вокруг войны. Схоронила отца и, возвращаясь на извозчике с еврейского кладбища, узнала о советской власти в Латвии. Свергнутый президент Карлис Ульманис обратился по радио с прощальной речью. Дора поняла, захлопнулся капкан, Франца она не увидит. Какие-то деньги еще оставались, но новое правительство в один миг разорило страну, приравняв крепкий лат к рублю. Через год советские ушли. По улице Ленина, бывшей Свободы, им стреляли в спину. На седьмой день войны в Ригу вошли немцы.

Ее вызвали в управление полиции. Дора помнила, всю ночь шел теплый дождь. Она жила эту ночь виденным до войны фильмом «Профессор Мамлок»: наци и их «собственные» немецкие евреи. «Полезные евреи». Примеряла на себя: в бельгийском паспорте Двойра написано как Дбоире, фамилия по мужу стала Бенуа, бельгийка. Но спасет ли?

Допрашивал немецкий полицейский офицер. Резко и быстро, но и подробно о муже и об Антверпене. Это не СС, думала Дора, в уме назвав обер-лейтенанта Хайнрихом. Нет, вероятней Вернер, как в грезившемся ночью фильме.

Теперь о Латвии: где родились, школа? Между прочим, откуда ваш хороший немецкий язык? (Знал бы ты, думала Дора, рижские евреи говорят не на идиш, а на чистом хохдойч. Во дворе иешивы мальчики говорили по-немецки). Но рассказывала о подругах – будто бы балтийских немках. *(В 1939 Гитлер призвал балтийских немцев в отечество и все уехали)*. Господин обер-лейтенант проверит? Он молчал.

Спросит, где похоронены родители, и конец. Сказать ли «их бин юдин» – желтая звезда на всю жизнь. Юдин созвучно Юдифь.

Офицер молчал.

– Я знаю, – сказал он медленно. – Уходите. Вы еврейка.

Лил мелкий светлый дождь при ясном небе.

Дора кормилась официанткой в ресторане Верманского сада. Боялась людей на улице, кто-нибудь узнает, крикнет «жидите» – евреечка. С застенчиво-белой кожей настоящей блондинки и голубыми глазами. Совсем неожиданно ресторан превратили в офицерское казино. Немецкое офицерское казино нерушимо: днем общий обеденный стол, вечером ресторан, клуб. Категорически без азартных игр. Вечерами среди серых и черных мундиров, блестящих сапог бутылками Дора знала отчаяние приبلудной собаки. Позже различила моряков, танкистов, эсэсовцев *(„Фюрер смотрит на тебя, наше Знамя выше смерти!“)*, и тыловых. Эти скромней и пьют меньше, ветераны еще первой мировой войны. Гитлер обещал отпустить их домой по взятии Москвы. Дора боялась беспощадных и грязных ночных оргий „подводников“ перед рейдом. Они заказывали заливное из свиных голов. В пьяных криках была бравада отчаяния. По обычаю незамужние официантки спали с молодыми офицерами. Поняв это, Дора пристально обратила взгляд на пожилого полковника Хорста. Гладила его коричневеющую старческим пигментом руку. Ему это льстило, ее ни к чему не обязывало,

лейтенантов отпугивало. Этот кособокий баварец с пивным животом рассказывал о прелестях довоенной, благословенной жизни в Альгой – обширной долине у подножья Альп. О сельском празднике возвращения стада с альпийских лугов. Как купают и обряжают коров лентами и венками, бронзовые колокольцы сверкают. Выпив, он подражал визгу пастушеской собаки, загоняющей стадо. Дора согласно кивала, делая вид, будто понимает его баварский диалект. Поздно вечером в полупустом казино Хорст сразил ее анекдотом: «Альгой, хутор. Работник, обращаясь к хозяину, всегда начинает с «Хайль Гитлер». Ночью будит хозяина: «Хайль Гитлер! Свинья наконец сдохла». *(Не единственный из опасных анекдотов Третьего рейха)*. Дора застыла с грязными тарелками в руках. Он меня не провоцирует и, конечно, не идиот ... Я не все о них знаю.

К обеду появился «Вернер». Она сделала вид, не узнает. Он смотрел вскользь и за ее стол не сел. Дора узнала его имя – Курт Валлнер. Неделей позже он сказал:

– Вам нельзя здесь, вы сумасшедшая?

Дора хотела представить его до войны, в отложной белой рубашке, на немецкой улице с немецкой подругой. Они идут из университета? Дора не видела германских городов и университетов, картинка расплывалась.

В ресторане «Лира» на улице Дзирнаву Дора стала бардамой. Она изобрела коктейль «энгель кюсс», поцелуй ангела. В «Лире» играл настоящий итальянский оркестр. (Позже шестеро пожилых музыкантов были первыми рижскими невыпущенцами. Промучившись полтора года, они вернулись в Неаполь). Доре подчинялся буфет и семь девушек для танцев, она следила, чтобы гёрлс не напивались. Некоторые были замужем и мужья встречали их ночью.

В «Лиру» пришел Курт Валлнер. Каждый вечер он кивал бардаме, как завсегдатай. Выпивал два «ангельских поцелуя» и равнодушно танцевал с кем-нибудь из див, это ему не шло. Однажды они остались наедине.

– Оставь меня, Курт. Обещай. Мое имя Двойра, мои могилы на кладбище в Шмерли.

Позови он к себе, она пошла бы? Но они ни о чем не говорили, пока Курт не пришел в «Лиру» днем. Дора не узнала его в гражданском, потом поняла, лет ему не больше двадцати трех.

– Гестапо будет искать тебя как еврейку, я видел донос.

– Из –за меня ты гибнешь. Как у вас это называют?

– Тайное сожительство с еврейкой, для офицера полиции: оскорбление расы.

– Но мы же не...

– Ты будешь это доказывать? Допрашивали полковника Хорста.

– Бедная простая душа. Он не догадывался.

– Рискнем, я арестую некую Бенуа за спекуляцию водкой, сигаретами, фельдиперсовы чулки с черного рынка. Это реальный срок в Саласпилсе и выйдешь после войны, кто бы ни победил, мы или ваши.

Бикерниецкий лес ... недалеко. *(Место массовых еврейских расстрелов. Там создан строгий и мощный мемориал. Надпись по камню «Ах, Земля, не сокрой мою кровь, и мой крик сохрани от тишины Вечности»).*

– Губы дрожат, Курт. Ты боишься.

– Да. Тюрьмы, и все может быть.

– Я будто уже видела тебя в немецком городе, с девушкой, откуда?

– Ты видела Санкт Паули. Я там родился. Там Эльба и много каналов. Рыбный рынок на берегу.

– Но я никогда не была в Германии... Уходи, кельнер увидит. Все отрицай, забудь.

– Двойра, после войны поедem в Гамбург.

– Пожалуй, безопасней Антверпен.

– Да, в Антверпен.

О Саласпилсе Дора редко упоминала. Заметила однажды: там болота и летом не высыхали, вода торфяная коричневая. На ней брюкву варили и свеклу. Красную свеклу, желтую брюкву. Кто

донес, пыталась понять Дора в первые лагерные ночи. Она видела голодных и мучимых страхом опустившихся женщин и понимала, что ее собственное сознание вскоре затмят голод и безразличие, думать надо сейчас. Всё будто сходило на Верке Рыхловой. Как рыдала Вера и царапала щеки сломанными ногтями на песке Чудского озера, когда намерились бежать в СССР, и поносила и кляла меня. Потом встретились в Риге, у Веры дрожало лицо. Давно это заржавело? Знал ли доносчика Курт и почему не назвал его тем утром в кафе. Он берег меня от моей, конечно же, бессильной ненависти.

Дора пробыла там четыре месяца. К старости у Доры случалась суетность, мелкота движений, она этого не замечала. Но в те годы она была томна, пышно - соблазнительна и знала это. Раз в два месяца Дора жестоко напивалась и видно было ее неприбранное одиночество. Падая камнем в русский язык окопный жаргон: „мойн“ , „гутен морген“, „шмайссер“. На лагерной вышке торчал конечно же «машиненгевер» - пулемет. И «он летал на штука'с» – на пикирующем бомбардировщике. В такой вечер я узнал, как она вырвалась из концлагеря.

... Брела в голодном знойном мареве, не зная к чему. Навстречу охранник: – Иди за мной! Пришли в сарай, там зеки мешки цемента ворочают. Кинули мне на плечи мешок и все во мне надломилось, весила я килограммов сорок. – Неси к вахте! Шагнула, шагнула еще и упала на пороге. Стою на четвереньках, как собака. Охранник меня ручищей по заду, а там ничего, только кости. – Как фамилия, лагерный номер?

На следующее утро оказалась в позорном бараке. Весь смысл моего лагеря был, что где-то в формуляре, на бланке, возможно рукой Курта написано «бельгийка». Я этой бумаги конечно не видела. Под нее надо было жить. В лагере был барак для молодых женщин, отбирали в солдатские бордели. *(В мемориале Саласпилс место барака отмечено памятником: девушка на коленях, навстречу ужасной судьбе).* Назваться еврейкой и погибнуть, или жить курвой солдатской. Не было иного, и вариант „я бельгийка и в бордель не пойду“ не

проходил. И вот я такая во все места пере...-аная блядища пустоглазая и есть.

– Рассказываешь -каешься? – Мне же как это слышать.

Комнатки дома утех (по-солдатски «нуфф») выходили окнами в колодец. В первый день всех нас оперировали, перевязали какие-то каналы, чтоб не беременели. На всю жизнь. Солдаты приходили праздничные, не очень пьяные и чисто отмытые. Трое-четверо за ночь, но бывал и поток по семь и восемь, если свежая воинская часть. Этикет был – у каждого спросить имя, откуда родом и сколько отслужил. Галантные клиенты были солдаты из Эльзаса, они ведь немного французы. О фронте и когда он кончится говорить не нужно и опасно. Донимали истерики, случавшиеся с девицами. Лесбиянок карали жутко, секли парами публично и возвращали в лагерь. Себя же я выдрессировала, чтоб без оргазма с солдатом. Пусть он корчится один. Потому успехом не пользовалась. Иначе что бы со мною случилось к тридцати годам? Да и противно до дрожи. Дом этот был почти как тюрьма. Старожилки переводили в комнаты получше, а в понедельник утром в город выпускали четырех-пятерых девиц. Были и блестящие карьеры – из солдатского бардака в офицерский. На это нужно призвание, дар особый, не обман.

Скотства паршивого много было, одна радость – влюбился в меня фанрих (*курсант военного училища перед выпуском в армию*). Красивый мальчик был и смешливый, но не могла я с девственником лечь. Уехал он на фронт. Месяца через два вскрываю конверт в черной кайме: «сообщаем н е в е с т е ... обрел вечный покой, пал за фатерланд». Без женщины ушел фанрих. Знать бы раньше.

– Пришло зыбкое чувство онемеченья, – продолжала Дора. – Наедине с собою, Двойрой, я часто думала по-немецки, и вместо безбрежных русских вымученно рождались квадратные немецкие мысли фроляйн Бенуа.

– В понедельник шла на форштадтскую улочку Жиду, там было еврейское кладбище и недалеко гетто. (*В 50-е годы на старом кладбище проводили комсомольские субботники. Снесли стену, комсомольцы с грохотом бросали в грузовики могильные*

камни. Сейчас здесь небольшой парк, памятная плита на иврите и два чудом спасшихся могильных камня). Дора видела, как вели небольшой колонной евреев на работу. – Я пряталась в подъезде углового дома. Из первого этажа выходила женщина, шла вдоль горемычного еврейского ряда, невзначай отдавала четыре – пять картошин, полхлеба. Конвоиры – латыши видели, привыкли. Женщина встречала колонны несколько раз. Она назвалась Верой Михайловной, и однажды я пошла с ней, сжимая в перчатке тающий шоколад и твердый картонный пакет эрзац-мёда.

– Куда лезешь шлюха, шлюха! – крикнул мне конвоир, толкнул прикладом. Я была в шляпке a la kokett с перышком, подкрашенная (в те-то годы) и пахла вином.

(Много позже я познакомился с Верой Михайловной Каверзневой и ее семьей. Она жила все на том же первом этаже напротив бывшего еврейского кладбища. Дору она смутно помнила).

Одиннадцатого октября 44 года отдаленный гул нарастал от озера Кишэзерс. Девки удирали с немцами, одни с любовниками, другие просились в грузовики.

– Пуфф опустел, – сказала Дора. – Две мародерки вязали грязные простыни. Дверь комнаты содержательницы фрау Ленц не заперта. Дора впервые вошла туда. На постель брошены парики – черный, яркерыжий и гольдблонд, – как смятые флаги капитуляции. Пестрые цвета отдаленно и явственно что-то напоминали. Майн Готт, полосы имперского флага. Бандерша была твердая наци и искренняя патриотка, каждый вечер в другом парике. Дора бросила на пол чьи-то беззащитные крашенные женские волосы в остром желании топтать их, осквернить. – Ты ли это, Двойра?

На столике в углу патефон. Покрутила ручку, и богатый голос Зары Леандр: «Кауф зих блюен люфтбаллон...» Купи себе синий воздушный шар / Нить только из рук не выпускай / Полетим мы вместе с тобой / В тихий и волшебный край...

Дора сорвала пластинку, патефон жалобно взвыл. Пластинка лопнула, обнажив асфальтовое нутро.

– Я пошла с Парковой на Московскую улицу мимо сгоревшей синагоги. Утром тринадцатого советские солдаты прошли через форштадт. Я выжила, моя война кончилась.

Рассказы Доры увлекали, виделась совершенно иная жизнь. – Что же дальше, дорогая Дора?

– Я снова была Двойрой, взяли гримершей на киностудию. Что осталось во мне от концлагеря и публичного дома? – Когда на площади Узварас вешали наци, утром смешала двойной «поцелуй ангела». Достала шляпку с пером, надела выходные фельдеперсовы чулки на красных подвязках. Толпа была огромная. Ждала, кто-нибудь закричит, проклянет. Молча смотрели и тихо ушли. Заперлась в коммунальной комнатухе и, ужаснувшись двум прожитым «у них» годам, и виденной виселицей, напилась в одиночку. *(В 1945 году в Риге проходил суд над военными преступниками. Два высших офицера были публично казнены на Узварас – площади Победы).*

– Помнишь ли лагерь немецких военнопленных? Я была там года через два после войны. Случай помог, снимали на студии фильм о войне. Нужен был открытый генеральский автомобиль, настоящий. В грандиозном трофейном «хорьхе» ездил комендант лагеря. Он сам пригнал сверкающий лимузин под деревья киностудии, и я залюбовалась: сиденья светло-малиновой тисненой кожи, хром, медь блистает. Говорили о чем-то и чувствую, мой бюст его впечатлил. Проехали бесшумно и плавно в «хорьхе», я рискнула, спросила товарища подполковника о Курте.

– Мне искать лагерника не по чину, даже для вас, Двойрочка. Но есть там общественники – новые марксисты, агитируют своих за социалистическую Германию. Приходите, вас впустят.

В небольшой комнате пахло солдатчиной, трое пленных читали газету.

– Вы комитет «Новая Германия»? Не встречали Курта Валлнера?

– Фамилия не редкая. В каком он звании? – Обер-лейтенант, из Гамбурга.

Посовещались между собой. – Его могли произвести в капитаны.

Ждала с долгой надеждой в сердце. Вошел в штопаном мундире, коренастый. Твердый взгляд. – Капитан барон Курт фон Валлнер. Не он. Я ему сквозь внезапные слезы: - Как поживаете, барон, давно из Гамбурга? – Уже восемь лет, с польской кампании... Из Гамбурга, не он.

– Нет ли вашего однофамильца?

– Не встречал, и благодарю вас, мадам.

– За что же?

– Вы ищете одного из нас. Обморок и идиотизм войны: казармы, окопы, ненависть, «Лили Марлен» и даже не больно. Фанриха жаль, за что его так.

Года через два после смерти Сталина в Риге, казалось, стало легче дышать и говорить. Уплыли морем пленные немцы. Уезжали польские и датские евреи, спасшиеся в СССР. - Мне бы вырваться в Бельгию будто в гости, остаться на Западе, искать Курта – вспоминала Дора те годы. Беги, Дво, беги! В активе два письма – приглашения от бывшей квартирной хозяйки, выдаваемой за сестру.

С такими тайнами я пошла в МГБ. Приняли сразу по звонку из проходной. Единственная контора, где обслуживали без очереди. Сидели двое в штатском: за столом напротив меня, и у окна.

– Вы обращались в бельгийское посольство?

– Решила с вами посоветоваться, а потом написать в Москву. Штатские бегло переглянулись. – Покажите, пожалуйста, ваш бельгийский паспорт. (Как это не к добру).

– Я не взяла ... оставила дома. Прижала к груди сумку, они поняли, молчали будто дружелюбно. Сидевший за столом безотрывно глядел на сумку. С нажимом заговорил:

– Доставайте, Двойра Исааковна, доставайте.

Я отдала темно-синий паспорт. Больше часа сидела в пустом коридоре.

– Двойра Исааковна, – сказал штатский, – бельгийский паспорт мы пока задержали. Есть же ваш паспорт СССР, осени сорок четвертого года. Вы тогда как из пены морской явились,

упали с Луны? Живите спокойно и достойно в нашей стране. Живите тихо.

Пафосный лейтенант. Ночами я думала о собственной глупости. Но после лагеря и борделя власть для меня была там, где охрана, туда и пошла.

И ты не спала с Куртом? Качает лысеющей с макушки головой. Напевает в задумчивости: «Венн ди золдатен юбер ди штадт марширен, ёффен ди медхен дие фенстер унд тюрен. Лос, лос, лос! (Когда солдаты маршируют через город, отворяют девушки окна и двери. Давай, шагай, шагай!)» Старая солдатская песня.

Германский Красный Крест ответил: «Курт Валлнер, год рожд. 1918, Гамбург. Юрист, адвокат. Обер-лейтенант. После войны жил в Антверпене (Бельгия). Похоронен в 1993 году, Гамбург – Санкт-Паули.»

Сейчас и бедной Доры нет. Доры нет.

Борис САНДЛЕР**ТОМЛЕНИЕ ДУШИ НА ПОЛПУТИ К ТЕБЕ***Перевод с идиш Эйтана ФИНКЕЛЬШТЕЙНА*

*Ныне в мире не осталось такого уголка,
где могли бы жить нормальные люди.*

Григорий Канович
«Очарование сатаны»

I

Газеты были расстелены везде, где только можно: на кухонном столе, на полке буфета и даже на единственном стуле, что стоял здесь же, на кухне. Впрочем, о кухне; она была из тех, которые нынче называют открытыми. Проще говоря, угол в гостиной, в котором можно готовить еду. Да и гостиные здесь, в Израиле, называют не гостиными, а – салонами. Почему? Наверное, потому, что когда гости садятся за стол в салоне, им кажется, что они французские аристократы...

Итак, все что можно было накрыть газетами на кухне, было накрыто, но не обошло и салон. Газеты устроились на узком диванчике, на пустых, прибитых к стене книжных полках, расположились даже на телевизоре и подоконнике. А на газетах! На газетах ровными рядами лежали ломтики нарезанного белого хлеба. Лежали они привольно, не теснясь и не мешая друг другу, и только на стуле шесть-семь горбушек, прижавшись одна к другой, чувствовали себя неуютно.

Любо-дорого было Сарре-Саруне окинуть взглядом свой салон, благоухающий душистой выпечкой! Усталая, но счастливая, она обвела взглядом хлебные ломтики, не оставив ни одного из них без внимания. Она разглядывала их так внимательно, словно на каждом стояла особая мета, понятная ей одной, словно только она, Саруня, могла составить из них замысловатую мозаику и разгадать ее сокровенный смысл.

Саруня твердо решила – она отправляется в дорогу. А какая может быть дальняя дорога без хорошо подсушенных ломтиков хлеба? И никаким сухарикам с ними не сравнится! Те крошатся, ломаются, расползаются, как муравьи в теплый вечер. Другое дело – хорошо подсушенный кусочек белого хлеба. Что может быть лучше на этом свете! Его всегда приятно погрызть: и с чаем, и с картофельной похлебкой, и просто с холодной водой из колодца. А если подвернется стакан молока – и вовсе благодать. Какой деликатес

сравнится с высушенным, а затем вымоченным в молоке ломтиком хлеба!

Деликатес... Это случайно пришедшее на память слово вызвало у Саруни улыбку. Она еще раз обвела довольным взглядом ряды хлебных ломтиков, нарезанных ее натруженными руками, и поняла: они обязательно обрадуются ее подарку! Но тут, словно озноб по телу, пробежала мысль: а они ее узнают? Сколько прошло лет? Почти вся жизнь! Так-то оно так, тут же успокоила себя Саруни: но ведь ее годы никуда не делись, они как бы растворились в ее крови, разлились по телу, ее память впитала в себя все, вплоть до мельчайших подробностей.

Правда, Саруни чувствует, что с каждым днем память слабеет. Начинают забываться названия вещей, лица, даже слова. Совсем недавно забыла фамилию своей дочери. Хозяйка квартиры два дня назад позвонила и спросила, на кого записан телефон? В первый момент Саруни растерялась, никак не могла вспомнить фамилию зятя, хотя, казалось, она крутится у нее на кончике языка. Но нет, та будто в черную дыру провалилась и хоть ныряй за ней в омут. Потом вспомнила – Вайсман. Господи, фамилия-то такая простая! Вспомнить-то вспомнила, но осталось чувство беспомощности, словно она заблудилась, затерялась на чужой улице, в чужом городе, в чужой стране.

Наверно, должно пройти несколько часов, пока эти кусочки хлеба станут такими, какими должны быть. Здесь, в израильских домах, все вообще быстро сохнет. Слово «здесь» вызвало ответный отзвук, – «там! «Здесь» – это семь лет, которые как бы затмили прожитые «там» семьдесят три года.

«Здесь» – это Израиль, город Нацерет-Илит, квартира, которую сняли для нее дети. Впрочем, потерянной она начала чувствовать себя еще «там», в ее родных Бельцах, когда только пошли разговоры о том, что «надо ехать». Сначала эти слова переходили из уст в уста, как настойчиво доносившийся откуда-то слух. Чем-то он был похож на детскую болезнь. Скажем, корь. Один раз в жизни переболеешь – и живи себе дальше. Так ей вначале казалось. Думала, переболеют этими страстями, этой напастью и забудут об отъезде.

Вышло по-другому. Слова стали превращаться в дела, в продажу старых, привычных вещей и покупку черт знает чего. И если старые вещи люди отрывали из себя с кусочками души, с клочьями семейной истории, то приобретенные так и оставались незнакомыми, упакованными в картонные коробки с надписями «Осторожно, стекло!», «Открывать здесь!», «Не кантовать!». Почему-то эти вещи ее пугали. Она боялась притронуться к коробкам и рада была скорее выйти из спальни, заставленной до самого потолка этими пакетами и ящиками разной формы и размера.

Всем, что было связано с отъездом, занималась дочь Фира. А Саруни только вздыхала, чувствуя, что каждый новый день оставляет ей все меньше душевного покоя, все меньше возможности преданно, как она умела и любила служить своему дому, своей семье – быть хозяйкой, справляться со всеми заботами и хлопотами.

Ночью, уткнувшись в спину мужа, она тихо стонала: «Мы же своими руками превращаем в прах нашу жизнь, Давид!». Давид не откликнулся, хотя Саруния знала, – он не спит. Догадывалась по его дыханию. Как старый доктор, приложив ухо к тому месту, где бьется сердце, безошибочно определяет, что творится в груди больного, точно также она знает: Давид с ней согласен, но не знает, как все это понять, как истолковать. Однажды он ей все-таки ответил: «Они правы, Саруния». Она затаила дыхание, ждала, словно предстояло услышать, не дай Бог, последние слова мужа. «Они правы, – повторил он, – раз уж у них появился выбор ...».

Всё это было давно, а теперь Саруния пристроилась на край диванчика, на этот клочок свободного места, оставшийся после того, как она всюду разложила газеты с ломтиками хлеба. Так она, бывало, подсаживалась к спящему ребенку, осторожно опускала свою голову на подушку, чтобы вздремнуть рядышком. Сначала это был первенец, ее сыночек Элик, потом, шесть лет спустя, маленькая Фира.

На полу возле диванчика, куда присела Саруния, лежала стопка газет. Она складывала их туда после того, как дочитывала последнюю страницу. Газет было много, ибо каждую пятницу по утрам она покупала их в киоске у «марокканца» Йоси и целую неделю читала, неторопливо листая страницу за страницей. Йоси уже стал узнавать Сарунию, и, едва завидев ее, кричал по-русски: – Бабушка, газета!

Сегодня Саруния оделась тепло: поверх байкового халата натянула меховой жилет, на ноги – шерстяные носки и зимние ботинки. Теплым зеленым платком накрыла голову, не туго завязав его под подбородком. Узел же, как нарочно, каждый раз поднимался к нижней губе и норовил вообще закрыть рот.

Упаковывая вещи, Давид как-то бросил ей: «Что это ты тащишь с собой старое тряпье? Лучше бы воспользовалась случаем и обновила свой гардероб». Может, он и был прав, ее Давид, ведь рано или поздно наступит время, когда от всего, что нажито годами, ничего не останется, как ничего не осталось от их дома. Но это – как посмотреть. Старое тряпье ей все-таки пригодилось. Жарища в этой стране нестерпимая. Летом невозможно находиться в квартире без такой штуки, которую называют «мазган» – кондиционер, по-русски. А зимой в квартире – нешуточный холод. Здесь отопления нет. Может, кое-где в этой стране и зимой есть теплые уголки, но у них, в Назарет-Илите стоит настоящая стужа. Более всего беспокоит каменный пол. Саруния этот пол невзлюбила с первого же дня. Еще бы, что ни одень на ноги, постоянно ощущаешь, как снизу поднимается холод и охватывает все тело.

Вот и сейчас она сидит, натянув на себя сто одежек, да еще обмотав поясищу тонким одеялом. А ноги она держит на маленькой подушечке, привезенной оттуда. Ее Фира, когда была совсем маленькой, любила играть с этой вышитой подушечкой. Девочку радовали яркие цветочки на ней, нарядная зеленая каемка по ее краям. Фирочка легче засыпала, когда обнимала подушку своей пухлой ручкой. Даже позже, став уже барышней, Фира время от времени

задумчиво садилась на диван, прижав к животу вышитую подушечку. Мать знала – это верный признак того, что с дочерью что-то приключилось.

Но со временем Фира забыла о подушке. Она вышла замуж, а потом, когда у нее родился сын, молодое семейство перебралось в новое жилье, и Фира сама стала хозяйкой. Зеленая шелковая бахрома давно оторвалась от подушечки, яркие нитки «мулине» выцвели, истерлись. Но от холода, которым тянет от каменного пола, подушечка все еще спасает ее старые ноги.

Нет, сегодня у нее чтение явно не идет. Мысли не могут сосредоточиться на нем. Сегодня ей не до чтения. После того, как дети уехали, Саруня покупает только «Новости недели». Откровенно говоря, во всех газетах пишут одно и тоже. Здесь, в Израиле, не принято приукрашивать то, что происходит на самом деле. Наоборот все рубят правду-матку, да так рубят, что страшно становится. Надо же, сами себя не жалеют! Впрочем, ее, Саруню, привлекает не политика, а житейские истории, которые она часто встречает в приложении, которое называется «Еврейский камертон». Она любит читать рассказы о судьбах людей ее поколения, ее земляков. Здесь, на страницах «Камертона» встречает она истории, сродни тем, что сама пережила «там», такие истории, от которых сердце чуть не разрывается. Жаль только, что рассказать об этом люди смогли только здесь, только спустя много-много лет.

Сарра сняла очки, спрятала их в карман халата и аккуратно сложила газету. Взгляд ее опять остановился на белых ломтиках хлеба. Старая женщина коснулась кончиками пальцев одного кусочка, потом сдвинула узел платка под подбородок, освободила рот и тихо произнесла: «Еще часок-полтора, и можно отправляться в путь-дорогу».

II

Пару недель назад, сразу после праздника Сукес, позвонила незнакомая женщина. – Я из фонда Спилберга, – сказала незнакомка, – мы проводим видео-интервью с людьми, пережившими Холокост. Вы, кажется, тоже были в гетто?

Что значит «кажется»? Саруню это обидело. Тем более, что после долгих и неприятных хлопот, она, наконец, стала получателем «немецкого пособия». Конечно, Саруня всего этого не хотела, не хотела денег за еврейскую кровь. Но Фира... Почти сразу после приезда она разыскала адрес той самой конторы в Иерусалиме, которая помогает людям готовить бумаги для получения «немецкой пенсии». Понятное дело, можно было бы нанять адвоката, но адвокаты дерут три шкуры, и к тому же никогда не знаешь, все ли они делают для того, чтобы выиграть дело. А вот как работают бюрократы, дочь может проверить сама. «Все они слеплены из одного теста», – уверяет Фира, – «так что если я справлялась с советскими бюрократами, то уж с израильскими и немецкими как-нибудь справлюсь».

В конце концов, Саруня вместе с Фирой отправились в Иерусалим, в ту самую контору, где ей пришлось подписать целую гору бумаг. Но на этом дело не кончилось, напротив, тогда-то и началась настоящая кутерьма. Что ни день

приходили новые письма с требованием «убедительно подтвердить, где именно вы находились в неволе», «кто может письменно подтвердить, что вы действительно там были» и так далее, и так далее. Письма эти приходили из самых разных учреждений, но вопросы были одни и те же. Через какое-то время у Саруни возникло чувство, будто ей не доверяют, будто хотят ее уличить в том, что она норовит кого-то обжулить, выманить деньги, ей не положенные.

Фиру же эта бумажная волокита ничуть не смущала. Она сама то и дело писала в разные инстанции, пока, наконец, не отправила запрос в Винницу, в городской архив. И что вы думаете, получила-таки ответ! Саруня собственными глазами увидела тот документ. Увидела, и озноб пробежал по телу: это было свидетельство из кромешного ада. Бумага представляла собой выписку из конторской книги коменданта лагеря, о том, что она, Сарра (указана ее девичья фамилия), вместе с сестрой Хаей Гершкович «15 ноября 1941 года получили вязанку дров». В уме старой женщины не укладывалось, как это через столько лет в такой громаде конторских книг и папок на архивных полках завалаялась эта пожелтевшая бумажка, этот документ, подтверждающий ее правду в глазах чиновников.

И вот теперь звонит какая-то незнакомая женщина, спрашивает, можно ли к ней приехать, чтобы услышать рассказ о тех жутких годах. Разумеется, у Саруни есть что рассказать. Но где найти силы сделать это? Она читает в «Камертоне» о том, какие ужасы пережили разные люди в военное время, и волосы встают дыбом. Может, незнакомке из фонда Спилберга лучше поговорить с теми людьми, что пишут в газеты? Но нет, телефонная собеседница настаивает на встрече: каждый должен рассказать свою собственную историю, чтобы грядущие поколения лучше понимали, что тогда происходило.

В душе Саруни согласна с незнакомкой. Раньше она об этом не думала – просто было не до того. Да и могла ли она говорить об этом со своими детьми, не достаточно ли того, что она сама прошла все круги ада и всю жизнь носила в себе боль от пережитого?

Они приехали в назначенный час: незнакомая женщина – ее звали Эдита – и двое молодых людей, видимо, местных. Вошли, по-хозяйски расположились, точнее, расположили свои аппараты и начали громко, словно она глухая, что-то говорить ей на иврите. Тут подросла Эдита и перевела их слова. Оказывается, они всего-навсего хотели передвинуть диванчик поближе к окну, чтобы удобнее поставить свою камеру.

Пока шла вся эта работа, Саруня сидела на диванчике, с любопытством наблюдала за тем, что делается в ее квартире, и думала: неужели все это ради нее, никому не известной старушки из молдавского городка! Впрочем, если говорить честно, Саруня к визиту готовилась: надела кремовое платье с тремя позолоченными пуговичками на груди, то самое, которое Давид купил ей незадолго до отъезда. Не без труда натянула на ноги новые туфли – она надевала их всего-то три-четыре раза. Неизменный зеленый платок она решила

не надевать: аккуратно зачесала волосы назад и закрепила их гребешком с золотым орнаментом, – подарок сына к семидесятилетию.

Эдита, симпатичная женщина лет сорока, присела возле Сарры и погладила ее руку. – Только не волнуйтесь, моя дорогая, я буду задавать вопросы, а вы спокойно мне отвечайте. И не смотрите в камеру, смотрите на меня и рассказывайте.

– И это покажут по телевизору? – спросила Саруня. Эдита рассмеялась, – такие вопросы ей задавали не впервые. – Пока что мы будем работать, а потом кто-нибудь заинтересуется нашим материалом. Но вы непременно получите копию того, что мы сегодня снимем.

Тем временем юпитеры вспыхнули, и их тепло, коснувшись ее лица, как бы старалось ее расслабить, вызвать воспоминания, таящиеся в самых отдаленных уголках ее души. Воспоминания о тех жутких днях и ночах, которые Саруня всегда старалась загнать вглубь себя и запереть на семь замков. – Ваше полное имя и год рождения?

Саруня ответила по-русски, как привыкла она отвечать в различных учреждениях и в той большой стране, и в этой, маленькой.

– Векслер Сарра Зеликовна. Родилась в 1924 году в городе Бельцы, Бессарабия.

– Кто были ваши родители? – Отец был служащим, – начала было по привычке Сарра, но тут же спохватилась, – мой отец Зелик Нисенбойм был торговцем, известным и уважаемым человеком в нашем городе. Помню, мама рассказывала, что когда отец входил в румынский банк «Банка Орашулуй», у дверей его встречал сам управляющий. Моя мать Доба Нисенбойм вела дом и воспитывала детей: меня и мою старшую сестренку Хаюсю, Хаю – по-еврейски. Дома у нас говорили на идиш и по-румынски. Мама также неплохо говорила по-русски, потому что она еще застала время, когда Бессарабия принадлежала России. Это ведь только после гражданской войны Бессарабия стала частью Румынии ... Мы жили спокойно и хорошо: по хозяйству маме помогала девушка-прислуга. Но варить? Мама всегда варила сама.

– А еврейские традиции у вас соблюдались? – спросила Эдита.

– А как же! Дом был кошерным, пасхальная посуда, как и положено, весь год лежала на чердаке, накрытая толстым покрывалом, и только на Пейсах ее заносили в дом. Не помню, сколько раз в году мой отец ходил в синагогу, но на Рошашоне, Йом-Кипер – непременно. Вместе с мамой, нарядно одетые, они шли в синагогу. А в другие дни не помню. Помню еще, что в гостиной висел портрет Жаботинского. Моя сестра водила дружбу с ребятами-сионистами. Когда они собирались на свои сходки, она всегда брала этот портрет с собой. Между прочим, моя мама была не только домохозяйкой. Она состояла в комитете, который помогал бедным детям, что учились в школе ОРТа. Вы знаете, что такое ОРТ? Там детей приучали к делу: девочки учились шить, а мальчики – столярничать. Раз в неделю мама отправлялась в школу, следила, хорошо ли одеты ребята, чисто ли в классах, пробовала еду в столовой, чтобы не было обмана. Однажды мама отнесла резнику десять кур из тех, что мы держали во дворе, а потом отдала их в школу. Саруня глубоко вздохнула.

– Мелочи запоминаются, – извиняющимся тоном заметила она. – Вам, наверно, хочется услышать более важные вещи?

– А антисемитизм вы чувствовали?

Сарра на мгновение задумалась. Она, конечно, поняла вопрос, но детство и короткая пора девичества остались в памяти, как чудесное, безмятежное время, – места чему-то плохому и даже грустному там не было. – Антисемитизм? В те годы я еще мало соображала в этих делах. Мы жили в Бельцах, на улице Церковной, где народ был состоятельный. Наш дом – целых четыре комнаты – казался мне очень большим. Напротив же нас жил эмигрант из России со своей женой – после революции он бежал от большевиков. Он был хозяином мыловаренной фабрики. Детей у них не было, так и жили бездетными. Так вот, поговаривали, что он – антисемит. Но я не знаю, так ли это. Его жена, бывало, просила мою мать, чтобы она отпустила меня вместе с ними на прогулку. Видимо, я им чем-то приглянулась. Соседка очень хорошо относилась ко мне, покупала конфеты. Понятное дело, позже, в тридцатые годы, когда румынские фашисты пришли к власти, до нас стали доноситься довольно страшные слухи: антисемиты, мол, распоясались и стали нападать на евреев. Я тогда училась в румынской гимназии. Помню, еврейские гимназисты говорили, что учитель румынской литературы господин Константин – член партии профашиста Кузы... Потом к нам пришла советская власть. Наши евреи встречали ее с радостью, еврейские парни и девушки, которые до того учились или работали в Румынии, стали возвращаться домой, в Бессарабию. На второй или третий день, я уже точно не помню, у нас поменяли деньги, но магазины стали пустеть, полки оголялись. Мой отец все-таки был умным человеком, он быстро понял, что собой представляют наши «освободители». Как-то поздним летним вечером, когда дверь в моей спальне была открыта из-за жары, я услышала, как отец сказал маме: «Мадам Нисенбойм, спокойной старости нам ждать не приходится...». Такая у папы была привычка – к маме он обращался не иначе, чем «Мадам Нисенбойм».

В скором времени моя сестра Хаюся привела в дом жениха – еврейского парня, приехавшего в Бессарабию с советской стороны Днестра вместе с Красной Армией. Звали его Семен Гершкович, он работал в городском совете бухгалтером. Мы все сидели тогда за большим столом, покрытым белоснежной скатертью, пили чай с вареньем. Так вот, этот парень сел с нами и с ходу заявил, что хочет жениться на Хаюсе, но о хупе и других религиозных обрядах даже слышать не желает: они, дескать, с Хаюсей распишутся в загсе, как подобает настоящим советским гражданам. Я заметила, как побледнело лицо папы. Мама заметила это раньше меня. Она взяла руку отца и крепко ее сжала. Когда же Семен закончил, она начала первой. Она говорила негромко, но так твердо и уверенно, как она никогда раньше не говорила. До сего дня слышу эти ее слова: «Мы, конечно, мало разбираемся в теперешней жизни, но без хупы Хаюсю не отдадим».

Сарра отпила глоток воды из стакана, который опытная Эдита приготовила заранее, вытерла со лба капельки пота и продолжала:

– Так оно и произошло. После загса поздно вечером у нас в доме устроили хупу. И комсомолец Гершкович произнес те слова, которые положено сказать каждому еврейскому жениху. И только позже мы узнали, что его отец, которого убили петлюровцы, был шойхетом в каком-то местечке на Украине. Но вообще-то Семен был хорошим человеком. Многим помогал. Особенно, когда начались ссылки в Сибирь. Сдается мне, что нашу семью не тронули благодаря Семену.

Разговор никак не кончался. Помощники Эдиты уже дважды меняли пленку в своих аппаратах, осветитель время от времени выключал свои мощные лампы (чтобы не перегорели, - подумала Саруня), а вопросы следовали один за другим. Часа через четыре гости, наконец, ушли. Гости-то ушли, но жара от их ламп осталась. Когда же и она спала, Саруня вспомнила, что специально по этому случаю испекла кихелэх. Испекла, чтобы угостить Эдиту и этих симпатичных парней. И вот тебе на – забыла! Что они о ней подумают? – Ай-ай-ай... – сказала себе Саруня. – Нехорошо получилось.

Впрочем, причина этому – ее воспоминания. Это они заставили ее забыть о тех самых коржиках, которые она приготовила для гостей. Да что там коржики! Тяжелые воспоминания отдалили ее от окружающего мира и увели куда-то далеко-далеко в закоулки памяти. Именно такое часто случалось с ней в первые годы после войны. Вдруг, среди будничной суеты ее бросало в жар: перед глазами одна за другой вставали картины страшных лет. Потом жар спадал так же резко, как и наступал, и она чувствовала, как по всему телу разливается холодная дрожь. Дыхание перехватывало, сердце начинало трепыхать, наступало состояние – хоть рви на себе одежду!

Она изо всех сил старалась скрывать свои кошмары от чужих глаз и даже от Давида. Конечно, она знала - время лечит, но сама не раз и не два спрашивала себя: почему же мои раны так долго не затягиваются, где найти таблетки от воспоминаний? В конце концов, лекарство нашлось. Простое лекарство: дети, дом, работа. С работой она рассталась до срока, ведь дочь, ее Фира, писала диссертацию, а кто же будет возиться с маленьким Наумчиком, любимым внуком, чтоб он был здоров! Но здоровым он бывал один день в неделю - все болячки цеплялись к нему, – а в другие дни с ним надо было сидеть дома. Кому сидеть? Конечно, ей, Саруне. Так было покончено с работой. А что произошло с домом? Он просто перестал быть домом сразу после того, как Саруня последний раз заперла калитку и передала ключи новому хозяину. Конечно, остались дети. Только где остались? Элик с женой и дочерью уехал в Германию, а Фира с Мишей и Наумчиком три года назад перебралась в Торонто. Но что поделаешь, пусть они будут здоровы там, где им лучше, и пусть их дети и дети их детей никогда не узнают того, что пришлось узнать ей, Саруне.

III

Саруня сновала по кухне, открывала ящик за ящиком - искала ключ от двери к той комнате, которой обычно не пользовалась. В предыдущей квартире, где она

жила вместе с детьми сразу после приезда, тоже была комната без окон, похожая на кладовку. Дети называли ее «комната безопасности». Она же называла ее по-своему – «чтоб-не-понадобилась!». В давние, давние времена в доме ее родителей так называли вещи, которые хранились «на черный день» и которые прятали где-нибудь глубоко в шкафу или даже в сарае. Вспоминали об их существовании лишь тогда, когда случалась какая-нибудь беда. По сей день помнит Саруния слово «помпа». Так отец называл несущую машину, без которой, как он говорил, не обойтись в случае пожара, всегда добавляя – «чтоб-не-понадобилось!». Были и другие вещи: мышеловки, капканы для крыс, темно-зеленая бутылка с отравой, картонная коробка с пакетиками ваты, марли, пузырьками йода. «Чтоб-не-понадобилось!».

Были в доме родителей и такие вещи, которые тоже прятали от маленькой Сарунии и от ее сестры. Но тут Саруния никак не могла понять – почему эти вещи на черный день? Баночки с густым малиновым вареньем или просто с перетертой малиной. Баночки с кизилевым вареньем, с черной смородиной, с черной черешней. Это же так вкусно! Но всю эту вкуснятину мама держала в шкафчике на самой верхней полке, и даже Маня, прислуга, должна была встать на табуретку, чтобы до них дотянуться. Доставали эти баночки тогда, когда кто-то из домашних заболел: простудой, желудком или что-то еще. «Чтоб-не-понадобилось!».

Такой же порядок Саруния завела и в своем доме, а вот в хозяйстве у дочери ничего подобного не было. Фира сначала с головой ушла в учебу, потом – в науку, потом – в работу. Баночки-скляночки ее не интересовали. Опять же, если возникнет нужда, мать-то здесь, под боком, ее запасы всегда в распоряжении Фиры.

В Израиле о подобных заготовках и вовсе не знали. Ни горькой черешни, ни кизила, ни смородины, ни даже малины здесь не было. Поначалу Саруния удивлялась: как это может быть, чтобы на Земле Обетованной, где на каждом шагу растут апельсины и лимоны, нельзя найти пригоршню какого-то кизила!

Правда, кое-что из старых запасов хранилось в темной комнате вместе с багажом, привезенным оттуда. Нераспакованные баулы ждали часа, когда их хозяева обзаведутся собственной квартирой. Еще в той комнате хранились четыре противогаза – по одному для каждого члена семьи, белая коробка с красной звездой Давида на крышке с целой батареей бутылок минеральной воды. Сарра добавила к этому неприкосновенному запасу несколько пачек соли, десяток кусков хозяйственного мыла. Зять Миша по этому поводу подпустил шпильку: «Уж не собираетесь ли вы, мама, устроить стирку в комнате безопасности?».

Саруния уже обшарила все ящики стола, но ключа нигде не было. Но ведь она хорошо помнила, что положила туда этот серебристый ключик! Может его переложил Валя, ее помощница-«метапетел»? Саруния прекратила поиски, чтобы остыть и постараться вспомнить. Фира, перед тем, как уехать из страны, добилась-таки чтобы матери приставили помощницу. Правда, Саруния считает, что это ей ни к чему – она сама в силах обслуживать себя. Тем не менее, как

человеку, пережившему гетто и концлагерь, ей выделили помощницу на четыре часа в неделю. Валя – эта самая помощница - приходит к ней по понедельникам и по четвергам. Стало быть, она была вчера, – вспомнила Саруня. Ее, Саруню, Валя называет не иначе как Сарра Зеликовна. Сама она приехала в Израиль из небольшого уральского городка вместе с еврейским мужем Исааком Аркадьевичем и двумя сыновьями. Там бы она уже вышла на пенсию, а здесь ей работать еще целых пять лет. Вот и подыскивали ей занятие, и она им очень довольна. А вот Саруню Валя не устраивает. Нет-нет, Валя очень порядочная женщина, но Саруне не хочется, чтобы ее купали или убирали у нее в квартире. В конце концов, она договорилась с Валей: та будет гулять с ней по утрам и ходить в магазин за продуктами.

Но вот вопрос: зачем Вале мог понадобиться ключ от той двери? Ведь даже Саруня не входит в ту запертую комнату! Может быть, Вале кажется, что старушка что-то прячет от нее? Глупости! Саруня опять принялась шарить в ящике стола и тут спохватилась: так ведь это она сама переложила ключик в другое место! Уверенными движениями Саруня открыла дверцу висящего шкафчика и ладонью нащупала пропажу. Лицо ее просияло: вот он, вот он, этот ключик!

Зажав пропажу в ладони, Саруня почувствовала его металлический холодок: нет, она еще не совсем потеряла голову! Но когда она подошла к двери комнаты безопасности, ей показалось, что она опять что-то забыла. Но что? В голове мелькнула одна мысль, потом другая: наверно, ломти хлеба хорошо подсохли. Наверно, запертая дверь комнаты «чтоб-не-понадобилось» и рядами выложенные кусочки сухого хлеба чем-то связаны между собой. Она остановилась и решила прежде зайти в спальню за наволочкой, чтобы сложить в нее высушенные ломти. В этот момент зазвонил телефон. За всеми своими приготовлениями Саруня совсем забыла, что по вторникам ей звонит Фира! Элик тоже звонит, но не каждую неделю, обычно в субботу или в воскресенье.

Кашу с переездом в Торонто заварил Миша. Дело в том, что в Торонто жил его двоюродный брат. Как-то Миша и Фира поехали к нему погостить, а когда вернулись, только и говорили – как бы перебраться в Канаду! Саруня не понимала: после всех хлопот и волнений дети, наконец, хорошо устроились: Фира и Миша работают, Наумчик заканчивает школу. Так нет, твердят одно и тоже: «Людам там лучше живется, и у Наумчика будет больше возможностей». Саруне оставалось только пожимать плечами: что она может им сказать? Да и прислушаются ли они к ее словам. Другое дело, ее Давид, уж он бы не промолчал. Понятно, там, в Союзе, надо было уносить ноги. Но здесь, в Израиле!? Само собой, здесь не легко, здесь нужно много и тяжело работать. Но ведь сами этого хотели! Что и говорить, Фира и Миша переживали: Наумчик заканчивает школу, а впереди его ждет армия. От этого болит сердце. Но опять таки, они же знали, куда едут, знали, что место здесь не самое спокойное на свете. Впрочем, к чему все эти мысли, что они изменят?

Саруня хорошо знает, что беженцы подобны предрассветным теням: они не ночуют там, где спят, и не спят там, где ночуют. Разговоры с дочерью длятся не долго - удовольствие не из дешевых, плата идет на доллары. «Как ты себя чувствуешь?» А как можно чувствовать себя в ее годы – лишь бы держаться на ногах. «Чем занимаешься?» Какие мои занятия – сварить, убрать в квартире, заглянуть в газету. Саруня, разумеется, понимает, что не просто перетащить ее в Торонто. Статус-шматус! Ладно, она уж как-нибудь проживет здесь со своим статусом, лишь бы детям там было хорошо, лишь бы у Наумчика появились возможности. Он ведь, между прочим, уже учится в колледже! Вот и сейчас разговор крутился вокруг того же самого: как ты себя чувствуешь, чем занимаешься? Саруня отвечала как всегда, но под конец спросила:

– Наумчик дома?

– У нас теперь два часа дня, а Наумчик приходит домой, когда у вас уже поздняя ночь. А что?

Саруня молчала. Дочь тоже выдержала паузу. Видимо, обе они нуждались в этой краткой паузе, чтобы отделить будничные разговоры от глубоких, невысказанных слов, которые им были понятны когда-то в давно ушедшие времена. Тогда все было ясно без слов – взгляд, жест, пауза говорили об очень многом. Нарушила молчание Фира.

– Мама, что-то мне не нравится, как ты звучишь, что случилось?

– Успокойся, Фирочка, что может со мной случиться? Просто хотелось услышать Наумчика.

– Он тебе позвонит, мама.

– Нет, не надо тратить лишние деньги, просто скажи ему, чтобы не забывал свою старую бабушку. Все же я его вынуждала. Они попрощались. Саруня еще несколько минут сидела у телефонного столика, положив руки на колени, словно уронила что-то на пол и не может поднять. Усталость охватила все ее тело, опустилась к ногам. Она подумала, что сегодня уже никуда не отправится. Кто пускается в дорогу с таким тяжелым сердцем? Она только уложит высушенный хлеб в наволочку. Нельзя же оставлять эти ломти на всю ночь. Да, как бы не забыть про таблетки. Голова совсем никуда не годится...

IV

Как-то в перерывах между съемками Эдита сказала Саруне, что интервью с ней – далеко не первое. Вместе со своей группой она постоянно разъезжает по Израилю, встречается и беседует с людьми, пережившими Холокост, записывает на пленку их воспоминания, ничего при этом, не сокращая и не меняя. «Такая вот у нас обширная программа», – с гордостью добавила Эдита, словно эта программа могла вместить в себя боль тысяч и тысяч сердец, терпеливо ждущих, перед кем бы ее излить.

– Так что же? – рассуждала сама с собой Саруня. - Все эти рассказы соберут вместе, затем начнут показывать по телевидению день за днем, неделя за неделей, месяцы, годы. Но не случится ли, что люди не захотят смотреть эти

истории или перестанут им верить, потому что все эти ужасы не укладываются у них в голове! Вот ученые люди советуют: надо облегчить сердце, дать ему выговориться, потому что время само лечит, а пережитые страдания закаляют. Но почему в таком случае, когда Саруния видит по телевидению окровавленный ботинок, лежащий на асфальте возле того места, где только что террорист взорвал автобус, в глазах у нее становится темно, а из глубины памяти всплывает другой, дымящийся ботинок – ботинок ее отца?

На второй день войны мать Саруни свернула в рулоны три больших ковра, упаковала серебряную посуду, зимние вещи и договорилась со знакомым извозчиком, чтобы тот отвез это добро к одному из бывших работников отца, жившему возле Кишиневского моста. Расчет был прост. Дело в том, что Церковная улица, где Саруния жила с родителями, начиналась возле бывшего румынского военного госпиталя, который после вступления в город Красной Армии, сделали санчастью местного военного гарнизона. Отец Саруни был уверен: прежде всего, немцы начнут бомбить казармы, военный госпиталь, дома, где живут офицерские семьи. А таких семей было немало на Церковной улице: в домах, откуда новая власть изгнала богатых людей, селили офицеров и советских начальников. А на окраине, у Кишиневского моста, – рассудил бывший торговец пшеницей Зелик Нисенбойм - живет местная - в основном, еврейская – беднота. Ну, разве захотят немцы тратить бомбы на таких голодранцев! Конечно, ее отец был умным человеком и рассуждал как рачительный хозяин, но у Гитлера и Антонеску были свои расчеты. Военные и госпитали и хорошие квартиры они намерены были оставить для своих офицеров, так что бомбить они приказали как раз те улицы, где обитала эта самая еврейская беднота. Подвода, на которой устроился и отец, чтобы сопровождать багаж, отправилась к Кишиневскому мосту первой. Мать, Саруния, сестра с маленьким ребенком на руках и Маня пошли пешком. Правда, Маню, хромавшую на одну ногу, отец хотел взять с собой, но она отказалась: «Я не барыня!» Хаюся, держа на руках младенца, тоже заявила, что пойдет пешком, и решительно добавила: «Сейчас нам надо держаться вместе».

Саруния шла молча и размышляла о своей судьбе. А судьба ее при советской власти складывалась удачно. Она окончила первый курс педагогического техникума, даже несмотря на то, что русский язык давался ей с трудом. Да и вообще, веяния времени настолько захватили Сарунию, ее друзей и подруг и так закружили всех их в водовороте новой жизни, что у них уже не было времени задуматься над тем, куда их несет. К тому же, в семье, слава Богу, все складывалось хорошо. Сема, которого поначалу встретили настороженно, быстро освоился в их доме, стал частью их семьи. Это он помог ее отцу, вчерашнему «буржую», обрести звание советского служащего. Теперь каждое утро, натянув черные сатиновые нарукавники, бывший торговец Нисенбойм отправлялся на работу. Даже Маня – домработница – осталась жить в их доме. Ухаживать ей было некуда, и Сема так все обстряпал, что никаких неприятностей

от властей по этому поводу у них не было. Короче, ничего в доме не изменялось, разве что у отца появилась странная привычка: перед тем, как что-нибудь сказать, он начинал озиаться вокруг. Да и голос его стал хриплым и тихим, словно что-то случилось с его горлом.

Итак, ранним утром отец как обычно обратился к маме со словами: «Мадам Нисенбойм», и велел ей взять с собой только самые необходимые вещи. Мама растерялась - для хорошей хозяйки любой предмет в доме необходим: определить, что более и что менее ценно, было ей очень трудно. Вся семья, кроме Семы – его мобилизовали в первый день войны – отправилась в путь вслед за подводой, чтобы укрыться в нищем квартале, затеряться среди бедняков. Летнее знойное солнце уже успело накалить и землю, и небо, свет его был таким ярким, что резал глаза. Женщины шли медленно, сильно отстали от подводы, а потому старались хотя бы не потерять друг друга в потоке людей, где никто толком не знал, куда его несет. По мере того, как беженцы приближались к окраине, дома становились приземистей, стояли гуще, их двери и окна с пристроенными завалинками выходили прямо на дорогу. А в окнах этих домов, сидели, словно вырезанные из бумаги, бабы и ребятишки и с любопытством смотрели на непрерывный поток беженцев: они-то сами явно не помышляли бросить свои халупы, крытые камышом или соломой. Саруня, которая прожила в этом городе всю свою жизнь, вдруг поймала себя на мысли, что ни разу так далеко не удалялась от Церковной улицы и даже не представляла себе, что в ее городе существуют такие вот закоулки с такими вот развалюхами.

Самолеты с крестами на крыльях появились внезапно, раздался взрывы, а когда наступила тишина, Саруня увидела, как огонь быстро и жадно пожирает эти ветхие домишки. Ей вдруг показалось, что и она находится посреди этого гудящего огня и дыма. Оглушенная, она ничего не слышала, глаза ее разъедал едкий дым горелых перьев, словно Маня смолила во дворе ошипанных к празднику кур. В голове звучало одно: «Помпа, где помпа!».

Когда Саруня рассталась с Эдитой и ее группой из фонда Спилберга, у нее возникло такое ощущение, будто она застряла на полпути, осталась одна-одинешенька и не может решить, надо ли идти вперед или повернуть назад. Конечно, всегда хорошо идти вперед, но что в ее теперешнем положении означает – идти вперед? Другое дело, тогда, в начале ее хождения по мукам, когда она и ее родные, измученные и изнуренные, брели, не останавливаясь: они знали – надо идти вперед, остановиться - значит остаться здесь навсегда, как навсегда осталась лежать их бедная Маня.

Странно, именно здесь, в городе Нацерет-Илит, где без Вали она не выходит из дому, пройденные жизненные дороги слились с ее одиночеством. Из детства, из родительского дома хорошо помнит она слово «коморина» - скитание и бездомность. Это слово отец произносил, как проклятье. Не иметь своего угла, не иметь крыши над головой, проситься к чужим людям – таков был его

горький смысл. Она знала это слово, но в полной мере поняла его смысл после бомбежки еврейских кварталов в районе Кишиневского моста. И вот тебе на! Столько лет прошло, и забытое слово вдруг всплыло, сорвалось с языка, упало к ее ногам, шепча по дороге: «Теперь я буду твоим проводником».

В ту ночь Саруне приснилась мать. Она была в праздничном шелковом платье с белым кружевным воротничком, украшенным овальной серебряной брошью с кусочком янтаря. На голове у мамы черный платок - так она одевалась на Судный день. А папа, бывало, шутливо замечал: «Мадам Нисенбойм, когда Всевышний увидит вас в таком наряде, он с радостью запишет вас в Книгу Жизни». Так близко, как в том сне, Саруня видела лицо матери только в те отрадные часы, когда мать прижимала ее к своей груди, кормила своим молоком. Но разве такое может остаться в памяти? Саруня во сне сглотнула слюну, словно наяву ощутила тот совсем забытый вкус. Горечь прожитого дня постепенно отлегла от сердца. «Я знаю, – ласково и успокаивающе произнес мамин голос, – я знаю о тебе всё. Даже то, что ты хотела бы от меня скрыть. Я же твоя мать, а от матери – сама знаешь – трудно что-то скрыть. Ты тоскуешь по своему вчерашнему дню. Мы тоже тоскуем, но по нашему завтрашнему дню, которого нас лишили. Где-то на полпути между нашей неизбывной тоской, которой мы обе томимся, мы скоро встретимся...».

В темноте послышался шорох. Саруня проснулась. Потерла кончик носа, будто хотела убедиться, что он на месте. Через окно пробились первые лучи света. Пробились и легли на постель, словно убеждая ее, что все в мире идет своим чередом. А может, совсем наоборот. Холодок на кончике носа – не от маминого ли он прикосновения? Тут снова послышался ей тихий шорох. На старости лет зрение у нее стало совсем никудышным, но слух не подводит, он всегда настороже, как у старой кошки. Насколько она знает, в здешних домах нет мышей. Может, какой-то жучок? Она вспомнила: все свои годы, кроме трех с половиной лет войны и того нелегкого времени, когда Давид работал в селе, она прожила в родительском доме. После возвращения в Бельцы в мае 1944 года она нашла родную Церковную улицу почти такой же, какой та была до войны. Правда, многие дома были разграблены, то там, то здесь вместо окон или дверей зияли рваные проемы, но в целом ничего не изменилось. Саруня вселилась в семейное гнездо, позже привела сюда Давида. Иногда она просыпалась посреди ночи от стука в окно, и уже не могла больше заснуть – лежала на спине с закрытыми глазами, прислушиваясь к шорохам и звукам в доме.

После всего пережитого в гетто и в лагере она понимала, что родные стены – это не просто кирпичная кладка: они, впитав в себя дыхание обитателей дома, сами начинают дышать. А если этого не происходит, стены болят, покрываются плесенью, крошатся и, в конце концов, рушатся. А потому ее первым желанием после того, как она переступила порог родного дома, было такое - поскорей замазать щели глиной и побелить стены! Раньше ей никогда не приходилось этого делать, так что первые попытки оказались

неудачными. Но вскоре дело пошло. В конце же концов Саруня заработала так лихо, словно выросла не в доме состоятельного торговца зерном, а в крестьянской хате. Она знала, что в годы ее неволи и скитаний в их доме квартировали румынские офицеры. Глина, замешанная с «балигой» – конским навозом и едкий раствор извести должны были очистить каждую щелку, трещину в стенах и потолке от духа непрошенных постояльцев. Полы же она окатила крутым кипятком, в который набросала растертый красный перец, потом начала скрести пол кухонным ножом, будто хотела навсегда уничтожить следы неведомых сапог.

Она помнит, как, закончив ремонт, она рухнула посреди пустой комнаты, в той самой, в которой их большая семья собиралась за обеденным столом каждую субботу, и залилась слезами. Она долго плакала, пока, наконец, не поняла, что следы произошедшего, ссадины и шрамы на ее сердце и в ее памяти никогда не удастся ни соскрести, ни вытравить. Так ляжет ли всё то, что ей пришлось пережить, на ленту, которую снимали Эдита и два этих симпатичных парня?

V

Не прошло и пяти минут, как Саруня положила трубку после разговора с Фирой, раздался еще один звонок. Из Германии звонил Элик. По всей видимости, сообразила Саруня, Фира успела перезвонить брату и сказала ему, что «у мамы плохой голос».

– Спасибо тебе сынок, что мне позвонил, – Саруня отодвинула платок подальше от трубки, крепче прижала ее к уху, – и не переживай, пожалуйста. Конечно, я скачу по всем вам, очень хочу вас видеть. Ну да хватит об этом, лучше скажи мне, что нашел у тебя доктор? Только холестерин? Ну, слава Богу. У нас пишут, что от холестерина помогает варенье из зеленых грецких орехов... У вас там растут орехи? Вот и хорошо. А скажи, как чувствует себя Риммочка? Когда? На днях? Дай Бог, чтобы все обошлось благополучно.

Саруня не столько слушала сына, сколько пыталась уловить интонации его голоса, пыталась представить себе, как он выглядит: она не видела Элика вот уже больше шести лет!

Когда пришло время уезжать из той страны, сваты – родня со стороны жены сына – поездке в Израиль решительно воспротивились: или в Америку, или в Германию! Об Израиле даже слышать не хотели. Но дорога в Америку была для них закрыта – никаких родственников у них там не было, а вот Германия начала принимать всех подряд, лишь бы в паспорте у человека значилось «еврей». Элик тут же начал уговаривать отца с матерью и сестру с мужем ехать с ними в Германию – в эмиграции лучше быть всем вместе! Давид тогда отрезал: «Один раз я там уже был, больше не хочу. В ту реку не хочу». Да и у самой Сарры сердце, наверное, разорвалось бы на части, если бы каждое утро ей пришлось видеть те самые лица. Понял ли тогда сын, о каких реках говорил его отец, понял ли он, что сердце его матери могло не выдержать встречи с прошлым? Этого она не знала, знала только, что ее любимец уехал в

Германию вместе с семьей жены. Как и всякая мать, Сарра-Саруня была счастлива, когда у нее родился первенец. Впрочем, она была даже немножко счастливее других, ибо была уверена, что ее сын воплотил в себе не одну жизнь, а сразу несколько. Глядя на сморщенное личико младенца, Саруне казалось, что она видит другого Элика, маленького сыночка Хаюси, угасшего в Печорском концлагере. И еще радовалась про себя Саруня потому, что рождение сына представлялась ей мстью тем, кто пытался искоренить с лица земли ее род...

Платок соскользнул с головы и повис на плечах. Аккуратно подстриженные седые волосы расплзлись в разные стороны, но сердце наполнилось радостью: ее Эли, ее сынок, вот-вот станет дедушкой! Казалось бы, только что он и сам был малышом. Она вдруг вспомнила, как он носится по двору в своих красных панталончиках, верхом на палочке. Они тогда жили в селе Сынжерея, недалеко от Бельц. Красные штанишки Элика, видимо, раздражили индюка, который надулся, распустил перья и гордо и гневно ходил по двору, словно был его подлинным хозяином. Ясно было, что он не потерпит конкурента, тем более, что индюк и Элик были одного роста. Во всяком случае, когда Саруня выбежала во двор, индюк уже сидел на мальчике. Но и малыш не сдавался, размахивал палочкой, норовя попасть индюку по голове.

– Скажи, Элик, ты помнишь твои красные штанишки, ты помнишь того индюка, который напал на тебя? – спросила Саруня неожиданно для самой себя и тем более – для сына. Но тут же спохватилась. Не об этом она хотела говорить: – Хочу тебя попросить, чтобы ты помнил, – отец очень много сделал для тебя. И если, даст Бог, родится мальчик... слушай меня, Элик... Давид-Давидка – очень красивое имя, даже в Германии. Ты же и сам понимаешь, Элик.

Уже миновала минута-другая, как они переговорили, но Саруня продолжала держать трубку возле уха. Короткие отрывистые гудки все больше отдаляли ее от нервно подрагивающего голоса сына. Он всегда был вспыльчивым, горячим, – нелегкий ребенок! Понятное дело, Давид нашел бы, что ему сказать.

Она как бы продолжала разговор с самим собой. У Элика была смышленная головка, он хорошо учился, хотя Саруня никогда не знала, когда сын делает уроки. На всех родительских собраниях учителя хвалили его. Другое дело, его поведение в школе. Не раз она получала записки от учителей, что Элик сорвал урок географии или подрался во время перемены. Однажды его вместе с двумя другими мальчиками застали с сигаретами в туалете. Несколько раз удирал с уроков. Саруня прятала от Давида эти «хорошие послания» – и потому, что щадила мужа, который с рассвета до заката пропадал на работе, и потому, что опасалась – гнев отца может оказаться слишком суровым. С таким характером, как у Элика, это могло принести мальчику только вред.

И вдруг Элика, словно подменили. В восьмом классе он влюбился. Девочка, звали ее Белла, была на год старше. Учились они в одной школе. Саруния хорошо знала ее родителей: отец работал в буфете на базаре, жена помогала ему. По правде сказать, не очень родовитая семейка. Но кто тогда думал о таких вещах? Подростки? Сегодня влюбляются, завтра разлюбляются, юность – как свежий ветерок, ласково коснется – и нет его.

И Саруния когда-то чувствовала его дуновение. Но то был не ветерок, а порывистый шквал, ураган, в пух и прах искромсавший ее поколение.

По окончании школы Белла уехала в Сибирь поступать в мединститут, где уже учились ее старшие братья. Через год Элик помчался за ней вслед, и даже Давид не мог убедить его поступать в институт где-то поближе, хотя он закончил школу с золотой медалью и двери всех вузов были для него открыты. Столько же воды с тех пор утекло? Подумать только: Риммочка, дочь Элика, ее внучка, скоро станет мамой!

Саруния уложила высушенные ломти хлеба в чистую наволочку. Она это делала неторопливо, рассматривая каждый кусочек хлеба с обеих сторон, будто какое-то случайное пятнышко могло свести на нет всю ее работу. Довольная собой и проделанной работой, она направилась в спальную, продолжая размышлять о том, что и Элик, и Фира – достойные люди. Оба получили хорошее образование, стали настоящими специалистами, добились успеха, крепко стоят на ногах.

Вдруг она замерла, словно высушенные ломти внезапно расплылись на воде и затмили собой любимые имена и лица – все они теперь в дороге, погорельцы без своего угла, скитальцы в этом мире. Тот ли это выбор, о котором толковал с ней Давид, вечная ему память?

VI

С Давидом Саруния была знакома с детства, - они состояли в далеком родстве, правда семья Давида жила в местечке Унгены, что ближе к Яссам, чем к Бельцам, и видела-то его Саруния всего один раз. Запомнился он ей щуплым застенчивым парнишкой, с большими круглыми очками и черной, как смоль, челкой, которая спадала на высокий лоб. Но еще до того, как Саруния увидела его в своем доме, довелось ей слышать от отца, что, во-первых, Давид редкий умница, а во-вторых, что вся родня души в нем не чает. Саруния больше догадывалась, чем понимала смысл этих слов. Отец произносил их с какой-то особой интонацией, почти с восторгом, что редко с ним случалось. Почему папа так восторгался парнишкой из Унген, Саруния не могла взять в толк, но сам этот факт вызывал у девочки острое любопытство. Гости из Унген долго в Бельцах не задержались: они спешили на железнодорожную станцию, что в трех кварталах от их дома. Тут всех-то дел: попить чай, немного поговорить, и снова – в дорогу. А пока родители что-то обсуждали, Давид молча сидел за столом, отщипывал кусочки от угощения – лейкеха, лежавшего у него на блюде. Так и не сказав ни слова, застенчивый мальчик уехал, и Саруния о нем забыла, как забывают про гудок проехавшего поезда. Позже она еще несколько

раз слышала от отца, что Давид попал в двухпроцентную норму для еврейских детей и его приняли в лучшую гимназию в Яссах.

– Ты его, наверно, помнишь, Саруня? – спросил папа. Саруня отрицательно покачала головой. – Нет, что-то не припомню.

А потом, перед тем, как советские войска пришли в Бессарабию, мать рассказала ей, что из Унген поступила недобрая весть. – Давидку ... понимаешь, о ком я говорю? Так вот, его арестовала Сигуранца. – И шепотом добавила, – Он связался с коммунистами!

Советская власть спасла Давида от суда и расправы. Об этом Саруня узнала гораздо позже, после войны. А пока что Давида взяли в Красную армию, он прошел всю войну, а уже после войны вернулся не в родное местечко, а в город Бельцы. К тому времени Саруня служила учетчицей на городской мельнице. О встрече в доме родителей Сарры много лет назад Давид, наверно, не помнил, но его отец дал адрес родственников в Бельцах, хотя уцелел ли кто-нибудь из Нисенбоймов во время войны, об этом его отец ничего не знал.

Давид и Саруня встретились в родительском доме. Он был в армейской форме, гимнастерке, брюках галифе, сапогах, начищенных до блеска. Натянутый поверх гимнастерки пиджак был ему узок в плечах. Вообще он мало отличался от других демобилизованных еврейских парней, которые возвращались в местечки, где они выросли, находя там чаще всего пепел и разграбленные дома своих родителей. Саруня и Давид пили чай с печеньем, которое она недавно получила на работе в качестве премии к тридцатилетию Октябрьской революции. Давид снял очки, положил их возле себя на стол. Саруня же с трудом удерживается, чтобы не задать ему вопрос, зачем ему очки, если он их снимает, когда садится за стол? Понятное дело, позднее чаепитие вдвоем с парнем – пусть даже с родственником – вызвало у нее какую-то неловкость. Но тут она вспомнила, как много лет назад они также сидели и пили чай – ее отец и мать, Хаюся и ее жених Семен. Позже мама назвала то памятное чаепитие «обручением на советский лад». Нахлынувшее воспоминание заставило Саруню вздрогнуть, от чего она обожглась горячим чаем, да так, что на глаза навернулись слезы. Она прикрыла рот ладонью, отдавая себе отчет, что выглядит довольно глупо. Давид, между тем, надел очки.

– Потри правой рукой мочку левого уха, станет легче. Саруня, как послушная ученица, последовала его совету: чуть-чуть потерла ухо. Потом оба рассмеялись. Шутка эта вошла в анналы семейной истории. И когда Элик или Фира, обжигал язык, кто-то из родителей непременно говорил: «Потри правой рукой мочку левого уха». Через неделю Давид получил работу на сахарном заводе, еще через месяц они стали мужем и женой: тот поздний осенний вечер положил начало их долгой совместной жизни. И все было бы хорошо, но, как когда-то любил говорить отец Саруни, даже самая прямая дорога полна ухабов и рытвин. Давида, как члена партии, направили в село Сынжерея загонять крестьян-единоличников в колхоз. Отказаться от такого ответственного поручения ему даже в голову не пришло: свой партбилет

получил на передовой в 1943 году! Короче, Саруне и Давиду пришлось расстаться. Должно быть, своим женским умом она не понимала чего-то того, во что Давид твердо верил. В конторе, где она работала, шли разговоры, что, дескать, сельские мужики противятся, не хотят идти в колхоз. Поэтому-то ночами солдаты в селах поднимают целые семьи, под конвоем везут их на железнодорожную станцию, впахивают в теплушки и отправляют в Сибирь или в какие-то еще гиблые края.

Бывало, по воскресеньям Давид наведывался домой, почерневший от усталости. И хотя Саруня никогда не знала, придет он в это воскресенье или нет, горячая вода всегда была у нее наготове, на плите. Отмывался Давид в большой жестяной лохани, а она поливала теплой водой его худощавую сутулую спину, потом растирала жесткой намыленной мочалкой. Давид кричал, стонал, сжимая губы, постепенно приходил в себя. Немного подкрепившись, шел к постели и падал в нее пластом. Глубокой ночью Давид просыпался, Саруня лежала рядом с закрытыми глазами в полудреме и ждала, истосковавшаяся, трепетная, когда он к ней прикоснется. Достаточно было ему погладить ее, как она мгновенно отзывалась на ласку, страстно прижималась к мужу. Бледный рассвет проникал через окна в их спальню, постепенно передвигаясь по полу к стене, возле которой стояла их кровать. Саруня знала, что остались всего считанные минуты, которые она может разделить с мужем, считанные мгновения их близости. В урочный час он проснется, вскочит и опять скажет: «Выбора у нас нет!». И так будет из месяца в месяц.

Тем временем Саруня забеременела. И ее тесть Нухим, к которому она обращалась на «вы», но называла папой, очень помогал ей по дому. Времена были нелегкие. Летом палил нещадный зной, поля буквально выгорели, и скудный семенной запас, который крестьяне хранили и берегли, у них отобрали до последнего зернышка в счет поставок государству. В селах начался страшный голод. В городе, на улицах, возле железнодорожной станции можно было видеть толпы истощенных молдаван с домоткаными сумками – трайстами за спиной. Их овечьи папахи еле держались на исхудавших головах, похожих на пересохшую тыкву, покрытую шерстью. Голодные крестьяне устраивались у заборов, вызывая злобный лай собак, у которых, похоже, особый нюх на попрошайек.

Однажды возвращаясь домой с работы, Саруня наткнулась на человека, сидевшего на земле у дерева. Сразу подумалось – наверное, пьяный? Но когда человек поднял голову, Саруня мгновенно все поняла. Поспешила домой, нашла большой чугунный казан на пять литров воды и принялась варить мамалыгу. Тесть удивился: «Что случилось? Ожидаешь ватагу гостей?». Саруня размешивала мамалыгу скалкой и чувствовала, как внутри ее закипает злость. Она сама не могла понять, почему с ней такое происходит и на кого надо излить накопившийся гнев. Тесть пал невинной жертвой. Она крикнула в сердцах, не глядя в его сторону: «Люди на улице мрут, как мухи, и никому до этого нет дела!». Отец Давида, разумеется, понял, на кого намекает Саруня. Конечно, он мог бы промолчать, не связываться с беременной невесткой. Но

когда она повернула голову к нему, тесть, глядя ей в глаза, тихо, но твердо произнес: «А когда бандюги из их рода убивали наших жен и детей, кому до этого было дело?». Казан с горячей мамалыгой на улицу вынес тесть. Саруня заранее приготовила табуретку, застелила ее белым полотенцем, на которое Нухим вывалил густо заваренную мамалыгу. Старик нагнулся над золотым кругом кукурузного чуда – мамалыги, от которой шел горячий пар, нарезал ее толстой белой ниткой, как это сделал бы почти любой бессарабец. Мамалыга появлялась у калитки и два или даже три раза в неделю, пока не закончился весь запас – полмешка кукурузной муки, которую Саруня получила на мельнице в дополнение к зарплате.

VII

Саруня лежала в кровати, укрытая теплым стеганым одеялом, которое она привезла «оттуда» и вспоминала колкие – и глупые – замечания родственников там, в Бельцах: «Кому в Израиле, могут понадобиться зимние вещи?» Но даже если они никому не нужны, думала тогда Саруня, разве можно разбрасываться такими вещами? Взять это одеяло. Оно хранило теплоту и близость Саруни и Давида. Сколько тайн прикрыло оно собой, сколько знало страхов и сомнений! И вот теперь Саруня делит с этим старым одеялом свою старость и свои воспоминания.

В селе Сынжерея они прожили пять лет. После рождения Элика Саруня переехала к мужу. К тому времени Давида перевели на другую работу. Ему поручили поставить на ноги сельскую школу. И он с головой ушел в новое дело. Через год эта школа стала лучшей в районе, и Давид начал ездить на различные учительские конференции и семинары. Но когда в село приезжали делегации по обмену опытом, директор школы, местная выдвиженка-молдаванка, не уставала хвастать «своими» достижениями. Давида это коробило, но открыто своего недовольства он не выказывал. Разве что иногда касался этой болевой точки «под одеялом». Однажды, после семинара педагогов в Кишиневе, он получил рекомендацию для поступления в Бельцкий пединститут на заочное отделение. Давид с радостью принял ее, потому что учеба оставалась для него заветной мечтой.

Саруня тоже не сидела сложа руки. Окончила курсы дошкольного обучения и стала работать в детском садике, который Давид создал при школе. К тому же Элик, благодаря ее новой работе, всегда оставался у матери на виду. Сарра и Давид были счастливы. Казалось, что в селе, куда евреи после войны избегали возвращаться, молодая семья Векслер обрела свой дом. Два года они жили во флигеле при школьном здании, но потом сельский совет выделил им отдельный домик с двором и сараем, где Саруня держала кур, уток, индюка. Как знать, возможно, они навсегда остались бы в Сынжереях, но!

Частенько к Давиду за советом наведывались родители его учеников, он их вдумчиво выслушивал, хотя острые вопросы – касательно колхоза, власти, – не имели отношения к его школьным занятиям. Ночью же, после таких разговоров, он ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Саруня все это

чувствовала, переживала вместе с ним, шептала: «Прошу тебя, Давид, следи за каждым своим словом. Чуть что – на тебя свалят вину». Давид же молчал, и его молчание еще сильнее пугало ее. Опасения Саруни подтвердились. Не зря говорят: мужчины думают головой, женщины – сердцем. Разве не чуяла Саруна, что откровенность Давида, его резкие высказывания о начальстве, убежденность в правоте того, что он делает, обернется против него самого? Кажется, только Давид не замечал, что директорша прямо таки зеленеет от зависти к нему. Ведь школой руководил, по сути, ее заместитель. Ученики любили его, учителя обращались к нему за помощью. Без доноса с ее стороны дело не обошлось. В один далеко не прекрасный день Давида вызвали в районный центр. Больше того, за ним прислали автомашину и забрали его прямо из школы.

Сарра съежилась под одеялом, затаила дыхание, словно хотела сдерживать поток воспоминаний, нагрянувших на нее вороньей стаей. А ведь она сама вызвала их к жизни, выпустила из клетки, в которую они были заперты! Теперь они ворвались в ее нынешнее одиночество из той далекой бессонной ночи, когда она перенесла их спящего мальчика в родительскую постель, прямо в одежде легла рядом с ним, только туфли скинула. Ей нужно было чувствовать на своем лице его дыхание. Это делало ее похожей на сторожевую собаку, готовую наброситься и растерзать любого, от кого исходит опасность.

Днем станет известно, что Давида увезли. При этой мысли ее бросило в жар. Взгляд ее остановился на Элике, который на полу играл с заводным автомобилем. Первая мысль была: ребенка я им не отдам, ни за что не отдам. Давида отпустили домой через несколько дней. Ему повезло, донос попал в руки человека, знавшего его со времен подпольной работы, когда оба они сидели в одной камере румынской тюрьмы. Теперь этот человек занимал высокую должность в Кишиневе. Как он сказал Давиду, к нему поступил «сигнал», где школьный завуч был обвинен в «румынском национализме». Давид, дескать, с издевкой отзывался о молдавском языке, открыто говорил, что молдавский не отличается от румынского, его просто-напросто напичкали русскими словами, а замена латинского алфавита на кириллицу «была глупостью». В те годы такого доноса было достаточно, чтобы человека сослали к белым медведям на долгие, долгие годы. Высокопоставленный знакомый как-то сумел выгородить Давида, но посоветовал ему покинуть село и вернуться в Бельцы. Там он обещал помочь с работой, но о возвращении в школу советовал забыть. Так вот они и вернулись домой, где все эти годы жил отец Давида. Знакомый начальник сдержал слово, помог Давиду устроиться в строительный трест кладовщиком. Началась новая жизнь.

Через год после возвращения в Бельцы родилась дочка Фира, Фирочка. Еще когда Сарра была беременна, тесть попросил: если родится девочка, – а он был уверен, родится именно девочка, – чтобы назвали ее в честь безвременно умершей матери Давида. «Давид ведь осиротел, когда ему было десять, – поведал он Саруне, – уже столько лет его мать лежит в земле, а ее имя до сих пор никому не дали».

Эта просьба растрогала Саруню, и она безропотно согласилась, хотя имя ее покойной матери тоже никому еще не дали. Она знала, что Давид рано лишился матери, но чувство, с которым Нухим вспомнил о жене, вызвало у нее воспоминание о собственном отце. О его манере обращаться к матери «Мадам Нисенбойм». Саруня никогда не слышала, чтобы отец повысил голос в доме на кого-то. Вот мама могла вспылить, налиться краской, кричать, и нужно было время, чтобы она остыла и успокоилась. Когда такое случалось, Саруня с трепетом смотрела на отца: неужели он раскричится в ответ? Но после того, как голос матери становился тише и спокойнее, отец подавал голос: «Мадам Нисенбойм, не кричите так сильно, вы, чего доброго, разбудите Бога!» Мама в ответ махала рукой, примирительным тоном роняла: «Иди себе, иди».

Нухим умер через две недели после рождения Фирочки. Случилось это внезапно, в разгаре дня. Неожиданно схватился за сердце, тут же принял таблетку валидола, прилег на диван, и все кончилось. Глядя на свекра, Саруня, сама прожившая на свете немало лет, подумала, что и в смерти человеку нужно везенье. Ее тестю досталась легкая смерть. И ее отец ушел из жизни легко, без мучений. Его счастье, что не дожил до того дня, когда в муках и страданиях умирала его «Мадам Нисенбойм». Наверно, это особое везенье – не дожить до той минуты, когда любимый человек расстается с жизнью. Такое счастье Саруне не выпало. Ей суждено было собственными глазами увидеть смерть любимых и близких людей. Может быть, это ей наказание за то, что она одна из всей семьи осталась в живых?

Боль пронзила ее – болело все, от груди до левого глаза. Конечно, от этой напасти у нее есть средства. Она приняла таблетки, боли улеглись. Но где взять таблетки, которые помогают забыть пережитые горести? Такие пилюли еще не изобрели, сказал ей много лет назад в Бельцах доктор Калихман. Она тогда целый месяц пролежала в больнице, парализованная после удара.

У Фиры была трудная беременность. Что в рот ни возьмет - выворачивает наизнанку. Рвала желчью. Она и Миша жили тогда уже в Кишиневе, и Саруне приходилось часто отпрашиваться с работы в своем детском садике, мчаться туда и назад. Долго так не могло продолжаться. Не могли же ее постоянно подменять другие воспитательницы! Но тяжело ей было не только от поездок в Кишинев.

Уже долгое время в сердце ее гнездилась скрытая боль. Никакой камень на ее жизненной дороге не был таким тяжелым, как тот, что последнее время давил на сердце днем и ночью. И если днем эта мука ослабевала в будничной суете, ночами она опять наваливалась на нее с прежней силой. Холод поселился в ее постели, лег между ней и мужем. Саруня знала ту женщину, – уже нашлась услужливая душа, которая донесла ей о существовании «разлучницы». Соперница работала в городской библиотеке, у нее был муж, взрослая дочь. Наверно, Саруня сама была виновата, что Давид спутался с той библиотекаршей. Да, у Саруни нет времени читать книги, толстые журналы. Разве что детские книжонки, которые она читает детям. К тому же Сарра не

любила наряжаться, не носила дорогих украшений. Тюбика губной помады ей хватало на целый год. Что сказать, у нее, слава Богу, есть во что одеться. Но она не хотела тратить деньги на тряпки, да и не могла себе этого позволить. Сначала Элик уехал учиться, потом Фира. Содержать детей далеко от дома – нелегкая задача. Пришло время и нужно было сыграть им свадьбу. Да, ее Давид стал руководителем стройтреста, но разве это досталось ему легко? Откуда у него еще берутся силы встречаться с библиотекаршей? Она не говорила ему о своих терзаниях. Что-то удерживало ее. Никогда не могла понять этого и, по правде говоря, не хотела. Молча проглатывала обиду, более всего, опасаясь, чтобы дети ни о чем не догадались: время все расставит по своим местам. Она ждала, ждала. Так уж складывалась ее жизнь, что если обрушивался на нее один камень, он непременно тянул за собой другую, потом – целую лавину. Однажды на работе она упала, свалилась, как подкошенная, очнулась в больнице. Правую сторону тела парализовало, лицо перекошилось.

Давид был первый, кого она узнала. Он гладил ее руку, но она не чувствовала ни его ласки, ни собственной руки. Его лицо и белый халат, накинутый на плечи, были одного цвета. Он улыбался ей, словно сквозь слезы. И она не сразу поняла, что он ей говорит: «Фира родила мальчика. Его назвали Наум, Наумчик. Имя моего отца».

VIII

Начались боли в затылке. Сарра втянула голову в плечи, надеясь, что это поможет успокоить боль, не даст ей расплзтись по всему телу. Так, сдерживая дыхание и закрыв глаза, она лежала и ждала когда спазм наконец пройдет. Должно быть, воспалился какой-то комок нервов, – подумала Саруна, пытаясь представить, что происходит с ее мозгом. Или тромб застрял где-то в венах и перекрыл дорогу потоку крови? После предыдущего удара ее долго одолевали страхи, что вот-вот у нее отнимется рука или нога. Она тотчас начинала тереть пальцы, сильно похлопывать свое тело. При этом ощущение боли как раз радовало ее: раз болит, значит чувствует, значит все в порядке. Со временем страхи забылись. Больше того, она научилась приспосабливаться к боли и вообще к недугам, которые набрасывались на нее, как стая злобных псов. И ведь вот – долгие годы болела она, Саруна, а умер-то Давид!

За несколько недель до отъезда в Израиль ему вдруг стало плохо. К тому времени они уже продали дом в Бельцах и переехали к Фире в Кишинев. Понятное дело, сразу обратились к лучшим врачам, устроили Давида в больницу, чередом пошли анализы. Возникло подозрение, что у Давида рак печени. Но тут наступил день отлета, и они улетели. В глазах у Саруны было темно, и землю новой страны Саруна просто не видела. Зато вспомнилось ей, как однажды к ним в дом, когда она была еще ребенком, постучался нищий. Старый еврей с окладистой бородой словно вышел из старинных преданий. Оказалось, этот старик придумался каким-то отдаленным родственником маме. Он был одним из садигурских хасидов. Мама сразу усадила его за стол, принялась кормить, слушать его притчи. Перед уходом старичок вытащил из

нагрудного кармана две тонкие красные тесемки и протянул маме. «Эти ленточки, – сказал он, – дал мне один хасид, который привез их с Земли Обетованной, из святого города Иерусалима». Саруня и Хаюся долгое время носили на правом запястье эти красные ниточки, по словам мамы – средство от дурного глаза.

В те дни, когда они узнали, что у Давида страшное заболевание, отъезд в Израиль, раньше вызывавший у Саруни дрожь, вселил надежду, что там ее Давида спасут. Ведь в Израиле лучшие еврейские головы, лучшие лекарства! Она ухватила за Израиль, как за ту красную тесемку, что отводит любую беду. Прямо из аэропорта Давида отвезли в больницу, расположенную в пригороде Тель-Авива, а их всех - в Нацрат-Илит. Фира с Мишей еще несколько раз успели навестить Давида, но Саруня его больше живым не видела.

Мысли начали путаться. Может, все-таки удастся уснуть? С тех пор, как у нее побывали эта симпатичная Эдита с двумя молодыми парнями-собрами, Саруня ночами не может сомкнуть глаза. Днем еще удается прикорнуть, читая газеты, а ночью на нее наваливаются нескончаемые мучения. Ночь из нее тянет душу. Снотворные таблетки не помогают, голова трещит от боли. После той ночи, когда ей приснилась мать, с ней стали приключаться странные вещи. Саруня поймала себя на том, что не знает, куда Фира спрятала ключ от комнаты, которую она называла «чтоб-не-понадобилось». Для чего ей так нужен этот ключ, Саруня сама не знала. Ей просто подумалось, что неплохо бы знать, куда запропастился ключ от той двери. Потом Саруня вспомнила, что ночью услышала какой-то шорох. Начала ходить по темной квартире, шарить в углах, отодвинула диван и заглянула под шкафчики на кухне. Ничего подозрительного не обнаружила. Тогда подумала, что надо бы попросить Валю купить порошок от разных жучков. Так она с венником в руке брела по квартире, потом остановилась у запертой двери, и снова спросила себя: куда же я могла его спрятать, этот несчастный ключик? Саруня почувствовала, что эта дверь начинает ее волновать, как некогда мамины баночки с лакомствами, – «чтоб-не-понадобилось».

О том, где мог быть спрятан ключик, Саруня догадалась лишь ближе к сумеркам. Подошла к стенному шкафчику в спальне, сняла с полки темно-коричневую лакированную шкатулку, осторожно открыла крышку и нащупала там ключик. И обрадовалась, словно ребенок, которому удалось найти спрятанную от него игрушку. Еще работая в детском саду, она делила детишек на две группы: одна прятала клад, другая должна была его найти. Бывало, игра захватывала даже ее саму, и она вместе с ребятами старательно искала клад. Вообще работа в детском саду отразилась на ее характере и давала о себе знать в ее отношении к людям и вещам, в ее манере говорить и думать. Взять собственных детей. Они давно выросли, сами стали родителями, но воспитательница Сарра Зеликовна все еще напоминала им, что перед обедом надо вымыть руки, а перед тем, как выходишь из дому, полезно заглянуть в

туалет. Саруня прижала к груди найденное «сокровище» и даже похвалила себя, как она это делала, когда играла с детьми: «Молодец, Сарра Зеликовна! Кто ищет, тот всегда найдет». Довольная собой, она пошла в спальню, легла и почти сразу уснула. Проснулась она от того самого непонятного шороха. Проснулась и подумала: она ведь осмотрела и обшарила все уголки квартиры! Может быть, звуки идут из той запертой комнаты – «чтоб-не-понадобилось»? Напрягла слух, настороженно повернулась в ту сторону, откуда доносился шорох. На миг ей показалось, что от ее уха до той двери в темноте протянулась тонкая проволочка, вибрация которой передает отголосок того, что творится за дверью. Двигаясь по проволочке, шорох как бы нарастал, усиливался и долетал до ее ушей, как лавинный грохот. Она зажала уши ладонями.

Саруня присела на постели и начала покачиваться из сторону в сторону, как страдальца, выплакавшая все слезы. «Подумать только, – жаловалась она в пространство, – на одной чаше весов лежит груз прожитых лет, на другой – единственное мгновение, и это мгновение перевешивает».

Сколько лет ее преследовали те отрывистые звуки, которые раздаются когда соскребают со стены известку, пока она не вытеснила их из памяти. И вот тебе на – после стольких лет они снова ожили, эти страшные звуки, вырвались из своей закрытой камеры и снова настигли ее. Перед глазами появилась ее сестра Хаюся с крохотным Эликом. Он еще и ходить не умел, лишь передвигался ползком. Подгибал под себя ножку, опирался на обе руки и начинал ползти – резво и быстро, как звереныш с перебитой лапкой. Когда сестры этого не видели, он мгновенно подползал к стене и своими ноготками начинал царапать известку. Отколупывал кусочки и тут же тащил их в рот, чтобы никто не отнял это лакомство. Его пальчики кровоточили, ноготки были обломаны, истерты, но у него прорезались зубки, и ничего не могло его остановить. Да и Хаюся не одергивала его, лишь обвязывала тряпочками его пальцы, повторяя при этом: «Ребенок хочет жить!».

Элик родился семимесячным. Когда война началась, ему «стукнуло» четыре месяца. Еще чудо, что у Хаюси не пропало молоко. Правда, сама Хаюся высохла как тень, лишь грудь ее выпирала, давая младенцу эту манну небесную в пору голода и невзгод. В первую военную зиму все они к тому же валялись в тифозной горячке. Сначала мама, потом Саруня, потом уже Хаюся с Эликом. Когда Саруня пришла в себя, мамино застывшее тело уже куда-то унесли.

Приподнявшись из последних сил, Саруня увидела возле себя кучку тряпья, под которой что-то двигалось. Может, крыса? Но тут из-под тряпок высунулась бледная детская ножка. Потом выглянуло помятое личико, сомкнутые посиневшие губы и шея, по которой длинной чередой ползли вши.

Саруня все еще ворочалась в постели, словно хотела остановить нахлынувшие на нее воспоминания. «Ребенок хочет жить!». Эти слова поддерживали сестер, давали силы идти по раскисшей от распутицы проселочной дороге, когда их гнали в концлагерь Печора. Казалось, легче

рухнуть в эту жижу, свалиться в придорожную канаву, чем идти дальше. Свалиться, чтобы окрик румынского жандарма стал бы их поминальной молитвой. После двух дней того марша на обочине дороги навсегда осталась лежать здесь домработница Маня.

До конца декабря они жили в Тульчинском гетто. Тогда пошли слухи, что бессарабских евреев погонят дальше, куда-то в лагерь за Бугом. Потом стали поговаривать, что люди из юденрата сделали коменданту изрядное подношение, и тот пообещал никого не отправлять из гетто. Прошло немного времени, и в окно постучали с глухим рыданием: «Ой, взй, беда... Золото он взял, обнадежил – и обманул». Саруня старалась представить себе будущий лагерь. Что это такое – пустырь, обнесенный колючей проволокой, землянки, сарай? Она знала, но упрямо отгоняла от себя мысль: всех их гонят на гибель.

В село Печора они притащились на третий день, когда уже стало смеркаться. На холме перед ними вырос обшарпанный барский дом с прохудившейся крышей. Поговаривали, что когда-то это был один из дворцов графа Потоцкого, но после революции особняк превратили в санаторий для командиров Красной Армии. Потом санаторий закрыли, и особняк пришел в упадок. Вокруг запущенного дома, обнесенного высокой кирпичной стеной, простирался двор. Через железные ворота ввели новоприбывших, а навстречу им уже бежали узники-старожилы. Все искали родственников, соседей, знакомых. Все старались перекричать друг друга, но вскоре раздались отрывистые команды лагерной полиции: возбужденную толпу успокаивали палками и нагайками.

Маму, Саруню и Хаюсю с ребенком загнали в небольшую холодную комнату на втором этаже, где уже находилось около сорока человек. Сидели и спали на полу. Вытянуть ноги или перевернуться с боку на бок было почти невозможно.

Крестьянам из ближнего села не разрешалось приблизиться к воротам. Выменять что-то из вещей на пару картофелин, на горсть фасоли или кусок жмыха было невозможно. Никакой еды не выдавали. Воды – тоже. Ее можно было набирать или в речке, или нужно было растапливать снег. Ни помыться, ни постирать белье. О кусочке мыла и речи не могло быть. Вши просто съедали людей. Тиф и дизентерия косили всех подряд, от мала до велика.

Случалось, из коридора невозможно было открыть дверь, потому что с внутренней стороны лежал мертвец. В коридорах и на ступеньках валялись умирающие и умершие. По нужде надо было ходить во двор, в широкую яму. Но мало кому удавалось дойти до ямы, облегчались, где придется. Если еще попадались такие узники, кто мог дышать, то дышать им было нечем. Казалось, что нос, глотка, легкие забиты нечистотами.

Покойников подбирали раз в неделю. Бросали их в телеги и отвозили на свалку к реке. С каждым днем в доме становилось все тише и тише. Люди перестали разговаривать. Затихли ссоры, прекратились воспоминания о покинутом доме, потерянных родственниках. Редко кто из женщин вспоминал,

что она когда-то готовила. Само по себе слово «еда» звучало нелепо, словно его произносили в бреду. Элик совсем высох. Даже перестал плакать. Тогда, в первую морозную зиму войны, умерла мама. Умерла молча, без слов. Ни Саруния, ни Хаюся даже не могли подняться, чтобы проводить ее хотя бы взглядом.

IX

Все утро Саруния слонялась по квартире, а следом за ней шла бессонная ночь. Время от времени старушка бросала настороженный взгляд на дверь комнаты «чтоб-не-понадобилось». Даже приникала к ней, и, придержав дыхание, настороженно прислушиваясь – что там происходит? Потом заглянула на кухню – надо же что-то поесть! Потом ни с того, ни с сего начала шуметь: громко стучала тарелками, с грохотом вытащила из кухонного шкафчика кастрюли, переставила их, сдвинула тарелки в другое место. Затем принялась мыть посуду, хотя в этом не было никакой необходимости. А для пушего шума открыла водопроводный кран до предела, и его струя со свистом ударила о раковину. Неожиданно нож выскользнул у нее из рук и упал на цементный пол. «К чему бы это – к добру или к беде?» – подумала Саруния. Вспомнила, как суеверная Маня говаривала в таких случаях: если нож падает на пол, надо остерегаться острого языка.

Старушка взглянула на часы. Стрелки показывали четверть двенадцатого, а Вали всё еще не было. Который сегодня день, понедельник? Куда же она запропастилась? На миг Саруния растерялась, - может быть, сегодня вовсе не понедельник? Где это у меня календарь?

Там, в Бельцах, календарь всегда был перед глазами, висел на кухне возле холодильника. И каждое утро, не успев встать с постели, она заглядывала на кухню и отрывала вчерашний листок. Нет, Саруния не была склонна верить в приметы. Тем не менее, листок календаря она отрывала не накануне, перед тем, как лечь спать, а рано утром, на следующий день, когда Давид и дети еще досматривали последние сны.

Ночью страхи сгущаются, неуверенность усиливается. Ночью душа покидает тело, – говорила ее мама, – а рано утром она возвращается или навсегда остается где-то в дороге. Блуждает. Всерьез так считала мама или говорила об этом с усмешкой, для Саруни так и осталось загадкой. Но в то мгновение, когда падал листок календаря, она прямо-таки чувствовала, что ночь миновала, и сквозь мрак пробился новый день.

Взгляд ее скользнул по газете. На ней же указана дата. Но чем это ей поможет? Уже потеряв надежду со всем этим разобраться, подумала: хоть возьми и позвони Фире в Торонто и спроси, какой сегодня день! Но нет, они могут подумать, что их мама сошла с ума. Почувствовав внезапную усталость, Саруния засеменила к дивану. Зима с горем пополам отступала. За ней так же быстро прошла весна. И вот уже на дворе лето. Времена года не изменили свой черед.

Они так же сменяются, как и до войны. В свое время зацветают деревья, трава идет в рост, и река Буг несет свои воды к Черному морю, как сотни лет назад, еще при графе Поттоком. Полицай по прозвищу Мишка Казак, веселый парубок в казацком картузе набекрень, из-под блестящего козырька которого выбивается пышный русский чуб, любил пошутить: «Что вы тут такие хмурые, девчата? Разве вам тут плохо? Травы тут навалом – переходите на подножный корм. Деревьев – сколько хочешь, на любом можно повеситься. Воды в Буге – хоть отбавляй, есть где утопиться. Одним словом, курорт».

К Бугу спуститься им разрешали, разрешали выкупаться в реке, постирать жалкие пожитки. Во дворе они собирали упавшие наземь сухие ветки, старые листья и варили похлебку на двух кирпичах. Готовить приходилось в ржавой консервной банке, выкопанной где-то на берегу. Порой удавалось сварить фасоли. Пригоршню бобов легче было с воли занести в их двор, чем несколько картофелин. Варить надо было долго, но сухие листья быстро сгорали, однако отломить веточку с дерева, – даже сухую, – строго запрещалось. За это «нарушение» били дубинкой по голове. Но побои не останавливали голодных людей, голод был страшнее побоев.

Саруня и Хаюся уже выменяли на продукты почти всё, что принесли с собой из Тульчина. Осталось только пальтишко Саруни и Хаюсины часики, подаренные ей когда-то женихом. Но их берегли на крайний случай.

Как-то раз сёстры набрались храбрости и решили тайком прокрасться в ближнее село. Хаюся проделывала это уже не однажды, оставляя Элика на Саруню. На этот раз отправились втроём. Саруня даже не могла представить, как она протянет руку за подаванием. Однако дорога не оставила ей много времени на размышление: слишком велика была угроза попасть в руки полицая или подлого мужика, который тут же донесёт полицаям. В тот раз они забрели дальше обычного, стараясь идти незаметными тропами, избегая сёл, чтобы из хат их никто, не дай Бог, не увидел. Днём прятались в зарослях кустарника и только вечером, когда солнце уходило за холм и крестьяне возвращались с полей, они потихоньку подбирались ко двору на окраине и ждали, когда кто-нибудь выйдет из хаты. Саруне не пришлось протягивать руку. Завидев их, крестьянские малыши убегали с испуганным видом. Взрослые уже знали, кто такие эти оборванки. Они тут же скрывались в хате, а через несколько минут выходила баба, неся в подоле сокровище – ломоть черного хлеба, несколько отваренных картошек, помидоры, огурцы. Изредка их даже зазывали в дом. Смотрели, как гости глотают всё, что им подносят. Бабы украдкой смахивали слезы. «Господи, что творится, покончат с ними, возьмутся за нас».

Элик глотал еду, как взрослый. Сунет в рот целый вареник, а ручонками тянется к тарелке с фасолью. Животик его вздувался и твердел, как барабан, но он, бедняга, никак не мог остановиться. Ночью, устроившись где-то в тайнике, они не переставали есть. Грызли опавшие яблоки, груши, сливы. Наутро их животы чуть не лопались, но уже появлялись силы выдержать боль.

У них был свой способ выбраться из лагеря. Элик знал, если мама и тётя повязывают на голову светлый платок, это значит, что они пойдут «айта» и

принесут «мня-мня». Так он называл молоко. Обычно они выходили после полудня. Прятались в густой траве недалеко от тропинки, ведущей к Бугу, там пережидали, пока вахтенный полицай скроется за деревьями, кидались на тропинку и катились с холма, чтобы успеть спрятаться в зарослях камыша, пока полицай не вернётся. Возвращаясь назад к реке, полицай обычно немного топтался на месте – передыхал – и потом снова шагал вверх. Вот тогда-то наступал решающий момент. Согнувшись, сестры бежали по мелководью, прикрытые от чужих глаз плотной стеной камыша. Так добирались до окраинных хат села Печора. Но это было опасное место: железные ворота у околицы и будка часового смотрели прямо на дорогу. Ещё счастье, что вахтенные полицаи часто были пьяны и отсыпались в своей дежурке.

Печора была большим селом, полицаев и жандармов там было хоть отбавляй. Но местные жители уже свыклись с обитателями «санатория» и делали вид, что не замечают эти измождённые тени. Только псы и мальчишки гонялись за «санаторниками». Псы – чтобы укусить, озорные сорванцы – чтобы забросать камнями. Главное было – как можно быстрее обойти это село. Не раз им приходилось падать лицом к земле и стремиться вклиниться в неё, лишь бы не угодить в лапы полицай или румынского жандарма.

Элик знал: плакать нельзя. Он не издавал ни звука, только глазёнки, чёрные, как у отца, выдавали его страх.

В восьми километрах от лагеря за деревней Бортник они приближались к опушке леса. Там можно было перевести дух, почувствовать себя диким зверем, вольным и смелым. Ноги в ссадинах, а также исцарапанное тело, искусанное вшами и блохами, можно было остудить в лесном ручье. Постиранную одежду – просушить на траве или камнях. И сами они, искупавшись, вымыв головы, заново рождались на свет, будто только что вышли из рук Творца. Валялись на солнечной опушке, которая вдруг превращалась в золотой кораблик, словно выплывший из тёмной бездны сновидения. Но достаточно было услышать малейший шорох, как всё возвращалось на круги своя.

После трёх-четырёх дней странствий просёлочными стёжками-дорожками они приходили в лагерь. Это только казалось, что достаточно вырваться из заграждения, как сразу становишься свободным. Невольничья цепь тянулась за ними, за каждым из них. Высокий кирпичный забор лагеря как бы постоянно вставал перед ними. И как бы далеко им ни удавалось уйти, его каменный холодок они ощущали всем существом, словно упирались в стену лбом.

Саруня проснулась. Кто-то стучал в дверь. Она с трудом поднялась, подошла, открыла. Это была её Валя, её метапелет.

– Вы что, задремали?

Саруня, по-видимому, выглядела заспанной.

– Сегодня-таки понедельник, – пробормотала она.

– Конечно, понедельник. Я же вам в прошлый раз сказала, что сегодня приду после обеда, потому что должна была ехать с моим Исааком Аркадьевичем к врачу.

Тем временем Валя вошла в квартиру, расстёгивая на ходу плащ. – Мой Исаак Аркадьевич на иврите знает всего три слова: «Тода», «Слиха» и «Беседер» – «спасибо, извините, порядок». Так что мне приходится ходить с ним к врачу и объяснять, что у него болит. Валя засмеялась, но быстро спохватилась: она всё же на работе!

– На дворе сегодня прелестная погода, а у вас всё закрыто. Давайте, Сарра Зеликовна, оденьтесь, а я пока приоткрою окна, проветрю квартиру.

Саруня не отозвалась, всё еще стояла у дверей, не трогаясь с места. – Что-то случилось, Сарра Зеликовна? – встревожилась Валя. – Вы плохо себя чувствуете?

Но Саруня как будто не слышала вопроса.

– Сегодня я не выйду. И вообще, сегодня я бы хотела остаться одна.

– Вы уверены, Сарра Зеликовна? – осведомилась слегка обиженная Валя. – Может, я могу вам чем-то помочь? Может, что-нибудь нужно?

– Да, – Саруня, словно вспомнила о чём-то, – купите мне пять белых батонов.

– Пять? – недоверчиво переспросила Валя.

– Лучше шесть, – решила Саруня и вынула из кармана халата кошелек. Валя удивилась. – Вы ждёте гостей?

Саруня на мгновение перестала копаться в кошельке, точно этот вопрос вернул её к прерванной мысли.

– Нет, я сама отправляюсь в гости.

Она произнесла это так тихо, что Валя не расслышала и, видимо, обиделась.

– Ладно, не хотите говорить – не надо.

Примерно через полчаса она принесла хлеб и перед уходом напомнила Саруне.

– Если вам что-нибудь понадобится, звоните, сразу приеду.

Наутро, умывшись, выпив стакан чая с коржиком, Саруня принялась за работу. Нож в её руках быстро и послушно резал батон на тонкие ломти, которые ровными рядами ложились на хлебную дощечку.

Х

Саруня закончила приготовления: белая наволочка была набита подсушенными ломтями батона и лежала у её ног. Ключ от запретной комнаты она сжимала в руке: больше ей не придётся искать его, как в детсадовской игре «найди клад». Боль в затылке слегка утихла. Похоже, спазм прошёл, мысли прояснились. Да, понятное дело, комната «чтоб-не-понадобилось» оказалась правильным адресом, а эта ночь стала самой подходящей из всех пережитых бессонных ночей для того, чтобы открыть эту комнату. Там-то она найдет то, что ищет! Так случалось всегда, еще с детства, – как раз те вещи, которые родители

тщательно прятали, в какой-то момент оказывались самыми нужными.

Саруня почувствовала прилив сил, холод отступал, тепло поднималось от пяток к коленям и плавно растекалось по всему телу. Потом начался жар. Саруня скинула с себя теплое одеяло, встала с постели и начала одеваться, не зажигая света. Кремовое платье она приготовила заранее, а под стулом темнели ее коричневые туфли. Много времени на то, чтобы одеться, не понадобилось, разве что с пряжками на обуви пришлось повозиться, потому что ноги опухли, и ремешки сходились с трудом. Некоторое время она колебалась: накинуть на голову зеленый платок или просто скрепить волосы гребешком из резной кости? Потом всё же повязала голову платком, гребень положила на подушку. Прижала к животу пухлую наволочку с хлебом, обхватила обеими руками и мелкими шажками направилась к двери запретной комнаты.

Шла вторая зима в лагере Печора. Вот уже неделя, как Саруня и Хаюся лежат на полу, прижавшись друг к другу. Они молчат, а их лица так близки, что едва тёплое дыхание одной касается дрожащих век другой. Ещё неделю назад между ними лежал Элик. Ему отдавали они последние крохи еды и последние капли своего тепла. Любовь прикрывала его с двух сторон, как два крыла. Защищала, берегла. Теперь Элика не стало. Он не плакал, не просил кушать. Он угас тихо, как крохотная звёздочка, не вовремя появившаяся не на своём небосводе. Слова «ребёнок хочет жить» поддерживали сестёр, как клятва и обет, но безжалостные жернова перемололи их волю в прах.

Они похоронили Элика под деревом в саду. Ночью, чтобы никто не видел, выкопали узкую, но глубокую могилку – куском жести и ногтями, царапая промёрзшую землю.

Вернувшись в свою камеру, сёстры опять улеглись на полу, молча обнялись в молчаливой уверенности, что им уже не подняться. Так они и лежали целую неделю на полдороге к небытию.

- Ты должна жить, – послышался Хаюсин голос.
- Для чего?
- Чтобы выйти замуж, родить детей, построить свой дом.
- Думаешь, это ещё возможно?
- Надо верить.
- Что значит верить? Верить в Бога?
- В любовь. Большая любовь спасает.
- Наша с тобой любовь не спасла Элика.
- Мы думали только о еде.
- Голод и холод сильнее всего.
- Так я тоже думала.
- Что же теперь изменилось?
- Всё изменилось. Я пережила моего ребёнка.

Достаточно было одного поворота ключа, и дверь комнаты «чтоб-не-понадобилось» покорно открылась. Сарра переступила порог и сразу узнала ту солнечную поляну в лесу. Слегка прищурила глаза, не привычные к такому

яркому свету. Вдруг поляна превратилась в золотой парусник, устремлённый в безбрежную даль. Теперь ей предстояло решить, куда идти дальше? Назад она уже точно не пойдет, остаётся дорога вперед. Сарру вели мамины слова из недавнего сновидения: они встретятся где-то на полпути томления по любимым, по незабвенным, невосполнимым утратам, по каждой из них.

– Ты должна жить, сестричка, – эти слова Хаюся прямо-таки вдохнула ей в рот. И замкнула их поцелуем. Пересохшие, потрескавшиеся губы Саруни отозвались, приняли поцелуй. Она почувствовала, – каждая жилка ее молодого тела трепетно возвращается к жизни.

«Ей нужен свежий воздух», – прозвучали в её ушах мамины слова, перекатываясь гулким эхом, воспоминанием о минувшей жизни. Они тогда ехали в село Куболта на целое лето – мама, Хаюся и Саруня. Там было много свежего воздуха и парного молока, которое каждый вечер крестьянка приносила в зелёной бутылки, закрытой кукурузной кочерыжкой. Сестричкам было положено перед сном выпить по стакану молока. Утром же они направлялись к речушке Реут. Мама сидела на берегу и присматривала за девочками, а они играли у воды в камешки. Заходить в воду мама настрого запретила, но однажды Саруня увидела, что прямо в нескольких шагах от берега резвится рыбешка. Глаз не могла оторвать от серебристой рыбки, которая металась туда-сюда. Она протянула ручку, готовая схватить эту рыбку, но поскользнулась и упала в воронку водоворота. В ушах гудело, мышцы напряглись, стала захлёбываться. Комок подкатил к горлу.

Саруня закашлялась и открыла глаза. Откуда-то издалека услышала она срывающийся голос матери: «Господи, она возвращается к жизни». Но это была не мать. Над ней стояла старушка в зелёном платке на голове. Она кого-то напоминала, но пока Саруня еще не могла понять, кого именно. Миг, отделявший то давнее сновидение от того, что привиделось ей теперь, оказался слишком долгим. Он вобрал в себя целую жизнь.

– Кто ты? – спросила Сарра у старушки.

– Я – это ты. Я пришла к тебе из завтрашнего дня.

– Где моя сестра?

– Её больше нет. Воды Буга унесли её, когда ты уснула после её поцелуя. Он вернул тебя к жизни. Пора отдать долг. Пошли. Они, те, кто остался в нашем вчера, ждут нас у себя.

День вошёл в свои права. Телефон долго звонил. Может быть, это из Торонто, возвращаясь со студенческой вечеринки, пытался дозвониться внук Наумчик. Может быть, Элик спешил сообщить, что Риммочка родила девочку. Сарра, Саруня – очень красивое имя, даже в Германии, не правда ли?

Erich Maria REMARQUE**JUNGE LEHRER***Plauderei eines Kriegerlehrer*

Der Regen strömt draußen, der Sturm braust, wildfetzend umflattert die Nacht mein kleines Haus, brausend zieht die Unendlichkeit ihre Kreise durch Wolken und Wind. - Winternachtssturm!

Mild leuchtet die rötliche Lampe auf meinem Lische. So traulich ist es in meiner kleinen Klausur! Ich stehe auf, um ein paar Stücke Lorch nachzulegen in den Ofen. Der Sturm fegt durch den Schornstein und jagt die Funken aus der Ofentür. Unwillkürlich denke ich an andere Nächte vor zwei Jahren, wo der flandrische Regen in unsere Unterstände troff und die Granaten den Sturm überbrüllten. - In Erdlöchern vergraben-lagen wir Nacht um Nacht, den Traum von der Heimat im Herzen, Gewehr und Handgranaten in der Faust. Der Winternachtssturm ließ uns erschauern, machte jäh Todesgedanken bildhaft und ließ das atemraubende Grauen auf uns los, jenes furchtbare Rätsel, das mit Katzensohlen und Tigerkrallen geschlichen kam, das stählerne Nerven zermürbte, das große Grauen des Todes!

Eine leichte Kühle läuft mir noch in der Erinnerung den Rücken entlang. Fast zärtlich streichle ich über den alten, verwitterten, buntbemalten Stahlhelm, der auf dem Bücherbort wuchtet.

Und langsam steigt die Erinnerung an Sturmnächte vor einem Jahre auf — Weiße Betten in luftigen Sälen, Bett an Bett, Gips, Schienen, Verbände, lautlos hin- und wiedereilende weiße Gestalten: Lazarett. Und immer das dumpfe Schmerzen in Knie und Arm und Kopf, das fortwährende Pulsen und Pochen der operierten Wunden. O, die schlaflosen Nächte der Qual, endlos in ihrer Dunkelheit, die gellende Schlacht noch im Gehirn, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen, wie lang waren sie? Dies Warten auf Linderung der Qual, nur ab und zu unterbrochen von jähem Schmerzensschrei und schrillum Klingeln. - Der Winternachtssturm sauste um das Haus der Schmerzen und riß an Läden und Fenstern.

Nun bin ich in meiner lieben stillen Heide. Seit wenigen Monaten Dorfschulmeister. Erst habe ich geglaubt, ich könne nicht hier leben - so fernab von Stadt und Getriebe, von Theatern, Konzerten, Kollegen. - Ich meinte, ich müsse geistig verhungern, glaubte, mein Beruf würde mich nicht ausfüllen. Und mit Schrecken dachte ich schon an die langen Winterabende im einsamen Dorfe.

Эрих Мария РЕМАРК*Übersetzung / Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ**

Размышления ветерана войны

Ночь, льёт дождь. Ветер, словно одичав, треплет мой маленький дом. Бушующая бездна неотвратимо продирается сквозь тучи и ветер – зимняя ночная буря!

А в моей маленькой хижине так уютно! Мягкий красноватый свет настольной лампы. Встаю, чтобы подложить в печь пару поленьев. Ветер мечется в дымоходе и охотится за искрами, вылетающими из печной дверцы. Невольно вспоминаются другие ночи двухгодичной давности, когда фламандский дождь проникал в наше укрытие и взрывы гранат перекрывали рёв урагана. Зарывшись в земляные норы, лежали мы ночами, зажав ружья и гранаты в кулаках, и мечтали с сердечной тоской о родных местах. Холодный ночной ветер заставлял нас дрожать от холода и страха, придавая невольным мыслям о смерти такую подлинную зримость, что этот леденящий призрак, подкрадывавшейся к нам на кошачьих лапах с тигриными когтями, буквально изматывал и без того напряжённые нервы перед, казалось бы, неотвратимостью ужасного конца!

Воспоминания пробегают по спине лёгким холодком. Почти с нежностью поглаживаю я лежащий на стопке книг стальной шлем – старый, обветренный, с пёстрыми пятнами.

И медленно возвращаюсь мыслями в те прошлогодние ветреные ночи – к белым двухъярусным кроватям в просторных залах, гипсу, шинам, повязкам, беззвучно снующим белым фигурам – лазарет. Постоянно тупые боли в колене, в руке, в голове, учащённый пульс и пульсирующие послеоперационные раны. О, эти бессонные в бесконечной темноте ночи мучений с кинжальными прострелами в голове! Боли, боли, боли, как долго они были? Эта не утихавшая надежда на избавление от страданий, постоянно прерывалась воплями от боли моих соседей и резкими звонками. Ураган зимней ночи проносился мимо дома мучеников, обрывая ставни и окна.

Но теперь я в моей милой тихой пустоши. Уже пару месяцев работаю учителем деревенской школы. Вначале казалось, что не смогу здесь жить – так далеко от городской суеты, от театров, концертов, коллег. Думал, что работа вряд ли сможет заполнить моё время, и я духовно изголодаюсь – особенно со страхом представлял себе долгие зимние вечера в одинокой деревне.

Wie anders ist es gekommen! Ich liebe sie schon, meine stille Heideeinsamkeit! Es ist alles so viel tiefer und schöner hier als draußen in der Welt. Die Gedanken hetzen sich nicht wie früher — nicht im Eilschritt kommen sie vorbeigerast - nein, ruhig und still kommen sie geschritten -, und sie lächeln mich an und grüßen mich. Und ich sehe, es sind meine Gedanken, die da ziehen. Das ist so schön! Ich horche wieder in mich hinein und vernehme das leise Wachsen meiner Seele. Ich widme mich wieder liebevoll den kleinen Dingen, über die ich oft hochmütig hinweg-sah, und ich finde da das, dem ich früher vergeblich nachstrebte: Die Harmonie in Gott!

Hier in der Einsamkeit kann man sich wieder auf sich selbst besinnen. Alle Dinge haben dann so einen eigenen Glanz. Früher war mir Arbeit, besonders Kleinarbeit, oft Qual. Jetzt fühle ich, daß Arbeit ein Fest sein kann.

Öfters habe ich wohl noch Sehnsucht nach Welt und rauschendem Leben, Wünsche nach lichtdurchflirrten Kronleuchtersälen, Horchen auf leichthüpfende Tanzmusik im Blute; aber wenn ich dann vor meiner Klasse stehe und all die gläubigen, vertrauenden Gesichter sehe, die zu mir aufblicken, dann verstummt alles, und ich bin mir wie ein Sämann, der ernst und bedachtsam seinen Samen in den Boden setzt. Sämann des Lebens! Ein schöner Name für einen Lehrer!

Nun sind meine Gedanken wieder daheim. Der Regen rauscht eintönig hernieder. Ab und zu draußen Hundegebell, ein schwerer, verhallender Schritt: Dann knurrt mein Wolf mir zu Füßen und schlägt halblaut an. Nun erhebt er sich und reckt den Kopf über den Tisch, blinzelt in die Lampe und legt dann den Wolfskopf auf meine Knie, mich mit treuen Augen ansehend. Ich streichle ihn.

Vor mir liegen braune Hefte — viele Hefte. Die warten auf die rote Tinte, die einen grimmen Kampf mit hartnäckigen Fehlern auszufechten haben wird. Mir wird ganz zärtlich zumute, wenn ich den Stoß Hefte ansehe. Und aus den Heften, diesen charakteristischen Fehlern, diesen unbeholfenen Buchstaben steigt mir das Bild eines trotzigigen Kerlchens, eines verschüchterten Mädels, all der lieben kleinen Leutchen, die mich morgens mit so staunend großen Augen ansehen, so gläubig — denen ein Lächeln, ein gutes Wort von mir, ein Bildchen noch strahlend den ganzen Tag übergolde. Ich bekomme ordentlich Sehnsucht nach der Kindheit, wenn ich daran denke; und leise summt mir die schwebende Begleitung und der wundervolle dämmerdunkle Satz der Singstimme des Liedes von Meister Brahms durch den Sinn:

»O wüßt ich doch den Weg zurück,

Den lieben Weg zum Kinderland« — Ganz versonnen blättere ich in den Heften.

Nun muß ich doch ein wenig lächeln, wie ich sie so durchsehe.

Da der 6jährige Gravel! »Mit« schreibt er mit »dt«, aber »Pferd« schreibt er richtig. Er ist nämlich Pferdeliebhaber, liegt den ganzen Tag in den Pferdeställen und auf den Weiden und ist imstande, eine genaue Lebensbeschreibung sämtlicher Dorfgäule zu geben. Er kennt genau jeden einzelnen Flecken, jede Weißzeichnung der Gäule,-weiß genau, wann sie beschlagen sind, was sie leisten.

Однако, всё иначе получилось! Я полюбил моё пустынное одиночество! Здесь всё намного глубже и прекрасней, чем в большом мире. Мысли не толпятся как прежде – не пробегают мимо – нет, они шествуют степенно и просто, они улыбаются мне и приветствуют меня. И я вижу, что это – мои мысли. Это замечательно! Можно снова прислушиваться к себе и чувствовать, как в моей душе что-то тихо произрастает. Я посвящаю себя снова маленьким делам, от которых я прежде решительно отворачивался, и нахожу в них то, к чему я раньше безуспешно стремился: гармонию в Боге!

Да, здесь в одиночестве можно опять вспомнить о себе. Все вещи получают свой истинный свет. Раньше для меня работа, особенно незначительная, была мучением. Теперь же я почувствовал, что работа может быть праздником.

Раньше я часто тосковал о бесшабашной жизни, мечтал любоваться игрой света в освещённых люстрами залах и ощущать легкие пульсирующие толчки внутри от танцевальной музыки; но теперь, когда я вхожу в класс и вижу все эти ждущие и доверчивые лица, обращенные ко мне, то ощущаю себя Сеятелем, который серьезно и вдумчиво бросает в землю семена жизни. Прекрасное имя для учителя – Сеятель!

Возвращаюсь мыслями, так сказать, на землю. Дождь падает с монотонным шорохом. Иногда снаружи доносится собачий лай, тяжёлые приглушенные шаги: тогда мой Волк рычит у моих ног и негромко огрызается. Вот он поднимается и вытягивает шею к столу, шурится на лампу, и потом кладёт свою морду на мои колени, глядя на меня преданными глазами. Я глажу его.

Передо мной лежат коричневые тетради – их много. Они ожидают прикосновения красных чернил в борьбе с упрямыми ошибками. Мне очень приятно видеть эту стопку тетрадей. Из ошибок, из этих типичных или неуклюжих исправлений и пропусков букв возникает передо мной то образ дерзкого мальчишки, то застенчивой девочки: всех этих милых маленьких человечков, которые по утрам смотрят на меня такими поразительно большими и доверчивыми глазами – они ждут от меня улыбки, добрых слов и занимательных рассказов, всего, что могли бы ярко озарить им целый день. Если я думаю о детстве, меня охватывает щемящее чувство тоски и неотвязно крутятся в голове тихие тёмнозакатные строчки из песни Брамса: «О, если б знал я путь назад, Тот в детство милый сердцу путь» – Отрешённо листаю тетради.

А вот теперь на этой странице можно и улыбнуться. Это 6-ти летний Гравель! «Mit» он пишет с «dt», но «Pferd» он пишет правильно. Он, кстати, любитель лошадей, целыми дни проводит в конюшнях, на пастбищах. Без сомнения, он в состоянии точно описать подробности жизни всех деревенских кляч, ведь он знает каждое пятно, клеймо, знает точно, когда их били и что за муки они при этом вынесли.

Und hier die kleine Rosa, die eine Tafel immer wie eine Puppe anfaßt. Und die jedesmal, wenn sie das Wort »Puppe« sagt, erst tief Atem holt und ganz glänzende Augen bekommt. Ja, Mädel, in deinen Augen ist noch ein ganzer Puppenhimmel, und wenn du mich so anstrahlst, dann wacht ein Dunkles, Längstvergessenes wieder in meiner Seele auf; Vergangenes, Verschollenes klingt leise an, und Glocken der Jugend, der seligen Jugend hallen wieder. Ich denke an Räuberspiele und Fischefangen, an Kreiselschlagen und Indiebäumeklettern — und kann es dann wohl verstehen, daß du, nachdem wir von der Puppe gesprochen haben, eine ganze Weile unaufmerksam dasitzt und nichts von dem vernimmst, was um dich zu vorgeht.

Und da ist der kleine Menger, der immer die größten Butterbrote und die größten Schnitzer im Diktat hat. Sein Aufsatzheft trägt natürlich wieder sein Siegel: Fettflecken.

Und hier die kleine Rupen, die mich immer so verschüchtert anträumte und gleich weinte, wenn ich sie etwas fragte. Und die jetzt erblüht wie eine junge Rose, deren Traumseele sich entfaltet wie ein aus der Puppe kriechender Schmetterling. Jetzt läutet ihr Silberstimmchen schon lustig im Chorus mit, wenn es heißt 1 und 1 ist 2, 2 und 1 ist 3, 3 und 1 ist 4 usw., oder wenn wir das spaßhafte Lied von dem »Was« singen, das auf unserer Wiese geht, die Frösche wapp, wapp, wapp, fängt, und rote Strümpfe und ein schwarzweiß Röcklein anhat.

Ja - mein Blick gleitet weiter über den Tisch. Zeitschriften liegen da von der Welt da draußen. Bücher, rote, gelbe, grüne Bücher, Gedichte, Romane, Nachdenkliches -

Draußen rauscht der Regen —

Der Sturm braust —

Es ist so still und friedlich in meiner heimlichen Klausur.

Ich werde ganz versonnen.

Früher glaubte ich, das Leben müsse undenkbar, unfassbar gewaltig groß sein — und jetzt — wie wenig gehört dazu, ein Menschenleben froh, friedlich und nützlich zu machen. Nicht mehr, als der Lichtkreis meiner Lampe bescheint.

Und ich träume weiter - von Kindern - Heimat - Herztreu — bis die Türe aufgeht, und meine liebe Kostwirtin, Schomackersmutter, nachdem sie schon zweimal vergeblich geklopft hat, mit dem Abendbrot kommt und mich in die Wirklichkeit zurückführt.

А вот маленькая Роза притрагивается к учебной доске как к кукле. И всякий раз, когда она произносит слово «кукла», то сначала глубоко вздыхает и глаза у неё загораются. Да, девочка, ты витаешь ещё в кукольных облаках, но когда я вижу твой лучистый взгляд, в моей душе просыпается и тихо позванивает из темноты давно забытое утерянное прошлое – это зазвучали опять колокола юности. Я вспоминаю игру в разбойников, рыбалку, лапту, игру в индейцев ... – и вдруг ловлю себя на мысли, что рассуждая о кукле, отвлёкся от реальности.

А это маленький Менгер, который всегда во время диктанта поглощает большие бутерброды и шницели. Об этом напоминают в его школьной тетради жирные пятна.

Маленькая стеснительная Рупен раньше засыпала на занятиях и начинала сразу плакать, если я ее о чём-нибудь спрашивал. В последнее время она расцвела как юная роза, мечтательная душа которой распахнулась как крылья родившейся из куколки бабочки. Теперь ее серебристый голосок весело звучит в хоре отвечающих: 1 плюс 1 – это 2; 2 и 1 – это 3; 3 и 1 – это 4 и т.д. Или, если мы поём шуточную песню о «Что?», где речь идёт о нашей поляне, и дети-лягушки прыгают и ква, ква, квакают, то тогда мелькают её красные чулки и белочёрная юбочка.

Да – мой взгляд скользит дальше над столом. Сверху лежат журналы со всего мира. Книги, красные, жёлтые, зелёные книги, стихи, романы, критика –

Снаружи шумит дождь –

Ревёт ветер –

А в моей затаившейся хижине так тихо и спокойно.

Смирение обволакивает меня полностью.

Раньше я верил, что жизнь должна быть невообразимой, безудержно огромной – а теперь – как мало всё на это похоже: надо просто делать человеческую жизнь радостной, мирной и полезной. Как свет, который дарит моя лампа.

Я продолжаю мечтать – о детях – родине – верности – пока не открывается дверь, и моя милая кормилица (матушка башмачника, что уже дважды безуспешно стучала в дверь) входит с ужином и возвращает меня к реальности.

Julien HEBENSTREIT**DIE FLIEGE**

Er steht im Saal. Es ist ein kreisrunder Saal, in den über seinem Kopf durch eine gigantische Kuppel weißes Licht hereinfällt, und der Saal ist so groß, dass Er von seiner Position aus keine Wände sehen kann. Er weiß aber, dass der Saal rund ist, denn der Boden ist ein Fliesenboden mit tausenden Ringen aus Fliesen, mal ein schwarzer Ring, dann ein weißer Ring, dann wieder ein schwarzer Ring, ein weißer... Je weiter es in die Raummitte geht, desto enger werden die Ringe, bis zum Zentrum des Thronsaals, das aus einer einzelnen weißen Fliese besteht, direkt unter der Kuppel, und auf der steht Er.

Er trägt keinen Namen. Er trägt einen Anzug, der ihm ein bisschen zu groß ist und sich an den Schultern nach oben bauscht. Seine Schuhe sind schwarz und ein bisschen zu groß, seine Hose ist schwarz und ein bisschen zu groß, sein Hemd ist schwarz, seine Haare, seine Haut. Sie ist von einem so tiefen, lackhaften Schwarz, dass man kaum den Übergang zwischen Stoff und Körper erkennen kann. Und wie eine Lampe sitzt an seinem Hals eine strahlend weiße Fliege. Er hat sie gebunden.

Er steht auf der Fliese inmitten des Thronsaals und bewegt sich nicht. Dabei würde Er sehr gerne von seiner Fliese gehen und nachsehen, ob es denn wirklich keine Wände gibt. Aber Er, und das ist der Punkt, kann sich nicht bewegen, warum, weiß er auch nicht. In seinen Hosentaschen nestelt Er am Futter der Anzugshose herum, seine Finger kann Er also bewegen, aber seine Beine nicht. Er steht in der Mitte des Saals, und aus seinen Hosentaschen heraus dringt das monotone Knittern und Kratzen des Zwirnstoffs, den Er zwischen seinen Fingern knetet, in die absolute Stille des Saals hinein.

Er hört auf mit dem Kneten, als ein zweites Geräusch hinzukommt, das aus einer Ecke des Raums dringt. Also, aus einer Richtung des Raums. Hinter ihm. Es ist auch ein Kratzen, dreimal, dann Pause, dann wieder dreimal, monoton ausgeführt. Er dreht seinen Torso in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Seine Füße kleben an der weißen Fliese. In seiner Lende knackt ein Knorpel.

Dieses Kratzen kann Er nicht zuordnen, Er hat dieses Geräusch noch nie gehört in seinem Leben. Aber das Kratzen wird lauter, kaum merklich, aber eben merklich, und Er fragt sich, von wem es kommt und ob es näher kommt. Einer plötzlichen Idee folgend, lehnt Er sich nach hinten in die Richtung des Geräuschs, und Er muss sehr breit grinsen, als Er sich noch weiter nach hinten lehnt und sich seine Füße immer noch nicht vom Boden lösen.

Жюльен ХЕБЕНСТРАЙТ*Übersetzung / Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ГАЛСТУК-БАБОЧКА**

Н. стоит в зале. Это круглый зал, в котором через гигантский купол ниспадает белый свет, и зал этот так огромен, что Н. со своего места не может разглядеть его стены. Округлости зала вторят на кафельном полу тысячи маленьких кругов из кафельных плиток, то чёрный круг, то белый круг, то опять чёрный, то белый ... Чем ближе к центру зала, тем круги меньше, и так до центра Тронного зала, где на отдельной белой плитке, прямо под куполом, стоит Н.

У Н. нет имени. Он носит костюм, который ему немного велик и топорщится в плечах. Чёрные туфли и чёрные брюки ему тоже немного велики. На нём чёрная рубашка, его волосы и кожа также чёрные. Кожа настолько тёмная, что почти неотличима от ткани костюма. И только на шее, как лампа, сидит ослепительно белая галстук-бабочка. Он сам ее завязал.

Н. стоит на кафельной плитке в центре Тронного зала и не двигается. При этом он охотно покинул бы эту плитку, чтобы убедиться, есть ли у этого зала стены. Но Н., и в этом суть, не может с места сдвинуться, а почему, он и сам не знает. Через карманы своих брюк он шарит по подкладке костюма, значит пальцы шевелятся, но ноги нет. Он стоит в центре зала, и из карманов его брюк доносится монотонное потрескивание и поскрипывание многослойной ткани, которую он мнёт пальцами среди абсолютной тишины зала.

Н. перестаёт скрипеть, когда вдруг раздаётся другой звук. Откуда-то с неопределённой стороны. Скорее за спиной. Царапающий звук повторяется три раза подряд, потом пауза, и опять три раза монотонное царапанье. Н. поворачивает немного своё туловище по направлению звука. Ноги прилипают к белому кафелю. В поясице слышен треск суставов.

Подобный царапающий звук Н. никогда в своей жизни не слышал. Между тем странный звук незаметно становится громче и Н. спрашивает себя: откуда он возникает и не приближается ли к нему? Его осеняет мысль полностью развернуться. Н. тянется назад в сторону звука, но ноги он всё ещё не может оторвать от пола, и от усилий как можно дальше повернуться, на его лице появляется оскал.

Sein Oberkörper schwebt parallel über dem Boden, und Er fällt nicht um, sondern streckt sich noch weiter und hat sich jetzt so weit zum Geräusch gelehnt, dass sein Hinterkopf fast den Boden berührt. Er legt den Kopf zurück und schaut hinter sich.

Der Saal breitet sich verkehrt herum vor ihm aus. Aha, und jetzt, wo Er sieht, was hinter ihm ist, sieht Er auch, wer hinter ihm ist, und wer für dieses Kratzen verantwortlich ist. Da läuft ein hüft hoher Gnom mit einem schwarzen Tweedzylinder über die glänzenden Fliesen. Er ist nackt, seine Haut ist pechschwarz. Seine Ohren sind sehr groß, wirklich sehr, sehr groß, wie eine Hand etwa, und das linke etwas mehr als das rechte, sodass der Zylinder schief sitzt. Er trägt mit beiden Händen einen schwarzen Henkeleimer aus Metall vor sich her, ein Farbeimer, der halb so groß ist wie der Gnom selbst. Genau diesen Eimer stellt er jetzt ab, und Er sieht den großen Pinsel, der im Eimer liegt. Der Gnom beugt sich über den Rand des Eimers, holt den Pinsel heraus und beginnt, eine weiße Fliese mit der Farbe aus dem Eimer zu bestreichen. Es kratzt drei mal, dann macht der Gnom eine kurze Pause und fährt noch drei mal drüber, mit einer zweiten Farbschicht, bis die glänzende weiße Fliese in einem so tiefen Schwarz erleuchtet, dass Er schlucken muss. Der Gnom taucht den Pinsel in die Farbe und wendet sich der nächsten weißen Fliese zu.

"Was machst du denn?", sagt Er. Der Gnom hört kurz mit dem Streichen auf und dreht in der Hocke seinen Kopf rüber zu ihm. Jetzt sieht Er dem Gnom ins Gesicht, und er sieht die zum Grinsen gebleckten Zähne. Sie sind allesamt schwarz. "Wer bist du? Warum malst du die Fliesen an?" Der Gnom lächelt weiter und antwortet ihm nicht. "Du darfst das nicht. Hör auf, bitte." Der Gnom muss lachen, aber er produziert keinen Laut dabei, und Er fragt sich plötzlich, ob gerade aus seinem Mund irgend ein Geräusch kam.

Der Gnom wendet sich wieder seiner Fliese zu und streicht sie fertig. Er verharrt in seiner liegenden Position und mustert das Treiben des kleinen Hutträgers, der immer schneller zu arbeiten scheint, so kommt es ihm jedenfalls vor. Weißer Ring für weißer Ring arbeitet sich der Gnom vor, und in einem immer schneller werdenden Tempo färbt sich jede weiße Kachel in ein schwarzes Quadrat, der ganze Raum wird immer schwärzer, Er kann immer weniger erkennen, und die Augen tun ihm weh davon. "Hör auf, die Fliesen anzumalen! Hör auf damit!" Der Gnom kichert lautlos, seine kleinen spitzen Schultern beben, aber er sieht sich nicht um, sondern streicht und streicht sich immer näher an ihn heran.

Als der Gnom den Saal bis auf einen oder zwei Ringe eingedunkelt hat, beginnt Er zu schreien. Diese Farbe jagt ihm unendliche Angst ein, dieses Schwarz ist so mächtig, so erdrückend, dass ihm vor Nervosität die Wangen zucken.

Er schwitzt sehr stark, im Schweißfilm auf seinem Gesicht spiegelt sich die unendliche Schwärze des Saals. Er schreit "Haaaalt!", oder so etwas ähnliches, genau weiß er nicht, was er schreit, denn er hat wirklich Angst. Je lauter er

Верхняя часть его туловища нависает над полом, но Н. не падает, а простирается по направлению к звуку параллельно полу всё дальше и дальше, так что его затылок почти касается пола. Н. оглядывается.

Весь зал открывается перед ним. Ну вот, теперь Н. видит всё, что сзади него, и того, кто ответственен за эти шаркающие звуки. По блестящему кафелю носится гном в чёрном твидовом цилиндре. Ростом он до бедра Н. Гном голый, у него чёрная кожа, местами словно потёртая. У него очень большие уши, действительно очень-очень большие, почти с ладонь. Левое ухо немного больше правого, так что даже цилиндр сидит набекрень. Двумя руками гном держит перед собой чёрное металлическое ведро с краской в половину роста самого гнома. Когда гном опускает ведро перед собой, Н. видит лежащую внутри большую кисть. Гном нагибается через край ведра, вынимает кисть и начинает красить белый кафель. Раздаётся трёхкратный царапающий звук, затем гном делает короткую паузу и проводит кистью ещё три раза, нанося второй слой краски – глянцевого белого кафеля начинает сиять такой чернотой, что у Н. перехватывает дыхание. Гном окунает кисть в краску и направляется к следующему кафелю.

«Что ты делаешь?», говорит Н. Гном ненадолго прерывает покраску и, присев, поворачивает голову. Теперь Н. видит лицо гнома, видит его обнажённые оскалом зубы. Они абсолютно чёрные. «Кто ты? Почему ты красишь плитки?». Гном продолжает смеяться и не отвечает. «Этого нельзя делать. Прекрати, пожалуйста». Гном смеётся, но неслышно, и тогда Н. спрашивает себя, а в состоянии ли этот рот издать хоть какой-то звук.

Гном устремляется к следующей плитке и закрашивает её. Н. занемел в полулежачей позе, но автоматически пытается прогнать маленького человечка в шляпе, ускоряющего свою работу. Белые круги шаг за шагом перекрашиваются в квадраты, и всё пространство становится темнее, становится неузнаваемым и причиняет боль в глазах. «Прекрати закрашивать плитки! Прекрати!» Гном беззвучно посмеивается, его маленькие острые плечики трясутся, но он не оглядывается и мажет, мажет, приближаясь к Н.

Когда гном затемнил весь зал, за исключением одного или двух колец, Н. начинает кричать. Чёрный цвет вызывает безграничный страх, его интенсивность так сильна и подавляющая, что у Н. нервно дёргаются щёки.

Н. сильно потеет, и ему кажется, что на его лице отражается крошечная чернота зала. Он вопит: «Стоооой!» или что-то похожее – он не знает точно что. Чем громче Н. кричит, тем быстрее работает гном и от отчаяния, буквально перед тем, как гном вдавливают капающую кисть в кафель, туда, где ещё лежит его затылок, Н. теряет равновесие. Раздаётся

schreit, desto schneller arbeitet der Gnom, und verzweifelt richtet Er sich wieder aus der Schwebe auf, kurz bevor der Gnom den triefenden Pinsel auf die Kachel drückt, wo eben noch sein Hinterkopf lag. Es schmatzt laut, als die dicke Farbe zwischen den Pinselhaaren hervorquillt und auf der Kachel Blasen wirft.

"Was soll das! Aufhören! Hör auf jetzt!", brüllt Er, der Gnom würdigt ihn keines Blickes und setzt den Pinsel auf der letzten Fliese auf, der zentralen, auf der Er steht, und übermalt mit größter Sorgfalt um die festgewachsenen Schuhe herum die strahlend helle Keramik. Das war die letzte Fliese, und Er schreit verzweifelt und schüttelt seinen Kopf, dass die Schweißtropfen aus seinen schwarzen Haaren spritzen und leise in der Dunkelheit aufklatschen, und Er will wegrennen vor diesem wahnsinnigen Gnom, aber Er kann nicht. Das Licht durch die Kuppel liegt auf seinem Gesicht. Der Gnom kichert geräuschlos, den Pinsel in der Hand, und hört dann urplötzlich auf, nämlich dann, als er den letzten weißen Fleck im Raum entdeckt hat. Die Fliege.

"Nein! Geh!", sagt Er, und möchte den Gnom fortschlagen, aber seine Arme sind festgefroren in seinen Hosentaschen, Er kann sich nicht mehr bewegen, Er kann nur noch seine Augenbälle bewegen, dem Gnom folgen, wie er den Pinsel hebt und ihn lachend an die Fliege führt und über dem weißen Stoff schweben lässt.

Die Fliege erstrahlt hell und gutmütig und elegant im milchigen Licht, das durch die Kuppel fällt. Der Gnom hält inne und stiert auf die Fliege. Und dann tut er etwas hochgradig Merkwürdiges. Er lässt den Pinsel sinken und starrt auf die Fliege. Sein Gesicht ist unbewegt, ein Ausdruck der Ergebenheit vor etwas grenzenlos Schönerem. Während Er in einem stummen Schrei seine Wut herauspresst und absolut geräuschlos so laut brüllt, dass ihm die Adern am Hals anschwellen, fährt der Gnom seine zitternden Hände an seinen Hals heran und knöpft ihm mit höchster Vorsicht die Fliege vom Hemdkragen.

Er hört auf zu schreien. Der Gnom sieht ihn an, die Fliege in der Hand, und ohne seinen Blick zu senken, legt der Gnom den weißen Stoff um seinen eigenen schwarzen Hals, bindet die Fliege mit langsamen, ungeschickten Bewegungen zu einem schiefen Knoten und lässt die Hände sinken. "Danke", sagt er plötzlich, mit einer lauten, sonoren Stimme, die so fest ist, dass das Echo noch mehrmals durch den Saal wandert. Der Gnom lässt den Farbeimer neben Ihm stehen, verbeugt sich stumm und rennt mit tippelnden Schritten zurück in die Dunkelheit, aus der er kam.

München, 2016

громкий шлепок – густая краска стекает по ворсу кисти и брызгает на кафель.

«Что это! Прекратить! Прекрати немедленно!», кричит Н. Гном, не устаивая его взглядом, прикладывает кисть к последней центральной плитке, на которой стоит Н. и старательно перекрашивает вокруг его крепко вросших туфель сияюще белую керамику. Это была последняя плитка. Н. отчаянно вопит и трясёт головой, так что из его чёрных волос брызжут капли пота и тихо хлюпают в темноте. Н. хочет убежать от этого сумасшедшего гнома, но не может. Свет, проникающий сквозь купол, ложится на лицо Н. Гном, держа кисть в руке, беззвучно посмеивается, и внезапно прекращает красить: он замечает последнее белое пятно в этом помещении. Галстук-Бабочка!

«Нет! Уходи!», говорит Н., и хочет гнома оттолкнуть, но руки крепко застыли в карманах брюк. Он больше не может ими двигать. Н. может двигать только глазами яблоками, следя за гномом. Гном поднимает кисть и, посмеиваясь, тянет её к Галстуку-Бабочке, а затем начинает водить ею в воздухе над белой тканью.

Галстук-Бабочка ярко и элегантно сияет в молочном свете, падающем с купола. Гном останавливает руку и смотрит на Галстук-Бабочку. И потом он делает нечто в высшей степени странное. Он отводит кисть вниз, не сводя взгляда с Галстука-Бабочки. Его неподвижное лицо выражает преклонение перед безграничной красотой. В то время, как у Н. перехватывает горло и он выпускает наружу свой гнев абсолютно беззвучно, но с такой силой, что вздуваются жилы на его шее, Гном дрожащими руками с предельной осторожностью отвязывает Галстук-Бабочку от воротника рубашки Н.

Н. замолкает. Гном, держа Галстук-Бабочку, смотрит на него, и, не отводя своего взгляда от Н., прикладывает белую ткань к своей чёрной шее, затем завязывает Галстук-Бабочку медленными неумелыми движениями на кривой узел и опускает руки. «Спасибо», говорит он неожиданно таким громким и звонким голосом, что эхо несколько раз откликается в пустом зале. Отступив от ведра с краской, он молча кланяется и убегает мелкими шажками, будто после удачно исполненного танца, обратно в темноту, из которой он пришёл.

Мюнхен. 2016

Роман ПЕРЕЛЬШТЕЙН

ДОПРОС

пьеса в двух действиях

Действие происходит в тюрьме майской ночью 2023 года.

Действующие лица

Геннадий Олегович Сычев, дознаватель, 37 лет.

Ефим Ефимович Шкляр, подследственный, 57 лет.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Ночь. Комната для допросов. Посреди комнаты стол. На столе лампа. Под лампой дело: папка с бумагами. Рядом с папкой графин с водой и стакан. По одну сторону стола дознаватель Сычев, по другую – подследственный Шкляр.

Сычев сидит на стуле, Шкляр – на табурете. Под столом корзина для мусора. В глубине комнаты зарешеченное окно. Рядом с окном этажерка, на которую водружен горшок с геранью. В комнате для допросов герань смотрится дико. Алые бутоны тянутся к зыбкому свету.

Сычев *(подносит перо к бланку протокола)*. Фамилия, имя, отчество.

Шкляр. Шкляр Ефим Ефимович.

Сычев. Впрочем, что это я. *(Швыряет бланк протокола в корзину.)* Ведь это не допрос... Беседа... Беседа. Моя фамилия Сычев. Геннадий Олегович Сычев. *(Раскрывает папку)*. Теперь вашим делом буду заниматься я.

Шкляр. Беседа? В два часа ночи?

Сычев *(изучает материалы дела, одновременно разговаривая со Шкляром)*. Ваши соратники называют вас сумасшедшим профессором.

Шкляр. У меня не осталось соратников.

Сычев. Да, да... *(Перебирает бумаги.)* А кое-кто, интересно, очень интересно. Кое-кто называет вас предателем. Вы что, бежали с поля боя?

Шкляр. Скорее, я пошел до конца.

Сычев. Ага... Значит, идем до конца. До победы?

Шкляр. Победа это не конец.

Сычев. *(С любопытством рассматривает подследственного)*. Никто не ожидал, что вы станете поддерживать правящий режим.

Шкляр. Я его не поддерживаю.

Сычев. Тогда, по какую вы сторону баррикад?

Шкляр. А что, есть баррикада?

Сычев. Теперь я понимаю, почему вы опасны и для нас и для ваших товарищей по оружию.

Шкляр. Только оружие мне не шейте.

Сычев *(усмехаясь)*. Что вы, что вы. Ваше оружие слово. *(Захлопывает папку. Принимает непринужденную позу)*. Итак, профессор, кто же вы? Перебежчик? Проповедник? Политический активист?

Шкляр. Скорее тот, кто борется с активистами.

Сычев. Вот как?

Шкляр. Активист всегда готов примкнуть к какому-нибудь прогрессивному движению. Или возглавить его. Когда непрофессионал от политики рвет подметки, мне легче раскусить его.

Сычев. И как же?

Шкляр. Я говорю амбициозному активисту: «Хороших эпох не бывает. Хотя бы поэтому быть знаменитым некрасиво. Все так называемые знаменитые люди – это люди, подсутившиеся с эпохой. Ошибиться эпохой, родиться не вовремя – великое утешение».

Сычев. Убедили кого-нибудь?

Шкляр. Моя отповедь возымела действие лишь однажды, когда я сказал это самому себе... Я сказал себе: «Наверняка есть эпоха, в которой бы ты жутко и неоправданно прославился. Но не в этот раз приятель, не в этот раз». Однако было уже поздно. Мое имя трепали на всех углах.

Сычев. Да, да, да... Тем не менее, не все же претендуют на руководящие посты. Иногда требуется лишь четко обозначить гражданскую позицию. Помните, как встарь? Приколоть белую ленточку. Выйти на «Марш миллионов».

Шкляр. Подспудно от тебя все равно ждут публичных политических действий. А прежде чем действовать, нужно стать прозрачным.

Сычев. Прозрачным?

Шкляр. Для света.

Сычев. Но на Тверском бульваре света больше. Там – огни, акробатические этюды, духовой оркестр. Вы же предпочли тюрьму строгого режима.

Шкляр. Имеет значение только тот свет, который ты пропустил через себя. Его не бывает много или мало. Пропусти хотя бы один луч, и узнаешь, как могуществен источник.

Сычев. Простите меня, но это лирика.

Шкляр. Простите меня. Вы понятия не имеете о том, что такое лирика.

Сычев. Но зато я кое-что смыслю в политике.

Шкляр. В политике вы разбираетесь еще меньше.

Сычев. Вы очень приятный собеседник, профессор.

Шкляр. Неважно какой я собеседник. Я не сторонник госпереворота. В перевороте нуждается наша душа. В абсолютном перевороте без баннеров и мегафонов.

Сычев *(с иронией)*. И это говорит автор острой политической пьесы?

Шкляр. К чему ворошить прошлое? Минуло десять лет.

Сычев. И все же, Ефим Ефимович, не вы ли дразнили тигра? Оклеветали правящую элиту, выставили ее в неприглядном свете. Кстати, как вам это удалось? Ведь вы не были вхожи в политическое закулисье.

Шкляр. Я все выдумал, но оказалось, это и была правда.

С ы ч е в. Да, да, да... В это трудно поверить. *(Вкрадчиво.)* Если вы назовете своего информатора, то окажите большую услугу следствию. А заодно и себя выручите из беды. Вы покрываете крысу. Поразмыслите над этим, Шкляр. *(Сычев поливает герань. Смотрит в окно.)* Хорошо виден Марс. Кто бы мог подумать, что китайцы высадутся на Марс первыми. *(Прогибается в пояснице.)* Что-то спину ломит. Вас, должно быть, манят звезды, профессор. С какой звезды вы свалились?

Ш к л я р. У вашего предшественника была другая метода. Обещал стереть меня в лагерную пыль.

С ы ч е в *(примирительно)*. Повторяю, это не допрос. Вам, конечно, известна игра в «плохого» и «хорошего» следователя. Так вот, я не просто «хороший», я очень хороший следователь. По первому образованию я филолог, по второму юрист. Образцовый семьянин. Не курю. Выпиваю-то раз в год, а перепиваю – в год раз. Люблю книги с пожелтевшими страницами, комнатные растения.

Ш к л я р. Звучит угрожающе.

С ы ч е в *(садясь за стол)* Итак, давайте отставим лирику. Не прикидывайтесь эдаким чудаком не от мира сего. Я бы хотел услышать больше конкретики. Вы же ученый. Используйте социально-исторический метод, в конце концов. И, пожалуйста, не уходите от прямых вопросов.

Ш к л я р. Постараюсь.

С ы ч е в *(наигранно)* Представьте, что независимый журналист либерального издания берет у вас интервью. Пусть ваша мысль течет свободно. Все, что вы скажете, останется между нами. Никаких протоколов, никакой записи.

Ш к л я р *(невозмутимо)*. То есть, будем разговаривать как старые друзья?

С ы ч е в. А почему бы и нет?

Ш к л я р. Не знаю, что вы затеяли... Уверен, что игру в одни ворота.

С ы ч е в. Дайте оценку сегодняшней политической ситуации в стране.

Ш к л я р. Почему только сегодняшней? Ситуация в России всегда одна и та же.

С ы ч е в. Разве? А девяностые?

Ш к л я р. Что девяностые?

С ы ч е в. Ну как же? Страна восстала из-под глыб тоталитаризма. У возбужденного общества появилась надежда. Воспряла интеллигенция.

Ш к л я р. Но надежды не оправдались.

С ы ч е в. Ну да.

Ш к л я р. Политическая ситуация в России очень слабо связана с фактором времени. Время течет где-то по соседству от нас.

С ы ч е в. Развейте эту мысль.

Ш к л я р. Политическая ситуация в России достаточно стабильна. Я бы определил ее как диктатуру произвола. Амплитуда маятника общественно-политической жизни только на первый взгляд велика. Но хорошенько присмотритесь. Наш маятник раскачивается между произволом власти и произволом безвластия.

С ы ч е в. Диктатура произвола. Это понравилось бы вашим соратникам.

Ш к л я р. Вы не слышите меня. У нас очень много свободолюбивых людей, но мало свободных людей умеющих любить. А что такое свобода без любви? Это и есть диктатура произвола. У нас при любом царе свободные люди не могут поставить себя на правильную ногу. А потом мы удивляемся, что нам за страна досталась? Что это за Левиафан такой?

С ы ч е в. Так что же, ничего хорошего России не ждет?

Ш к л я р. Все зависит только от того, насколько мы готовы любить. Любить ее такой, какая она есть. А больше ничего не остается. И тогда многое, очень многое изменится. *(Обращается не столько к Сычеву, сколько к самому себе.)* Изменения к лучшему наступят, но не нужно их ждать.

С ы ч е в. Значит, сиди сложа руки, да еще и ничего не жди? Разгильдяйство и прекраснодушие! Партия не может бездействовать. Наши враги тоже. Мы создаем сильное государство – они хотят все развалить. Мы пропагандируем духовные скрепы – они кричат о религиозном мракобесии. И тут либо мы – либо они. Третьего не дано. Кстати, как вы относитесь к новому закону о защите чувств верующих?

Ш к л я р. Замечательно отношусь. Только религиозные чувства верующих нужно защищать не от богохульников, а от самих верующих. Верующий способен нанести религиозному чувству гораздо больший урон, чем атеист.

С ы ч е в. Можно личный вопрос?

Ш к л я р. Нет... Все равно зададите.

С ы ч е в. Вы верите в загробную жизнь?

Ш к л я р. Конечно, верю. Но пока ты ведешь себя как эгоист, пока думаешь только о себе, нет ни загробной жизни, ни этой. Положи свое эго в гроб, и сразу начнется твоя загробная жизнь.

С ы ч е в. А вы не такой уж и сумасшедший. И вы мне нравитесь.

Ш к л я р. Не торопитесь. Скоро я вас разочарую. Выведаете между делом что-нибудь такое. Даже и не знаю что. И с презрением отвернетесь от меня.

С ы ч е в. Как ваши соратники – политические активисты?

Ш к л я р. Политические отвернулись. Зато теперь в мою сторону недобро посматривают православные активисты.

С ы ч е в. Вы умеете злить людей, Ефим Ефимович.

Ш к л я р. Не в этом дело.

С ы ч е в. А в чем?

Ш к л я р *(с прищуром)*. Каким-то образом все активисты связаны между собой. Контрабандно они проносят друг друга в лакированных портфелях, хотя и ведать не ведают об этом. Они бы очень удивились, если бы узнали, что не ходят по одиночке.

С ы ч е в. Вы верите в заговор активистов? Но позвольте, борцы за честные выборы и все такое, никогда не подадут руки радикалам от религии, которые громят выставки и тому подобное. Или вы хотите сказать, что у политических и православных активистов больше общего, чем различий?

Ш к л я р *(непринужденно развивая тему заговора)*. Не забывайте про национальных активистов. Их подозрения в том, что я еврей и не только по национальности, вполне оправданы. Впрочем, не стоит нашего патриота демонизировать. Он мало чем отличается от сионистского активиста.

С ы ч е в (*посмеиваясь*). Сумасшедший, сумасшедший профессор!

Ш к л я р (*с демонстративной серьезностью*). Вовсе нет. Угадайте, кому принадлежит следующий перл: «Если ты «хороший» еврей – отправляйся в Израиль». Кто это говорит? Бритоголовый скинхед или боец «еврейского легиона»? На голове этого умника черная шапка с гербом футбольного клуба или фуражка с кокардой в виде рисунка меноры?

С ы ч е в. Но разве один не защитит вас от другого?

Ш к л я р. Защитит, и вскоре пожалеет об этом.

С ы ч е в. А я и не думал, что вы такой неудобный человек. (*После некоторого колебания.*) Кстати, я тоже еврей.

Ш к л я р (*с невозмутимостью*). А хорошая новость.

С ы ч е в. Неплохая шутка. Но между нами говоря, я всегда ощущал себя русским.

Ш к л я р. Видимо, хороших новостей сегодня не будет.

С ы ч е в (*язвительно*). А вы кем себя ощущаете, Ефим Ефимович Шкляр?

Ш к л я р. Я никогда не разделял корпоративных интересов, особенно национальных. Как сказал о себе мой младший сын: «Я из еврейского племени, но в русской семье». Глагол «родился» в спешке он опустил. На месте ни минуты не сидит. Как-то он заявил: «То время, которое я должен был потратить на надевание штанов, я потратил на лишний сон, поэтому я буду весь день ходить без штанов». Все самые сложные вопросы в нашей русской семье разрешает маленький Шкляр.

С ы ч е в. Не стану больше играть в кошки-мышки. Я знаком с методом текстологического анализа. Да и психолог я неплохой. Так вот, я совершенно уверен, что это не вы написали пьесе «Рубиновая ночь». Ефим Ефимович, назовите истинного автора, и я закрою ваше дело.

Ш к л я р. До сих пор речь шла об информаторе, который мне слил компромат на верхушку. А теперь вы ставите под сомнение сам факт моего авторства? После разговора со мной вы полностью разочаровались в моих интеллектуальных способностях?

С ы ч е в. Напротив. Пьеса написана человеком, у которого нет вашего культурного багажа. Но самое главное, он не обладает оригинальностью вашего мышления.

Ш к л я р. Ну знаете ли, столько воды утекло. Я стал другим. Во мне произошел переворот. (*Выдержав паузу*). Да, я очень тоскую по жене и детям, но на ваши дешевые провокации поддаваться не стану. Вам интересно, случайно, о чем я говорю?

С ы ч е в. Да, да, да... Не обижайтесь, Ефим Ефимович. Я бью туда и сюда, бью как попало. Пока вы хорошо держитесь, но я найду слабое место. Наверное, вы уже поняли: мне поручают самые сложные случаи. Безнадежные. А знаете почему?

Ш к л я р. Почему?

С ы ч е в. У меня есть терпение и такт. Я подбираю ключ к любому замку.

Ш к л я р. Вы зря тратите свое время.

С ы ч е в. Совсем не зря. Мне интересно беседовать с вами. Хочу вам снова признаться. Среди евреев я чувствую себя русским, среди русских – евреем. Это

вообще нормально? Я уже понял, что вы как интернационалист просто идете дальше. А я все время оборачиваюсь.

Ш к л я р Этот вопрос мучил писателя Юрия Нагибина. В нем текла кровь русского дворянина, но сильнейшее влияние на Юрия Марковича оказал отчим – адвокат Марк Левенталь. Нагибин считал национальный вопрос дрянью и мелочью, но не раз попадался на эту удочку. Правда, он делал это очень честно, поэтому и талантливо.

С ы ч е в. Нагибина я люблю. Пожалуйста, будьте со мною искренним.

Ш к л я р. Странно слышать такое от следователя.

С ы ч е в. Не странен кто ж? (игриво) Ефим Ефимович, не могли бы вы набросать портрет русского культурного героя. И, если возможно, еврейского культурного героя. Так сказать, для сравнения.

Ш к л я р. Что, прямо сейчас?

С ы ч е в. Ну да, профессор. Как никак вы доктор филологии. А может быть, вы только выдаете себя за доктора? Диплом в метро купили. Диссертацию за вас накатал научный негр. Мы знаем как обделяются такие дела. Не хочу показаться грубым, но с этой вашей политической пьесой вы темните. «Рубиновая ночь». Не пошлово? Не ваш стиль. Как гласит поговорка: обманул в малом, обманет и во многом.

Ш к л я р (*озадаченно*). Получается, что мое дело десять лет лежало под сукном?

С ы ч е в. Каждая бумажка должна вылежаться, но незалежаться. Еще вопросы?

Ш к л я р. Нет.

С ы ч е в. Итак. Я жду лекции, профессор.

Ш к л я р. Избавьте меня от проверки на профпригодность.

С ы ч е в (*мягко*). Я настаиваю.

Ш к л я р. Я не привык читать лекцию сидя.

С ы ч е в. Да, да, да... Встаньте, разомните ноги.

Ш к л я р. (*Поднимается и подходит к зарешеченному окну*). С чего же начать?

С ы ч е в. Начните с шестого дня творения.

Ш к л я р. Культура у евреев прочно связана с религией. Поэтому здесь уместнее говорить о герое еврейской культурнорелигиозной традиции.

С ы ч е в. Как он выглядит?

Ш к л я р. Это такой непричесанный спорщик с покушением на святость. Часто его житие напоминает горький анекдот. В советском изводе анекдот звучит так. Раньше Абрам жил напротив тюрьмы, теперь он живет напротив своего дома.

С ы ч е в. Кажется, это про вас, Шкляр.

Ш к л я р (*игнорируя подначки дознавателя*). Или другая ситуация, постсоветская, хотя по сути та же самая. «Почему вы не уезжаете в Израиль?» – спрашивают его. «Зачем? Мне и здесь плохо»... Только будучи знатоком Писания он может познать Всевышнего.

С ы ч е в. Ну, а как насчет Запада? Почему вы не иммигрировали, когда еще была возможность?

Ш к л я р (*смуясь*). На Западе об истине говорить неприлично.

С ы ч е в. Как я понимаю, на меньшее вы не согласны.

Ш к л я р. Они будут смеяться. Вот вы не смеетесь.

С ы ч е в. А на Востоке болтать небезопасно. С вами может что-нибудь случиться.

Ш к л я р. Все, что может случиться, это не то что есть. Бог есть. С Ним ничего не может случиться.

С ы ч е в. Теперь передо мной проповедник. Так вот как это происходит.

Ш к л я р. У писателя Исаака Башевиса Зингера есть роман. Называется «Раб». Молодой еврей Яков попал в польский плен. Яков низведен до положения крепостного. Он разговаривает с коровами на идиш, чтобы не забыть языка. Уже пять лет он не видел книг. С трудом припоминает молитвы. И тем не менее, он продолжает размышлять. Зингер пишет: «Он размышлял. Он, Яков, сидит здесь у Яна Бжика в хлеву, а тем временем Создатель правит вселенной». Герой еврейского предания это всегда изгой. И даже, когда он находится в родной среде, сути дела это не меняет.

С ы ч е в. Лавры изгоя примяете? Хотите быть первым, но с конца? А ведь все равно первым! Бросьте эти еврейские штучки. *(С раздражением.)* Я хочу послушать про русского героя. Ведь я русский человек. *(Сжимает кулак до белых костяшек.)*

Ш к л я р. Для доказательства силы русскому герою совершенно не обязательно действовать.

С ы ч е в. А как же Змей?

Ш к л я р. Доказательством силы героя, безусловно, является победа над Змеем. Вот только вопрос, когда и где эта победа одерживается? На поле брани после схватки, или на печи перед схваткой? Мне представляется, что победу истинный герой одерживает на печи. Русский герой не просто сидит на печи, он одолевает зло в себе. Не одолев зла в себе, не одолеет он зла и вне себя. Герой пересиживает свое зло. *(Увлеченно.)* Русское изобразительное искусство потому и проявляло слабый интерес к возрожденческой перспективе, что некого было показывать во второй фазе деяния, другими словами в состоянии физического действия. Русское искусство собрано на духовном действии. То есть, на первой и третьей фазе деяния, а именно: решения, которое принимается на печи, и осмысления содеянного в скиту.

С ы ч е в. *(с сарказмом.)* Так это скит? А вы, значит, отшельник. Ловко! Приятно иметь дело с образованным человеком.

Ш к л я р. *(вдохновенно.)* Печь и скит, вот где ищите все самое высокое в русской натуре. Есть у такого положения вещей и свое объяснение. Стоит русскому герою слезть с печи, как прежде всего он начнет разрушать самого себя. Вот почему бездействует буря-богатырь Илья Обломов. Не калики перехожие отнимут у богатыря половину силы, так он сам у себя отнимет.

С ы ч е в. Это еще зачем?

Ш к л я р. Чтобы сила не мешала бороться со злом. Вернее, чтобы она не мешала разобратся где добро, а где зло? Сила, если ее много, совершенно слепа. Высоцкий угадал: «А принцессы мне и даром не надо./ Чуду-юду я и так победу». «И так» – не за вознаграждение. Чудо-юдо загоняется в ад благодаря тому, что герой отказывается от вознаграждения. Сделка лишила бы русского

героя той второй половины силы, которую он оставил себе для борьбы со Змеем. Герой и так ослаблен, обстоятельства стащили его с печи, а тут еще ему предлагается новая зависимость – контракт.

С ы ч е в Ну да, контракт. Я же дьявол, и пришел за душой. Так вы обо мне думаете?

Ш к л я р *(дипломатично)*. Я ничего не думаю.

С ы ч е в. Продолжайте.

Ш к л я р. Заметим так же, русскому герою не нужна и принцесса. И вот здесь обнаруживается переключка. Яков, размышляя, сидит в хлеву, «а тем временем Создатель правит вселенной». Илья лежит на печи, готовится к подвигу, «а тем временем Создатель правит вселенной». На фоне деятельного бездействия богатыря Создатель и правит вселенной.

С ы ч е в. Да понял я, понял. Вы хотите сказать, что Илья Муромец не был ни политическим, ни национальным, ни православным активистом.

Ш к л я р. Именно так. *(с апатией)* Для чего вы устроили весь этот цирк? Чтобы выставить меня дураком?

С ы ч е в. Что вы, Ефим Ефимович, я восхищаюсь вами! Когда-то я слушал ваши лекции. Вы читали нам стихи. Как это у Максимилиана Волошина?

Помните, про интеллигента?

Отвергнутый царями разночинец

Унёс с собой рабочий пыл Петра

И утаённый пламень революций:

Книголюбивый новиковский дух,

Горячку и озноб Виссариона.

От их корней пошёл интеллигент.

С ы ч е в *преображается. Выходит на середину комнаты.*

Его мы помним слабым и гонимым,

В измятой шляпе, в сношенном пальто,

Сутулым, бледным, с рваною бородкой,

Страдающей улыбкой и в пенсне,

Прекраснодушным, честным, мягкотелым,

Оттиснутым, как точный негатив,

По профилю самодержавья: шишка,

Где у того кулак, где штык — дыра,

На месте утвержденья — отрицанье,

Идеи, чувства — всё наоборот,

Всё «под углом гражданского протеста».

Вы все тот же блистательный оратор, Ефим Ефимович. Любую тему можете раскрыть. Признаюсь вам, вы научили меня думать.

Ш к л я р *(пораженный)*. Боже мой... Сычев, Сычев. Но я вас не помню.

С ы ч е в. И вы учили нас говорить правду. Даже когда это неудобно.

Ш к л я р. Кажется, вас отчислили.

С ы ч е в. Но не по вашей вине, профессор. Я бросил декану в лицо то, что за глаза говорили все. Я назвал его унтерпришибевым. Эту историю умело замяли, но вскоре я вылетел.

Ш к л я р *(с волнением)*. Понимаете, Сычев, эта пьеса - «Рубиновая ночь» совершенно не моя. Но не в том смысле, в котором вы подумали. Когда я писал ее, я был совершенно другим человеком.

С ы ч е в. Нет, Ефим Ефимович, это не вся правда. Вы же русский интеллигент. Вам нельзя врать. И вы сейчас не мне врете. Вы себе врете.

Ш к л я р. *(После паузы)*. Так вы настаиваете на всей правде?

С ы ч е в. Да.

Ш к л я р опускается на табурет.

Ш к л я р. Хорошо, хорошо. Не я написал эту странную пьесу. Другой автор.

С ы ч е в садится за стол.

С ы ч е в *(произносит с расстановкой)*. Назовите его имя.

Ш к л я р *(очень спокойно)*. Ни за что на свете.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната для допросов.

С ы ч е в. Согласитесь, профессор, ваше чистосердечное признание - вопрос времени. Сейчас три часа. Обещаю вам, на рассвете мы с этим покончим. *(Устраивается за столом)*. А пока я хотел бы задать вам какие-то очень простые, не относящиеся к делу вопросы. Как воспитывать детей? *(Морщится от боли и трет бок)*. Есть ли Бог? В чем я имею основания сомневаться... Почему я так часто плачу в подушку?

Ш к л я р. Я не знаю как воспитывать детей. Просто любить.

С ы ч е в. Ну а как любить? Тискать что ли? Пряниками кормить?

Ш к л я р. Любить ребенка – это значит забыть о торговле ласками. Пока он еще мал и пробегает мимо, изловчись и поцелуй его в макушку. Завтра будет уже поздно. И не дотянешься, и не догонишь. На этих макушечных поцелуях стоит мир.

С ы ч е в. Мой учитель дал мне совет. Спасибо, учитель. *(Кланяется.)* Жаль только, что я не могу воспользоваться вашим советом. Как бы я ни любил своего сына, но отцовскую ласку он должен заслужить. Иначе вырастет независимой личностью, начнет качать права и получит реальный срок.

Ш к л я р. Не называйте меня вашим учителем.

С ы ч е в. Да поймите вы! Демократический фланг полностью и давно разбит. Опять матушку Русь подмораживают.

Ш к л я р. Конечно же, Он есть.

С ы ч е в. Кто?

Ш к л я р. Вы спрашивали, существует ли Бог?

С ы ч е в *(садясь за стол)*. Да, я знаю, что Он есть.

Ш к л я р. А если знаете, почему часто плачете в подушку? Себя жалеете?

С ы ч е в. Может быть, и себя. *(Не без юродства)*. А, может быть, всех живых существ. Я с этим еще не определился.

Ш к л я р. Слишком не затягивайте.

С ы ч е в. Кстати, хочу вас спросить. Как вы относитесь к атеистам? Это же очевидно, что автор пьесы «Рубиновая ночь» не верит ни в Бога, ни в черта.

Ш к л я р *(мягко улыбаясь)*. Знаете, почему Творец не спешит делать неоспоримым факт Своего существования?

С ы ч е в. Почему?

Ш к л я р. Да потому что Бог не стремится победить в споре. А верующий часто хочет оказаться правым. Воистину у Бога есть чувство юмора. Поэтому Он исподволь помогает и атеисту, наделяя его несокрушимыми аргументами. Наверное, поэтому я люблю атеистов. Ведь это так удивительно, когда Бог через них разговаривает с тобой. И тогда Бог как бы говорит тебе: «Это хорошо, что ты веришь в Меня и защищаешь Меня. Но уверен ли ты, что твои человеческие качества столь высокой пробы, чтобы быть Моим адвокатом? Я вижу несколько прекрасных черт у атеиста-прокурора, который приговорил Меня к пожизненному несуществованию. А у тебя этих черт нет. Что, если твое адвокатство бросит тень на Меня? Задумайся об этом в следующий раз, когда пойдешь в суд по Моему делу».

С ы ч е в *(серьезно)*. Смешно.

Ш к л я р *(серьезно)*. Да, смешно... Но смешнее рассказа про вашу подушку я ничего не слышал.

С ы ч е в *(обиженно)*. Зачем вы так?

Ш к л я р. Не верю я вашим слезам.

С ы ч е в *(в ярости)*. Да кто ты такой, чтобы прикасаться к моим слезам? ... В конце концов это мои слезы, а не ваши. Вы в них ни бельмеса не смыслите!

Ш к л я р. По ночам вы то плачете, то кричите. Наверное, и последственных бьете?

С ы ч е в. Да, я могу сорваться. Я живой человек. Не понимаю, почему вы так безучастны к своей судьбе? *(кричит)*. Молчать! Отвечать! Кто автор этого гнусного пасквиля? Почему вы покрываете какого-то негодяя? *(Чеканя каждое слово)*. Обвиняемый в сокрытии преступления отказывается заключать сделку со следствием. Я вас правильно понял?

Ш к л я р. Вся моя жизнь изменилась. Вот почему я безучастен к своей судьбе.

С ы ч е в *(тихо)*. Как это произошло?

Ш к л я р. Открылись глаза, и я увидел, что посторонних нет. Мы ветки одного дерева. Отсеки ветку, и все дерево закричит от боли. Только вот дерево нерушимо. И вместе с осознанием этой нерушимости пришел глубокий покой.

С ы ч е в. Но вы вносите хаос и неразбериху в людские умы. Вы смутяны обоих лагерей. Недаром вас называют безумцем.

Ш к л я р. Что поделать? Я вынужден эксплуатировать ампулу запальчивого чудака. А иначе меня никто не услышит.

С ы ч е в. Значит, снаружи вы сумасшедший, а внутри кроткий агнец?

Ш к л я р. Внутри нет никого.

С ы ч е в. Вот так новость.

Ш к л я р. Этой новости не одна тысяча лет.

С ы ч е в. Да-да, что-то подобное я читал. Но такая философия хороша для жарких стран, вроде Индии. Для нашего климата, особенно политического, она неприменима.

Ш к л я р. Какая чудесная майская ночь! В саду сейчас пахнет черемухой и сиренью. Вы слышите по ночам соловьев? Я иногда их слышу во сне.

С ы ч е в Как вам удастся внутри оставаться спокойным?

Ш к л я р. Внутри нет того, кто приходит в смятение или сохраняет спокойствие. Внутри нас пустота, а лучше сказать – простор. Внутри – простор, а я – никто.

С ы ч е в *(искренне недоумевая)*. Что значит никто?

Ш к л я р. Это значит, что я не сам по себе, который думает, что он кто-то. Я лишь дом для того, что является по-настоящему мной. А я – никто.

С ы ч е в. Но что же тогда является по-настоящему мной?

Ш к л я р. Безграничный простор, невидимый источник любви, который невозможно уничтожить.

С ы ч е в *(ежась)*. Почему же мне так одиноко и страшно? Я – власть, но у меня язва. В моих руках сотни жизней, но что делать со своей жизнью я не знаю. Я знаю, что расколю вас, и это ужасает меня. *(Косится на Шкляра)*. Я немного побаиваюсь вас. Но еще больше я боюсь самого себя.

Ш к л я р Как вы думаете, лопухи еще не поднялись выше ирисов?

С ы ч е в. Что?.. Понятия не имею.

Ш к л я р. Страшно не вам, а вашему уму. Простор не знает страха.

С ы ч е в. Пощадите меня! Я не хочу быть пустотой. Я хочу испытывать эмоции. Я хочу плакать и смеяться. Я хочу любить и я хочу страдать! Но я почему-то ничего не чувствую. *(Без тени иронии.)* Может быть, мне витамины пропить? У меня нехватка витамина Д. Он отвечает за усвоение фосфора. *(Опомнившись, грозно нависает над Шкляром.)* Не забывайте, что в вашем деле присутствует весомый политический элемент! *(Направляет лампу в лицо подследственному.)* Будете, Ефим Ефимович, рукавицы шить, если откажетесь сотрудничать. *(Вышагивает по комнате. Примирительно бросает через плечо.)* Да вы встаньте, пройдитеесь.

Ш к л я р *отворачивается от лампы, встает и подходит к стене.*

С ы ч е в. Знаете, что меня больше всего возмущает? Ваша полная безответственность. Поставить свое имя на чужой пьесе. Да еще какой! Антигосударственной направленности. О чем вы думали, Ефим Ефимович? Поверьте, я желаю вам добра. Но меня тревожит еще кое-что, дорогой профессор. Мы живем с вами в одной стране. Неужели вас все устраивает? Просто поразительно. Неужели вы готовы принять ее такой, какая она есть? Готовы мириться с очевидным злом?

Ш к л я р. Я даже вас принимаю таким, каков вы есть.

С ы ч е в Зло нужно называть злом, если оно – зло. И искоренять его, а не пересиживать на теплой печи. Бог не пошлет калачи, если лежать на печи.

Ш к л я р. Вы никогда не сравнивали русских и немецких бесов? Русским бесенятам волюшку подавай, кровушку и самосуд. Немецкие бесы ревнители дисциплины и порядка: зло вещь серьезная, и оно должно быть при плаще и шпаге. Русские бесенята со смеху бы покатались, потому что они знают, что зло оно от скуки и плохих дорог. *(Увлекается.)* Все русские черти мелкопоместны и жуликоваты. Любое дело развалят, даже злое. Пропьют оборудование и прольют много бессмысленной крови, коли доверят им серьезную переделку

мира. Немецкие черти великие опробыватели и лишней крови проливать не станут, а только ту, которая необходима для чистоты эксперимента. Немецкое зло рассудочно, равно как и добро. У них добро на голой прагматике замешано. И пусть, пусть! А у нас и зло, и добро иррационально. Мы совершенно непредсказуемы. Как же можно искоренять зло, когда ты себя не знаешь?

С ы ч е в. Смотри о каком зле речь. Если это враг государства – раздави гадину!

Ш к л я р. Да о каком бы зле не шла речь. Неважно какое именно наше зло ты собрался искоренять. *(Выдержав паузу)*. Как искоренить зарвавшийся правящий режим? Пойти на него войной? Но тот, кто воюет, обязательно заскучает. В осенних сумерках, таким промозглым днем он непременно достанет из мешка своих бесенят и заставит их плясать. Потом приохотит их к протестной риторике, и даст им какой-нибудь флаг. Наплодит целую кучу плоских односторонних либералов, которые дискредитируют идею свободы, и уж точно не смогут ее защитить.

С ы ч е в *(произносит то, чего сам от себя не ожидает)*. Но вы понимаете, что ставите крест на протестном движении? *(Пытается выйти из щекотливого положения)*. Вы что же, хотите оставить наше ведомство без работы?

Ш к л я р. Вовсе нет. Я даю вам работу, но я не хочу делать ее за вас. Я ходил на марши протеста и демонстрировал свой мирный настрой. Мне было немного стыдно, когда ревущая толпа поносила правящую партию. Меня ужаснула мысль о том, как легко стать толпой. Я молчал и смущенно улыбался.

С ы ч е в. Но разве это не абсурд?

Ш к л я р. Не больший абсурд, чем бороться с дьяволом. Мудрец сказал, что победить дьявола нельзя. Можно, нужно ощутить, что дьявола нет.

С ы ч е в *(в запале)*. Вы хотите сказать, что нет Америки? Нет плана морально разложить нас? Нет террористов-смертников? Нет пятой колонны? *(Войдя во вкус)*. Я даже по другому спрошу, и не побоюсь этого. Вы хотите сказать, что нет продажных судей, сфабрикованных политических дел, расправы над неугодными, откровенной лжи? *(Озирается и переходит на доверительный шепот, чтобы объяснить свою эскападу против правящего режима)*. Я хочу уважать своих врагов, а самое главное понимать их. Ведь я не могу бороться с тем, чего я не понимаю.

Ш к л я р. Да, дьявол есть. Но он сотворен нами. Дьявол не настоящая реальность. Это наше создание. Он дело наших рук. Но если мы пребываем в настоящей реальности, то там его нет. На глубине бытия дьявола нет.

С ы ч е в *(негодую)*. Опять этот ваш птичий язык!

Ш к л я р. Да, есть и процессы, и расправы. Шахиды есть. И Госдеп не дремлет. Этим никого не удивишь. Но есть и другая точка отсчета. Есть такая внутренняя тишина, которую ничто не может нарушить. И когда ты пребываешь в этой тишине, то нет смятения, страха, гнева. Нет мелкого всedневногo раздражения жизнью и собой.

С ы ч е в. Вы не любите толпу, не любите активистов. А, может быть, вы просто не любите людей, старый мизантроп? Голубем мира прикидываетесь. Лапшу на уши вешаете. Да вы всю свою жизнь утопили в этой раскислятине голубиной!

Ш к л я р *(невозмутимо)* Тему активизма я проработал глубоко.

С ы ч е в. Да уж я заметил.

Ш к л я р. Активистом можно стать даже тогда, когда в твоей организации состоит один человек – ты сам... Ну разве это не скучно?

С ы ч е в. Конечно, скучно! Так не лучше ли слиться с массой?

Ш к л я р. Так не лучше ли тебе выйти из организации, которая называется "я и мои убеждения"? Но при этом не сливаться с массой.

С ы ч е в. Как это? Что же от меня останется?

Ш к л я р. От тебя останется то, чем ты являешься на самом деле.

С ы ч е в. А чем я являюсь на самом деле?

Ш к л я р. Тем же, чем и я.

С ы ч е в. Дыркой от бублика? Идиотской бездонной пустотой?

Ш к л я р. Пустотой, которую может заполнить только Бог. Простором, которому нет ни конца, ни края.

С ы ч е в. Ответьте мне на один вопрос. Почему такой человек как вы все еще находится здесь? Почему бы вам не пройти сквозь стену, если вы пустота?!

Ш к л я р *(медленно двигаясь по комнате)*. Нежелательно сражаться с тем, чего нет. Но, если ты все-таки сражаешься, то ты начинаешь доказывать себе, что оно существует. Сначала ты создаешь образ неприступной стены, а потом пытаешься его разрушить. И чем больше ты прикладываешь усилий, тем выше стена. Благодаря твоей борьбе стена становится реальной. В дзен есть рассказ о бабочке, которая залетела в бронзовый колокол и стала биться о его стенки. Она все бросалась и бросалась на бронзу, ища выход. Обессилев, бабочка упала, и тут же обрела свободу. Все чем ты недоволен, все, что ты называешь адом, произведено на свет твоим умом, и чем он более развит, тем отчетливее и затейливее контуры адской машины. Но даже в том, что ты именуешь злом или дьяволом есть великий смысл. Дьявол нужен тебе лишь для того, чтобы ты выбился из сил, перестал бороться с тем, чего не существует. И стал свободным.

С ы ч е в. Вы перестали биться с дьяволом?

Ш к л я р. Перестал.

С ы ч е в. И он исчез?

Ш к л я р. Почти.

С ы ч е в. Почти?

Ш к л я р. Невозможно разогнать темноту руками. Достаточно открыть глаза, и темнота исчезнет. Только так приходит осознание самого себя и своего предназначения. Только так можно быть самим собой. Это и есть настоящая активность. Это и будет решительное действие. Самое решительное. Оно исполнено такого внутреннего достоинства, которое не обретешь в борьбе. Быть самим собой, значит не желать никому зла.

С ы ч е в. Добиться уважения к себе, к своей стране, вот что главное. Это и значит стать самим собой. А для этого нужно бороться. Опустить руки – сметут с дороги. Упадешь – затопчут. Подставишь горло – перережут. Снимите розовые очки! Кругом враги. Как же можно обрести достоинство без борьбы?

Ш к л я р. Прежде чем становиться самим собой, осознай, что ты никогда и не переставал быть самим собой, то есть пустой чашей. Прежде чем становиться самим собой, осознай, что ты никогда и не переставал быть полным отсутствием

себя как отдельного существа, как того, кто отрезан от корня жизни. С кем бы ты не боролся, в какой-то момент ты начинаешь бороться с дьяволом. Ты становишься борцом, который не знает, за что он борется. Ты отдаешь жизнь, даже не узнав для чего она дана. Жизнь действительно нужно отдать, но не бронзовому колоколу, пытаюсь его разбить, а – осознанию того, что есть нечто, что больше тебя, больше колокола, больше самой жизни. Есть нечто, что невозможно разрушить и убить, на чье достоинство невозможно бросить тени, чья свобода ничем не отличима от любви, а любовь от самопожертвования. И это нечто, этот Кто-то зовется Отцом Небесным. Он и есть твоя истинная несокрушимая природа. И, если ты это осознаешь, если чувствуешь это всем сердцем, тогда действуй. Кажется, что естественней всего взять в руки флаг и сплотить людей, а не только открыть глаза, чтобы разогнать темноту. Однако не забывай, что как только ты возьмешь флаг, плодами твоих усилий в какой-то непостижимый момент воспользуется дьявол. Готов ли ты к этому? Готов ли смиренно принять это? Без всякого ропота. Именно против дьявола ополчатся твои люди, у которых не будет ни времени, ни сил быть теми, кто они есть – люди побегут становиться свободными. Лучше всего это понял Христос. Он отклонил флаг. Он взвалил на плечи крест. Но даже распятому Христу уже две тысячи лет люди вкладывают в руки свои знамена. Знамя нужно для того, чтобы бороться с дьяволом, чтобы охотиться на ведьм, чтобы навести окончательный порядок в умах.

С ы ч е в. Замолчите.

Ш к л я р. Я ответил на ваш вопрос, почему я все еще здесь?.. А теперь вы мне ответьте. Почему я вообще здесь? И почему вы допрашиваете меня?

С ы ч е в (с неуверенностью школьника). Вы взяли в руки флаг и сплотили людей.

Ш к л я р. Ну что вы. Никого я не сплотил. Скорее, разобщил. Та основа, на которой я хочу сплотить людей, им непонятна, она их пугает.

С ы ч е в. Что же тогда, по-вашему, случилось?

Ш к л я р. Обычный донос.

С ы ч е в. А вы знаете кто на вас донес?

Ш к л я р. Конечно, знаю. Вы и донесли.

С ы ч е в. А вы помните когда я на вас донес?

Ш к л я р. Десять лет тому назад.

С ы ч е в. Это правда... А вы помните как я донес?

Ш к л я р. Опубликовали свою политическую пьесу под моим именем.

С ы ч е в. Но ведь вы, кажется, не возражали?

Ш к л я р. У вас был талант, но не хватило смелости. У меня была смелость, но не хватило бы таланта. К тому же я не знал всей этой грязной политической кухни. Я не знал, как низко могут пасть люди.

С ы ч е в (кусая губы). Я могу снова подложить вам свинью. Но теперь очернить вас перед оппозицией. Люди так легковерны. Да мне и стараться не надо. Вы камня на камне не оставили от протестного движения.

Ш к л я р (сухо). Мне понятны соображения, по которым нас так и не познакомили. Пишете вы хорошо, но по-моему, вы полное ничтожество.

Сычев. Не забывайте, вся слава досталась вам. Вы заработали свой политический капитал. Вы стали историей. А меня знают только мыши... Слышите, пищат?

Шкляр. Но зато вы на свободе. И не последняя спица в колеснице. Может быть, и вправду поговорим как бывшие соратники?

Сычев и Шкляр расходятся по углам.

Сычев. Филфак я, как вы знаете, не закончил. Возмнил себя писателем, и перешел на ночной образ жизни. Шлялся по кабакам. Сводил нужные знакомства. Внезапно я оказался среди золотой молодежи, чьи отцы рулили страной. Стал завсегдатаем вечеринок, то в качестве лакея, то в качестве шута. Дальше – больше. Я увидел как пируют их отцы. Пришел в ужас и переметнулся к либералам. К своим. Написал пьесу, а потом жутко струсил и отрекся от нее. К тому времени мои старые знакомые из золотой молодежи, слезли с кокаина и сели в очень мягкие кресла. Случайно меня вспомнили и поманили. Я закончил юрфак, стал дознавателем, и теперь уже точно знал, с кем я и против кого. *(Переводит дух)*. Кстати, шуты нужны всем и всегда. Они поддерживают иллюзию того, что мир полон загадок. Никто не знает, когда шут плачет, а когда смеется.

Шкляр. Грустная история, и, я бы сказал, обыкновенная. Когда мне в руки попала «Рубиновая ночь», я схватился за нее как утопающий за соломинку. Нам всем казалось, что еще можно что-то изменить. Украинские руферы еще не раскрашивали звезды на высотках, а питерский художник не поджигал двери ФСБ... Я не знал, что пьесу написали вы. Мне сказали: «Автор пожелал остаться неизвестным». Однако кто-то должен был пойти до конца. Встать к барьеру. *(Горько усмехается.)* Согласен, звучит старомодно, но, как видите, это все еще работает. Пьеса произвела эффект разорвавшейся бомбы, но система приняла ее за комариный укус. Меня пальцем не тронули. И вот час настал. Спустя десять лет мною заинтересовался сам автор пьесы. Памятен ваш комментарий. «Если найдется охотник мотать срок за крик моей души, то возражений не имею».

Сычев. Да, это моя фраза. *(Глядя в угол)*. Сегодня я понял, что вы украли у меня и славу, и венец страдальца, и само страдание. Шут превратился в пародию на самого себя. Вы, словно бы, проживаете за меня мою жизнь. Потому что я трус. Пустое место, а не ваша пустота.

Шкляр. Вы не трус. И я не герой... А теперь позвольте мне сказать то, что я должен сказать. *(Без аффектации.)* Я не учил вас унижать людей. Я не учил вас ломать людей. И я не учил вас так зло шутить со своей жизнью. Вы, Геннадий Олегович, совершенно забыли о призвании русского интеллигента.

Сычев *(взрываясь)*. Что?! Что?! Вы смеетесь, Шкляр? Призвание русского интеллигента – обслуживать власть. Его место в лакейской. *(Вышагивает по комнате)*. Конечно, лакея могут посадить за один стол с господами во время очередного демократического карнавала. Но с ним никто не поделится куском баранины. А если он силой вырвет кусок, то перестанет быть наследником Белинского и Волошина. Вот чему нужно учить ваших студентов, а не церковнославянской грамматике. В закрытом обществе всегда появляются проблемы, нарастает напряженность, и при помощи интеллигента власть стравливает пар. Интеллигент – это форсунка, клапан. Власть позволяет иметь

независимое мнение только тогда, и только тому, кто укрепляет линию власти. Форсунка, брандахлыстик! *(Смеется.)* Вот кто такой интеллигент. Когда же он не понимает, что является частью огромной машины, то на его сопло набрасывают платок. Все самые подлые вещи, всю самую грязную работу проделывают бывшие интеллигенты. Вот почему я разговариваю с вами, Шкляр. Вот почему направляю лампу в лицо. Социальный лифт не ждет. Не успел, и адью. А я всегда рвался наверх. В качестве лакея я там уже побывал. Поверьте мне, я видел как они разлагаются. Как пьют, предают, спят, делают деньги, прячут трупы. И как перед ними пресмыкается всякая шваль. Я заглянул в лицо рубиновой ночи и она выжгла мои глаза... И тогда я понял, вот где сила. И эта сила очень умна, хотя она даже не знает об этом. *(Тихо.)* Вот только я перестал чувствовать. *(Подходит к Шкляру.)* Совсем не чувствую. Ничего не чувствую. *(Быстро отходит в другой угол комнаты и замирает.)*

Ш к л я р. Бедный вы мой.

С ы ч е в. Не жалейте меня!

Ш к л я р. Вы падаете в пропасть.

С ы ч е в. Лучше падать в пропасть, чем прозябать в дыре. Но я не хочу, чтобы мы разошлись так. *(Берет себя в руки.)* Я прошу, я требую примирения, профессор.

Ш к л я р. Я вам не враг. В конце концов, мы делали одно дело.

С ы ч е в. Да уж, делали. И теперь мне нужно смыть позор.

Ш к л я р *(не теряя самообладания)*. Давайте на чистоту, Сычев. Ваша политически ангажированная пьеса в художественном отношении оказалась слаба. А я все поставил на кон в момент полного отчаяния и частичного затмения разума. Когда я одумался, было поздно. Я нелепее вас. Я смешнее вас. Но я не лгу себе.

С ы ч е в. Когда вы поняли, кто перед вами?

Ш к л я р. Когда вы подали стакан воды... А потом назвали русским интеллигентом.

С ы ч е в. Собираетесь выдать меня?

Ш к л я р *(задумавшись)*. Нет. С ы ч е в. Ваше чистосердечное признание не входило в мои планы. А мое признание для вас – нож вострый. Но вы решили расколоть меня. Вы снова пошли до конца. Теперь я не знаю, что делать.

Ш к л я р. Хотите со мной покончить?

С ы ч е в. Да... Но не знаю, смогу ли?

Ш к л я р *(очень спокойно)*. Что бы там ни было, выполните одну просьбу. Передайте письмо моей жене. *(Кладет на стол сложенный в четверо лист бумаги.)* Уже несколько дней ношу с собой.

С ы ч е в. Хорошо.

Ш к л я р. Что-то еще?

С ы ч е в. Можно прочитать?

Ш к л я р. Вы могли бы и не спрашивать.

С ы ч е в. Я хочу прочитать вслух.

Ш к л я р. Сейчас?

С ы ч е в. Да.

Ш к л я р. Но для чего?

Сычев. Это мой последний шанс почувствовать то, что чувствуете вы.

Шкляр отходит к окну. Кивает. Сычев берет письмо и читает.

Сычев. Родная моя! Помнишь тот январский день? Мы легли. И глубина пришла. Потом мы долго смотрели в окно. Туман, вставший над Москвой-рекой, укрыл Николо-Угрешский монастырь. Четко вырисовывались кроны берез и осин. Туман прибывал, цепь деревьев редела. Отдельно взятые кроны становились мутными, выпадали из цепи, однако сохраняли свои волнующие очертания. Ты что-то сказала, но я не расслышал, а переспросить не посмел. И, кажется, я задремал. Не переживай за меня. Ты же знаешь, что нужно не переживать, а молиться. Ни о чем не проси Бога. А только слушай Его. Вот и вся молитва... Как-то наш младшенький допустил много ошибок в диктанте. Я спросил его: «Сынок, почему так вышло?» «Я нервничал, – ответил он. – Нервничал, нервничал, покой куда-то ушел». Я рассмеялся и сказал: «Видишь ли, сынок, покой никуда уйти не может. Это ты ушел. Представь себе, что покой – это наш дом. Может дом куда-нибудь уйти?» «Нет», – ответил он. «Вот видишь. Это нервы приходят и уходят, ты приходишь и уходишь, а покой всегда остается. С ним ничего не может случиться». Мои слова утешили его. Он тут же перестал расстраиваться и чувствовать себя виноватым. И он лишний раз осознал, что он дома, и что его любят. И с этой любовью ничего случиться не может. Я люблю тебя и детей именно этой любовью, которая никогда не пройдет.

Шкляр. Почувствовали? Вы что-нибудь почувствовали?

Сычев. Да.

Шкляр. Что?

Сычев. А я ведь не смогу. Нет, нет, не смогу... Я почувствовал... я почувствовал. Как же мне сказать, что я почувствовал?.. Я должен страдать, если хочу любить. И я должен любить, если не хочу страдать. Как-то не так сказал. Но лучше не скажу... Я уже не смогу избавиться от вас... Я почувствовал, что есть жизнь. И ее ни на что нельзя променять.

Шкляр *(тихо)*. Хорошо.

Сычев подходит к столу и садится на стул.

Сычев. Необходимо составить протокол. Скажите, что мне написать?

Шкляр *(глядя в окно)*. Правду.

Сычев. *(Вскакивает.)* Вы безумец!.. Ведь это самоубийство для меня.

Шкляр *(спокойно)*. Или начало новой жизни.

Сычев. У меня не получится. Вы слышите? Не получится!

Шкляр. Может быть... Но вы все-таки попробуйте.

Сычев опускается на стул. Кладет перед собой чистый бланк допроса.

Долго смотрит в бланк. Берет перо.

Сычев *(обращается к Шкляру)*. Фамилия, имя, отчество?

Занавес

Москва. 30 мая 2016.

Roman PERELSTEIN**DAS VERHÖR**

Theaterstück in zwei Akten

Übersetzung von **Elena SCHEWTSCHENKO**

Die Handlung spielt in einem Gefängnis in einer Mainacht 2023.

PERSONEN

Gennadiy Olegowitsch Sytschow, Ermittler, 37 Jahre alt.

Efim Efimowitsch Sklar, Häftling, 57 Jahre alt.

1. Akt

Nacht. Ein Verhörzimmer. In der Mitte ein Tisch. Auf dem Tisch eine Lampe. Unter der Lampe eine Akte: eine Mappe mit Papieren. Daneben eine Karaffe mit Wasser und ein Glas. An einer Tischseite der Ermittler Sytschow, auf der anderen – der Häftling Sklar. Sytschow sitzt auf einem Stuhl, Sklar - auf einem Schemel. Im Hintergrund ein vergittertes Fenster. Neben dem Fenster ein Bücherregal, auf das ein Blumentopf mit Geranie aufgestellt ist. In einem Verhörzimmer sieht sich die Geranie fremd an. Blutrote Knospen recken sich zum fahlen Licht.

Sytschow: *(führt die Feder zum Protokollformular).* Name, Vorname, Vatersname.

Sklar: Sklar Efim Efimowitsch.

Sytschow: Übrigens, was mach' ich denn. *(Zerreißt das Protokollformular).* Das ist doch kein Verhör...Eine Unterhaltung... Unterhaltung. Mein Name ist Sytschow. Gennadiy Olegowitsch Sytschow. Ich werde mich nun mit Ihrem Fall beschäftigen.

Sklar: Eine Unterhaltung? Um zwei Uhr nachts?

Sytschow: *(studiert die Akte und spricht gleichzeitig mit Sklar)* Ihre Kampfgefährten nennen Sie „verrückter Professor“.

Sklar: Ich habe keine Kampfgefährten mehr.

Sytschow: Ja, ja, ja... *(blättert in den Papieren).* Interessant, sehr interessant. Es gibt aber welche, die Sie für einen Verräter halten. Sind Sie etwa vom Schlachtfeld geflüchtet?

Sklar: Ich bin eher bis zum Ende gegangen.

Sytschow: Aha... Wir gehen also bis zum Ende. Bis zum Sieg?

Sklar: Der Sieg ist kein Ende.

Sytschow: *(betrachtet den Häftling neugierig und vertieft sich wieder in die Papiere).* Niemand hat erwartet, dass Sie das regierende Regime unterstützen werden.

Sklar: Ich unterstütze es nicht.

Sytschow: Auf welcher Seite der Barrikaden sind Sie dann?

Sklar: Gibt es denn Barrikaden?

Sytschow: Nun verstehe ich, warum Sie sowohl für uns, als auch für Ihre Waffengenossen gefährlich sind.

Sklar: Nur die Waffe hängen Sie mir nicht auf.

Sytschow: *(spöttisch lächelnd)* Um Gottes willen! Ihre Waffe ist das Wort. *(Klappt die Mappe zu, legt die Akte an den Tischrand. Nimmt eine ungezwungene Pose ein)*. Also, Professor, was sind Sie denn? Ein Überläufer? Ein Prediger? Ein politischer Aktivist?

Sklar: Eher derjenige, der mit den Aktivisten kämpft.

Sytschow: So ist es?!

Sklar: Ein Aktivist ist immer bereit, sich an irgendwelche progressive Bewegung anzuschließen. Oder an deren Spitze zu treten. Wenn ein Nichtprofi von der Politik sich ein Bein ausreißt, fällt es mir leicht, ihn durchzuschauen.

Sytschow: Wie denn?

Sklar: Ich sage einem ambitionierten Aktivisten: „Gute Epochen gibt es nicht. Schon deshalb ist es nicht schön, berühmt zu sein¹. Alle sogenannten berühmten Leute, sind die Leute, die sich bei der Epoche eingeschmeichelt haben. Sich in der Epoche zu irren, zur falschen Zeit zur Welt zu kommen ist eine große Tröstung“.

Sytschow: Haben Sie jemanden überzeugt?

Sklar: Meine Abfuhr hatte ihre Wirkung nur einmal, als ich das mir selbst gesagt habe...Ich habe mir gesagt: „Sicherlich gibt es eine Epoche, in der du unheimlich und unbegründet berühmt werden könntest. Doch nicht diesmal, Kumpel, nicht diesmal“. Aber es war zu spät. Mein Name wurde schon an allen Ecken angegriffen.

Sytschow: Ja, ja, ja... Einen Anspruch auf leitende Posten erheben jedoch nicht alle. Manchmal ist es nur nötig, seinen Bürgerstandpunkt deutlich zu markieren. Denken Sie an alte gute Zeiten. Ein weißes Band anstecken. Im „Marsch der Millionen“ mitschreiten.

Sklar: Im Geheimen erwartet man von dir doch öffentliche politische Handlungen. Aber bevor man handelt, muss man transparent werden.

Sytschow: Transparent?

Sklar: Für das Licht.

Sytschow: Auf der Twerskaja Strasse ist doch mehr Licht. Dort gibt es Laternen, akrobatische Darbietungen, Blasorchester. Sie haben aber ein Gefängnis mit einer extrem strengen Ordnung bevorzugt.

Sklar: Von Bedeutung ist nur das Licht, das wir durch uns fließen lassen. Dies gibt es weder viel noch wenig. Lass wenigstens einen Strahl durch, und du wirst wissen, wie mächtig die Quelle ist.

Sytschow: Entschuldigen Sie, aber das ist Lyrik.

Sklar: Entschuldigen Sie, aber Sie haben keine Ahnung von der Lyrik.

Sytschow: Dafür hab ich etwas Ahnung von der Politik.

Sklar: In der Politik kennen Sie sich noch weniger aus.

Sytschow: Sie sind ein sehr netter Gesprächspartner, Professor.

Sklar: Es ist nicht wichtig, welcher Gesprächspartner ich bin. Ich bin kein Anhänger eines Staatsstreiks. Einer Wende bedarf unsere Seele. Einer absoluten Wende ohne Banner und Megaphone.

¹ Ein Zitat aus einem bekannten Gedicht von Boris Pasternak

Sytschow: *(mit Ironie)*. Und das sagt der Autor eines scharfen politischen Stücks?

Sklar: Lass das Vergangene vergangen sein. Zehn Jahre sind verflossen.

Sytschow: Und doch, Efim Efimowitsch, waren es denn nicht Sie, der einen Tiger geneckt hat? Sie haben die regierende Elite geschändet, sie in ein ungünstiges Licht gesetzt. Übrigens, wie ist das Ihnen gelungen? Sie hatten doch keinen Zutritt hinter politische Kulissen?

Sklar: Ich habe alles erfunden, und das hat sich eben als Wahrheit erwiesen.

Sytschow: Ja, ja, ja... Das ist schwer zu glauben. *(Einschmeichelnd.)* Wenn Sie Ihren Informator nennen, tun Sie der Ermittlung einen großen Gefallen. Und dabei helfen Sie sich selbst aus der Not. Sie nehmen eine Ratte in Schutz. Überlegen Sie sich das, Sklar. *(Sytschow geht im Zimmer auf und ab. Gießt die Geranie. Schaut zum Fenster hinaus.)* Mars ist gut zu sehen. Wer hätte denken können, dass Chinesen als erste auf dem Mars landen. *(Biegt sich das Kreuz durch.)* Seltsam, der Rücken tut weh. Die Sterne ziehen Sie wohl an, Professor? Von welchem Stern sind Sie gefallen?

Sklar: Ihr Vorgänger hatte eine andere Taktik. Er hat versprochen, mich zum Lagerstaub zu reiben.

Sytschow: *(versöhnend)*. Ich wiederhole, das ist kein Verhör. Ihnen ist das Spielchen „schlechter und guter Ermittler“ doch bekannt. Also, ich bin nicht bloß ein „guter“, sondern ein sehr guter Ermittler. Meinem ersten Beruf nach bin ich Philologe, nach dem zweiten – Jurist. Ein vorbildlicher Familienvater. Nichtraucher. Trinke einmal im Jahr, betrinke mich - im Jahr einmal. Mag Bücher mit vergilbten Seiten, Zimmerpflanzen.

Sklar: Klingt bedrohlich.

Sytschow: *(setzt sich an den Tisch)*. Also, lassen wir die Lyrik. Spielen Sie nicht so einen weltentrückten Sonderling. Ich möchte mehr Konkretes hören. Sie sind doch ein Wissenschaftler. Verwenden Sie letzten Endes eine sozial-historische Methode. Und bitte weichen Sie direkten Fragen nicht aus.

Sklar: Ich werde versuchen.

Sytschow: *(mit einer gespielten Ungezwungenheit)*. Stellen Sie sich vor, dass Sie von einem unabhängigen Reporter einer liberalen Edition interviewt werden. Lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen. Alles, was Sie sagen, bleibt unter uns. Keine Protokolle, keine Aufnahmen.

Sklar: *(gelassen)*. Das heißt, wir werden uns wie alte Freunde unterhalten?

Sytschow: Warum denn nicht?

Sklar: Ich weiß nicht, was Sie im Sinn haben... Bin sicher, dass es ein Spiel in ein Tor ist.

Sytschow: Geben Sie Ihre Einschätzung der heutigen politischen Situation im Lande.

Sklar: Warum nur der heutigen? Die Situation in Russland ist immer die gleiche.

Sytschow: Tatsächlich? Und die neunziger?

Sklar: Wie meinen Sie es mit den neunziger?

Sytschow: Na, wie denn! Das Land ist auferstanden, hat die Last des Totalitarismus abgeworfen. Die aufgewühlte Gesellschaft hat eine Hoffnung bekommen. Die Intelligenz hat wieder Mut gefasst.

Sklar: Die Hoffnungen sind aber nicht in Erfüllung gegangen.

Sytschow: Na ja.

Sklar: Politische Situation in Russland ist mit dem Faktor der Zeit nur sehr schwach verbunden. Die Zeit fließt irgendwo in unserer Nähe.

Sytschow: Führen Sie diesen Gedanken weiter.

Sklar: Politische Situation in Russland ist recht stabil. Ich würde sie als Diktatur der Willkür definieren. Die Schwingamplitude vom Pendel des gesellschaftlich-politischen Lebens ist nur auf den ersten Blick weit. Aber schauen Sie genau hin. Unser Pendel schwingt zwischen der Willkür der Macht und der Willkür der Machtlosigkeit.

Sytschow: (*genießend*). Diktatur der Willkür. Das würde Ihren Kampfgefährten gut gefallen.

Sklar: Sie hören mich nicht. Wir haben sehr viele freiheitsliebende Menschen, aber nur wenige freie Menschen, die lieben können. Was heißt aber Freiheit ohne Liebe? Das ist eben Diktatur der Willkür. Bei uns können sich freie Menschen bei keinem Zaren auf den richtigen Fuß stellen. Und danach wundern wir uns, was für ein Land uns zugekommen ist. Was für ein Leviathan?

Sytschow: Erwartet denn Russland nichts Gutes?

Sklar: Alles kommt nur drauf an, inwieweit wir fertig sind zu lieben. Es so zu lieben, wie es ist. Es bleibt nichts mehr übrig. Und dann ändert sich vieles, sehr vieles. (*Wendet sich eher an sich selbst, als an Sytschow*). Die Änderungen zum Guten kommen, aber man muss nicht auf sie warten.

Sytschow: (*aufgeregt*). Man lege also die Hände in den Schoß und warte dazu auf nichts? Schlamperei und Schöngestei! Die Partei kann nicht untätig bleiben. Unsere Feinde auch. Wir schaffen einen starken Staat – sie wollen alles zerstören. Wir propagieren geistige Bande – sie schreien vom religiösen Obskurantismus. Und da geht es nur so: entweder wir sie, oder sie uns. Das Dritte gibt es nicht. Übrigens, was halten Sie von dem neuen Gesetz über den Schutz der Gefühle von Gläubigen?

Sklar: (*nachdenklich*). Ich halte viel davon. Man sollte aber religiöse Gefühle der Gläubigen nicht vor Gotteslästerern, sondern vor Gläubigen selbst schützen. Ein Gläubiger ist imstande, dem religiösen Gefühl einen viel größeren Schaden zuzufügen, als ein Atheist.

Sytschow: Erlauben Sie eine persönliche Frage?

Sklar: Nein... Sie stellen die sowieso.

Sytschow: Glauben Sie an das jenseitige Leben?

Sklar: Natürlich ja. Aber solange du dich als Egoist verhältst, solange du nur an dich selbst denkst, gibt es weder jenseitiges, noch diesseitiges Leben. Leg dein Ego ins Grab, da beginnt gleich dein jenseitiges Leben.

Sytschow: Sie sind aber gar nicht so verrückt. Und Sie gefallen mir.

Sklar: Beeilen Sie sich nicht. Bald enttäusche ich Sie. Sie forschen nebenbei ein gewisses Etwas aus... Weiß nicht was. Und wenden sich verächtlich von mir ab.

Sytschow: Wie Ihre Kampfgefährten – politische Aktivisten?

Sklar: Politische haben sich abgewandt. Dafür sehen mich nun russisch-orthodoxe Aktivisten schief an.

Sytschow: Sie verstehen es, die Leute zu ärgern, Efim Efimowitsch.

Sklar: Das ist nicht der Punkt.

Sytschow: Was ist denn einer?

Sklar: (*die Augen zukneifend*). Irgendwie sind alle Aktivisten untereinander verbunden. Wie Schmuggler tragen sie einander in lackierten Aktentaschen durch,

ohne Bescheid darüber zu wissen. Sie würden sich sehr wundern, wenn sie erführen, dass sie einzeln nicht gehen können.

Sytschow: *(aufrichtig überrascht)*. Sie glauben an eine Verschwörung der Aktivisten? Aber erlauben Sie! Die Kämpfer für ehrliche Wahlen und so weiter geben nie ihre Hand den Extremisten von der Religion, die Ausstellungen plündern und ähnliches. Oder wollen Sie sagen, dass politische und russisch-orthodoxe Aktivisten mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben?

Sklar: *(das Gesprächsthema ungezwungen weiterführend)*. Vergessen Sie nationale Aktivisten nicht. Ihr Verdacht, dass ich Jude bin, und nicht nur der Nationalität nach, ist recht begründet. Übrigens, es lohnt sich nicht, unseren Patrioten zu dämonisieren. Er unterscheidet sich kaum von einem zionistischen Aktivisten.

Sytschow: *(schmunzelnd)*. Verrückter, verrückter Professor!

Sklar: *(demonstrativ ernst)*. Gar nicht. Raten Sie, wem die nächste Perle gehört: „Wenn du ein „guter“ Jude bist, geh nach Israel“. Wer sagt das – ein kahlgeschorener Skinhead oder ein Kämpfer der „jüdischen Legion“? Hat dieser kluge Kopf eine schwarze Kappe mit dem Wappen eines Fußballklubs oder eine Mütze mit der Kokarde in Form einer Menora auf?

Sytschow: Wird denn der Eine Sie vor dem Anderen nicht schützen?

Sklar: Doch, aber bald bereut er das.

Sytschow: Ich habe gar nicht gedacht, dass Sie so ein unbequemer Mensch sind. *(Nach einigem Zögern)*. Apropos, ich bin auch Jude.

Sklar: *(gelassen)*. Und eine gute Nachricht?

Sytschow: Kein schlechter Witz. Aber unter uns, ich habe mich immer als Russe gefühlt.

Sklar: Heute scheinen keine guten Nachrichten zu kommen.

Sytschow: *(höhnisch)*. Und als was fühlen Sie sich, Efim Efimowitsch Sklar?

Sklar: *(ohne auf den Stich zu reagieren)*. Ich habe nie korporative Interessen geteilt, besonders nationale. Mein jüngerer Sohn hat von sich gesagt: „Ich bin aus jüdischem Stamm, aber in einer russischen Familie“. Das Verb „geboren“ hat er in Eile weggelassen. Sitzt keine Minute auf der Stelle. Einmal hat er erklärt: „Die Zeit, die ich für das Hoseanziehen verwenden musste, verwendete ich für den zusätzlichen Schlaf. Darum werde ich den ganzen Tag ohne Hose laufen“. Die schwierigsten Fragen löst in unserer russischen Familie der kleine Sklar.

Sytschow: *(zerstreut, zum sachlichen Ton übergehend)*. Ich werde nicht mehr Katz und Maus spielen. Die Methode der textologischen Analyse ist mir bekannt. Bin auch kein schlechter Psychologe. Also, ich bin absolut sicher, dass „Die Rubinnacht“ nicht von Ihnen geschrieben wurde. Efim Efimowitsch, nennen Sie den wirklichen Autor, und ich schließe Ihren Fall.

Sklar: *(sammelt die Gedanken)*. Bis jetzt ging es um einen Informator, der mir kompromittierende Infos über die Machthabenden zugesteckt hat. Nun stellen Sie selbst die Tatsache meiner Autorschaft in Frage. Sind Sie nach unserem Gespräch von meinen intellektuellen Fähigkeiten völlig enttäuscht?

Sytschow: Im Gegenteil. Das Stück ist von einem Menschen geschrieben, der über Ihren kulturellen Vorrat nicht verfügt. Das Wichtigste ist aber, dass er die Originalität Ihres Denkens nicht besitzt.

Sklar: Na, wissen Sie, so viel Wasser ist verflossen. Ich bin ein Anderer geworden. Ich habe eine innere Wende erlebt. *(Nach einer Pause)*. Ja, ich vermisse sehr meine Frau und Kinder, aber Ihren billigen Provokationen gebe ich nicht nach. *(Sytschow betrachtet mit betonter Gleichgültigkeit seine Fingernägel)*. Ist es für Sie zufällig interessant, wovon ich rede?

Sytschow: Ja, ja, ja... Nehmen Sie das mir nicht übel, Efim Efimowitsch. Ich schlage hie und da, aufs Geratewohl. Bis jetzt hielten Sie gut durch, aber ich werde eine schwache Stelle schon finden. Vielleicht haben Sie bereits verstanden, man vertraut mir die schwierigsten Fälle an. Hoffnungslose. Wissen Sie warum?

Sklar: Warum?

Sytschow: Ich habe Geduld und Taktgefühl. Ich finde einen passenden Schlüssel für jedes Schloss.

Sklar: Sie verlieren Ihre Zeit umsonst.

Sytschow: Gar nicht umsonst. Es ist für mich interessant, mit Ihnen zu sprechen. Ich will Ihnen wieder etwas gestehen. *(Senkt seine Stimme)*. Unter den Juden fühle ich mich als Russe, unter den Russen – als Jude. Ist das überhaupt in Ordnung? Ich habe schon verstanden, dass Sie als Internationalist einfach weiter gehen. Ich aber schaue mich immer wieder um.

Sklar: *(teilnahmsvoll)*. Diese Frage hat auch den Schriftsteller Jurij Nagibin gequält. In ihm floss das Blut eines russischen Adligen, aber den größten Einfluß hat auf Jurij Markowitsch sein Stiefvater – der Rechtsanwalt Mark Levental ausgeübt. Nagibin hielt die Nationalitätenfrage für Mist und Bagatelle, biss aber mehrmals darauf an. Das machte er zwar sehr ehrlich, darum talentvoll.

Sytschow: Ich mag Nagibin. Bitte, seien Sie aufrichtig mit mir.

Sklar: Aus dem Munde eines Ermittlers hört sich das seltsam an.

Sklar: Wer ist denn nicht seltsam?²

Sytschow hat eine schalkhafte Laune. In ihm wacht ein böser Spitzbube auf.

Sytschow: Efim Efimowitsch, könnten Sie nicht ein Porträt des russischen Kulturhelden entwerfen? Und wenn's möglich auch eines jüdischen. Sozusagen zum Vergleich.

Sklar: Was, jetzt?

Sytschow: Warum nicht, Professor. Sie sind doch Doktor der Philologie. Oder geben Sie sich wohl für einen Doktor nur aus? Haben Ihr Diplom in der

Metro gekauft? Und Ihre Diss hat für Sie etwa ein „wissenschaftlicher Neger“ hingekratzt. Wir wissen, wie solche Geschäfte gedrechselt werden. Ich will nicht grob werden, aber mit Ihrem politischen Stück stimmt etwas nicht. „Die Rubinnacht“. Ist das nicht etwas platt? Nicht Ihr Stil. Wie das Sprichwort lautet: betrügt man im Kleinen, wird man auch im Grossen betrügen.

Sklar: *(verblüfft)*. Es sieht so aus, als sei mein Fall zehn Jahre im Schreibtisch geschmoren?

Sytschow: *(gähnt fröstelnd)*. Jedes Papierchen soll ausreifen, aber nicht überreif werden. Gibt es noch Fragen?

² Ein Zitat aus der Komödie „Wehe dem Verstand“ von Alexander Gribojedow.

Sklar: Nein, keine.

Sytschow: Also. Ich warte auf eine Vorlesung, Professor.

Sklar: Ersparen Sie mir die Probe auf professionelle Tauglichkeit.

Sytschow: *(mild)*. Ich bestehe darauf.

Sklar: Ich bin nicht gewohnt, Vorlesungen sitzend zu halten.

Sytschow: Ja, ja, ja... Stehen Sie auf, vertreten Sie die Beine.

Sklar: *(Erhebt sich, geht auf das vergitterte Fenster zu)*. Womit soll ich beginnen?

Sytschow: Beginnen Sie mit dem sechsten Tag der Schöpfung.

Sklar: Die Kultur ist bei den Juden fest mit der Religion verbunden. Darum wäre es vernünftiger, von dem Helden der jüdischen kulturell-religiösen Tradition zu reden.

Sytschow: Wie sieht er aus?

Sklar: Das ist eine Art ungekämmter Streithahn, ein Katzensprung von dem Heiligen. Sein Leben ähnelt oft einem bitteren Witz. In der sowjetischen Fassung klingt das so. Früher lebte Abram dem Gefängnis gegenüber, jetzt lebt er gegenüber seinem Haus.

Sytschow: Das scheint Ihr Fall zu sein, Sklar.

Sklar: *(ignoriert die Provokationen des Ermittlers)*. Oder eine andere Situation, eine postsowjetische, im Grunde aber die gleiche. „Warum gehen Sie nicht nach Israel?“ – fragt man ihn. „Wozu? Es geht mir auch hier schlecht“ ... Nur als Kenner der Heiligen Schrift kann er den Allmächtigen erkennen.

Sytschow: Und wie wäre es mit dem Westen? Warum sind Sie nicht emigriert, als es solche Möglichkeit noch gab?

Sklar: *(verlegen)*. Im Westen gehört sich nicht, über die Wahrheit zu sprechen.

Sytschow: Wie ich verstehe, finden Sie sich mit dem Wenigeren nicht ab?

Sklar: Man wird lachen. Sie lachen doch nicht.

Sytschow: *(scharf)*. Und im Osten ist es nicht ungefährlich zu schwatzen. Ihnen kann etwas passieren.

Sklar: Alles, was passieren kann, ist nicht das, was es gibt. Es gibt Gott. Ihm kann nichts passieren.

Sytschow: Nun ist ein Prediger vor mir. So geschieht das also.

Sklar: *(überquert das Zimmer)*. Der Schriftsteller Isaak Singer hat einen Roman geschrieben. Er heißt „Der Sklave“. Der junge Jude Jakob geriet in die polnische Gefangenschaft. Jakob wurde zur Lage eines Leibeigenen herabgewürdigt. Er spricht mit Kühen auf Jiddisch, um die Sprache nicht zu vergessen. Seit fünf Jahren hat er kein Buch mehr gesehen. Mit Mühe ruft er sich die Gebete ins Gedächtnis zurück. Trotzdem denkt er weiter nach. Singer schreibt: „Er dachte nach. Er, Jakob, sitzt hier bei Jan Bzik im Stall, und in dieser Zeit regiert der Schöpfer das Weltall“. Der Held der jüdischen Überlieferung ist immer ein Paria. Selbst wenn er sich im einheimischen Milieu befindet, ändert das das Wesen der Dinge nicht.

Sytschow: Probieren Sie sich den Lorbeerkrantz eines Parias an? Wollen Sie der Erste sein, sei es auch vom Ende? Der Erste aber in jedem Fall! Lassen Sie diese jüdischen Tricks. *(gereizt)*. Ich will vom russischen Helden hören. Ich bin doch ein russischer Mensch. (Ballt die Faust bis zu weißen Fingerknochen).

Sklar: *(ruhig)*. Zum Beweis seiner Kraft braucht der russische Held gar nicht unbedingt zu handeln.

Sytschow: Und wie wäre es mit dem Drachen?

Sklar: *(geht im Zimmer weiter auf und ab)*. Als Beweis der Kraft des Helden gilt natürlich sein Sieg über den Drachen. Die Frage ist nur, wann und wo dieser Sieg errungen wird? Auf dem Schlachtfeld nach dem Kampf oder auf dem Ofen vor dem Kampf? Mir scheint's, dass der richtige Held den Sieg auf dem Ofen erringt. Der russische Held sitzt nicht einfach auf dem Ofen, er bekämpft das Böse in sich. Ohne das Böse in sich zu überwinden, kann er auch das Böse außer sich nicht bekämpfen. Der Held wird das Böse durchs Sitzen los. *(begeistert)*. Russische bildende Kunst zeigte eben darum ein mäßiges Interesse für die Renaissance-Perspektive, weil es niemanden gab, den man in der zweiten Phase des Tuns darstellen könnte, mit anderen Worten, im Zustand der physischen Handlung. Russische Kunst ist auf geistige Handlung konzentriert. Das heißt auf die erste und dritte Phase des Tuns, und zwar: auf die Entscheidung, die auf dem Ofen getroffen wird, und auf das Begreifen des Getanen in der Einsiedelei.

Sytschow: *(mit Sarkasmus)*. Das ist also eine Einsiedelei? Und Sie sind etwa ein Einsiedler. Schlaul! Es ist angenehm, mit einem gebildeten Menschen zu tun zu haben. *(Fordert ihn mit einer Geste auf, weiter zu sprechen)*.

Sklar: *(begeistert)*. Der Ofen und die Einsiedelei, dort suchen Sie das Erhabenste in der russischen Natur. Dieser Stand der Dinge kann auch erklärt werden. Kaum klettert der russische Held vom Ofen herunter, beginnt er gleich sich selbst zu zerstören. Darum bleibt der Burja-Bogatyr³ Ilja Oblomow⁴ untätig. Wenn keine Pilger dem Recken die Hälfte seiner Kraft nehmen, dann nimmt er die sich selbst.

Sytschow: Wozu denn das?

Sklar: Damit seine Kraft ihn nicht hindert, mit dem Bösen zu kämpfen. Genauer gesagt, damit sie ihn nicht hindert, sich klar zu werden, wo das Gute und wo das Böse ist. Die Kraft, wenn es die zu viel gibt, ist absolut blind. Wyssozki hat das erahnt: „Die Prinzessin behaftet für andere Zwecke / ich bringe das Biest auch so um die Ecke⁵“. „Auch so“ – nicht für einen Lohn. Man treibt das Biest in die Hölle, grade weil der Held auf den Lohn verzichtet. Ein Geschäft würde dem russischen Helden die zweite Hälfte seiner Kraft nehmen, die er für den Kampf mit dem Drachen behalten hat. Der Held ist sowieso geschwächt, die Umstände haben ihn von dem Ofen runtergeschleppt. Und nun schlägt man ihm eine neue Abhängigkeit vor – einen Kontrakt.

Sytschow: *(spielt einen beleidigten)*. Ach ja, ein Kontrakt. Ich bin doch ein Teufel und komme Ihre Seele holen. So denken Sie über mich?

Sklar: *(diplomatisch)*. Ich denke nichts.

Sytschow: Sprechen Sie weiter.

Sklar: Passen Sie auf, die Prinzessin braucht der russische Held auch nicht. Und da zeigt sich eine Parallele. Jakob denkt nach, indem er im Stall sitzt, „und in dieser Zeit regiert der Schöpfer das Weltall“. Ilja liegt auf dem Ofen, bereitet sich auf eine Heldentat vor, „und in dieser Zeit regiert der Schöpfer das Weltall“. Grade auf dem Hintergrund des tätigen Nicht-Tuns des Bogatyrs regiert der Schöpfer das Weltall.

³ Bogatyr ist eine Bezeichnung für Recken aus mittelalterlichen russischen Sagen.

⁴ Ilja Oblomow ist der Titelheld des Romans „Oblomow“ von Iwan Gontscharow.

⁵ Übersetzung aus dem Russischen von Helmut Butzmann.

Sytschow: Na gut, gut, ich habe kapiert. (*Erhebt sich und misst das Zimmer mit den Schritten*). Sie wollen sagen, dass Ilja Muromez⁶ weder ein politischer, noch ein nationaler, noch ein russisch-orthodoxer Aktivist war.

Sklar: Genau. (*Sklar versucht zu begreifen, was eben passiert ist. Er ist etwas verdutzt. Der Enthusiasmus, mit dem er improvisierte, wird durch erste Zeichen einer Apathie abgewechselt.*)

Sklar: (*beherrscht sich*). Wozu haben Sie diesen Zirkus gemacht? Um einen Narren aus mir zu machen?

Sytschow: (*mit unerwarteter Innigkeit*). Wo denken Sie hin, Efim Efimowitsch! Ich bewundere Sie. Einst habe ich Ihre Vorlesungen gehört. Sie haben uns Gedichte vorgetragen. Wie ist es bei Maximilian Woloschin? Wissen Sie das noch, über den Intellektuellen?

Verschmäht von Zaren, ein Jemand außerhalb von Stand und Zunft,
Er trug bei sich den Tatendrang vom Großen Peter,
Dazu die Fackel, die heimlich lodernde der Revoluzen:
Den Nowikowschen Geist samt seiner Leidenschaft zum Buch,
Wie auch die Fiebrigkeit und Kälte von Wissarion .
Von deren Wurzeln stammt er, der Intellektuelle.

Sytschow verklärt sich. Tritt in die Mitte des Zimmers und deklamiert weiter.

So wie man ihn schon immer kennt: Schwach und gejagt,
Sein Hut zerknittert und sein Mantel schäbig,
Der Rücken krumm, die blassen Wangen schmückt ein Bart in wilden Fetzen,
Gequältes Lächeln und ein Kneifer auf der Nase.
Mit seiner Schöngesterei und Ehrlichkeit, mit seiner weichen Güte
Ist er präziser Abdruck eines Fotonegativs.
Die russische Autokratie verfasste sein Profil:
Er hat ´ne Beule dort, wo sonst die Faust sitzt.
Statt Bajonett hat er ein Nichts, ein Loch.
Anstelle einer festen Meinung bei ihm die Negation,
Ideen und Gefühle, all das verdreht und umgestülpt,
„Der bürgerliche Widerstand“ allein sein Maß der Dinge.

Sie sind derselbe glänzende Redner, Efim Efimowitsch. Jedes Thema können sie behandeln. Ich muss ihnen ein Geständnis machen - Sie haben mich denken gelernt.

Sklar: (*wie vom Blitz getroffen*). Mein Gott... Sytschow, Sytschow. Aber ich kann mich an Sie nicht erinnern.

Sytschow: Und Sie haben uns gelehrt, Wahrheit zu sagen. Sogar wenn das unbequem ist.

Sklar: Sie scheinen, ausgeschlossen worden zu sein.

Sytschow: (*mit gleicher bestechender Innigkeit*). Das war nicht Ihre Schuld, Professor. Ich habe dem Dekan ins Gesicht geschmissen, was alle hinter seinem Rücken

⁶ Ilja Muromez ist eine Heldenfigur der Kiewer Tafelrunde, der als bekanntester Boratyr gilt.

getuschelt haben. Ich habe ihn Unterprischibeew⁷ genannt. Die Geschichte hat man geschickt vertuscht, ich bin aber bald hinausgeflogen.

Sklar: *(kann die Aufregung kaum verbergen)*. Verstehen Sie, Sytschow, dieses Stück, „Die Rubinnacht“, ist gar nicht von mir. Aber nicht in dem Sinne, wie Sie gedacht haben. Als ich es schrieb, war ich ein ganz anderer Mensch.

Sytschow: Nein, Efim Efimowitsch, das ist nicht die ganze Wahrheit. *(Gießt ein Glas Wasser und reicht es dem Häftling. Sklar verfällt in Gedanken, nimmt das Glas und leert es in ein paar Zügen)*. Sie sind doch ein Vertreter der russischen Intelligenz. Sie dürfen nicht lügen. Und jetzt lügen Sie nicht mir. Sie lügen sich selbst.

Sklar: *(nach einer Pause)*. Sie bestehen also auf der ganzen Wahrheit?

Sytschow: Ja.

Sklar sinkt auf den Schemel.

Sklar: Nun gut. Ich habe dieses seltsame Stück nicht geschrieben. Der Autor ist jemand anderer.

Sytschow setzt sich an den Tisch.

Sytschow: *(spricht jedes Wort betonend)*. Nennen Sie seinen Namen.

Sklar: *(sehr ruhig)*. Um nichts in der Welt.

Vorhang.

2. Akt

Das Verhörzimmer.

Sytschow: *(zupft trockene Geranienblätter ab)*. Geben Sie zu, Professor, Ihr offenes Geständnis ist nur die Frage der Zeit. Jetzt ist drei Uhr. Ich verspreche Ihnen, dass wir bei Tagesanbruch Schluss damit machen. *(Macht sich bequem an dem Tisch)*. Inzwischen möchte ich Ihnen einige ganz einfache, nicht zur Sache gehörende Fragen stellen. Wie soll man Kinder erziehen? *(Verzieht sein Gesicht vor Schmerz und reibt sich die Seite)*. Gibt es Gott? Ich habe meine Gründe, dies zu bezweifeln. ... Warum weine ich so oft ins Kissen?

Sklar: Ich weiß nicht, wie man Kinder erziehen soll. Ich weiß nur, man muss lieben.

Sytschow: Wie denn – lieben? Drücken? Mit Lebkuchen vollstopfen?

Sklar: Das Kind lieben – das heißt, den Handel mit den Liebkosungen vergessen. Solange es noch klein ist und vorbeiläuft, bring es fertig, es auf den Scheitel zu küssen. Morgen wird es schon spät sein. Du kannst ihn weder erreichen, noch einholen. Auf diesen Scheitelküssen beruht die Welt.

Sytschow: Mein Lehrer hat mir einen Rat gegeben. Danke, Lehrer! *(verbeugt sich)*. Schade nur, dass ich Ihrem Rat nicht folgen kann. Ich kann meinen Sohn über die Maßen lieben, eine väterliche Liebkosung muss er jedoch verdienen. Sonst wächst er zu einer unabhängigen Persönlichkeit auf, beginnt auf seine Rechte zu pochen und bekommt eine reale Freiheitsstrafe.

Sklar: Nennen Sie mich nicht Ihren Lehrer.

⁷ Unter Prischibeew (Unteroffizier Prischibeew) ist die Titelfigur einer Kurzgeschichte von Anton Tschechow, dadurch bekannt, dass er auch im Zivilleben eine Militärordnung auf eigene Faust zu praktizieren versuchte.

Sytschow: Verstehen Sie doch! Demokratische Flanke ist längst vollkommen zerschlagen. Wieder verwandelt man Mütterchen Russland ins Land des ewigen Schnees.

Sklar: Natürlich gibt es Ihn.

Sytschow: Wen?

Sklar: Sie haben gefragt, ob es Gott gibt.

Sytschow: *(setzt sich an den Tisch)*. Ja, ich weiß, dass es Ihn gibt.

Sklar: Und wenn Sie das wissen, warum weinen Sie oft ins Kissen? Haben Sie Mitleid mit sich selber?

Sytschow: Vielleicht mit mir selber. *(Nicht ohne Hohn)*. Vielleicht aber mit allen Lebewesen. Darüber bin ich mir noch nicht im Klaren.

Sklar: Zögern Sie nicht zu lange.

Sytschow: Übrigens, ich möchte Sie fragen. Was halten Sie von den Atheisten? Es ist doch klar, dass der Autor der „Rubinnacht“ weder an Gott, noch an Teufel glaubt.

Sklar: *(milde lächelnd)*. Wissen Sie, warum der Schöpfer nicht eilt, die Tatsache seiner Existenz unbestreitbar zu machen?

Sytschow: Warum?

Sklar: Weil Gott nicht danach strebt, im Streit zu gewinnen. Der Gläubige aber will sehr oft im Recht sein. In der Tat, Gott hat einen Sinn für Humor. Im Geheimen hilft er auch dem Atheisten, indem er ihm unwiderlegbare Argumente leiht. Vielleicht darum mag ich Atheisten. Das ist doch so wundersam, wenn Gott über sie mit dir spricht. Und dann ist es, als ob Gott dir sagt: „Es ist gut, dass du an Mich glaubst und Mich verteidigst. Nur bist du denn sicher, dass deine menschlichen Eigenschaften von so hoher Probe sind, dass du Mein Rechtsanwalt sein kannst? Ich sehe einige schöne Eigenschaften bei dem Atheisten-Staatsanwalt, der Mich zur lebenslangen Nichtexistenz verurteilt hat. Du aber besitzt diese Eigenschaften nicht. Was wird, wenn deine Rechtsanwaltschaft einen Schatten auf Mich wirft? Mach dir Gedanken darüber, wenn du nächstes Mal wegen Meiner Angelegenheit ins Gericht gehst“.

Sytschow: *(ernst)*. Komisch.

Sklar: *(ernst)*. Ja, komisch... Aber komischer, als die Geschichte über Ihr Kissen, habe ich nichts gehört.

Sytschow: *(beleidigt)* Warum tun Sie so?

Sklar: Ich traue Ihren Tränen nicht.

Sytschow: *(wütend)*. Wer bist du denn überhaupt, um meine Tränen zu berühren?! *(besinnt sich)*. Das sind letztlich meine Tränen; nicht Ihre. Davon haben Sie überhaupt nicht die geringste Ahnung!

Sklar: Bald weinen Sie nachts, bald schreien Sie. Vielleicht schlagen Sie auch Ihre Gefangenen?

Sytschow: Ja, ich kann die Fassung verlieren. Ich bin ein lebendiger Mensch. Verstehe nicht, warum Sie zu Ihrem Schicksal so gleichgültig sind. *(Sklar will antworten, aber Sytschow unterbricht ihn grob und schlägt mit der Faust auf den Tisch)*. Maul halten! Antworten! Wer ist der Autor von diesem gemeinen Pasquill? Warum schützen Sie irgendwelchen Schurken? *(jedes Wort betonend)*. Da sind Sie einer, der wegen der Verheimlichung eines Verbrechens angeklagt wird und sich weigert, mit der Behörde zusammenzuarbeiten? Habe ich Sie richtig verstanden?

Sklar: *(seiner Kraft völlig bewusst)*. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Darum bin ich zu meinem Schicksal gleichgültig.

Sytschow: *(leise)* Wie ist das passiert?

Sklar: Die Augen haben sich aufgemacht, und ich habe gesehen, dass es keine Fremden gibt. Wir sind die Zweige eines Baums. Schlag einen Zweig ab, und der ganze Baum wird vor Schmerz schreien. Der Baum ist aber unzerstörbar. Und mit dem Begreifen dieser Unzerstörbarkeit ist zu mir eine tiefe Ruhe gekommen.

Sytschow: Sie säen aber Chaos und Durcheinander in menschliche Köpfe. Sie sind ein Ruhestörer der beiden Lager. Nicht umsonst werden Sie Wahnsinniger genannt.

Sklar: Was tun? Ich bin gezwungen, die Rolle eines eifrigen Sonderlings zu spielen. Sonst hört mich niemand.

Sytschow: Von außen sind Sie also ein verrückter Professor, von innen aber ein Unschuldslamm?

Sklar: Drinnen gibt es niemand.

Sytschow: Noch eine frische Nachricht!

Sklar: Diese Nachricht ist mehrere tausend Jahre alt.

Sytschow: Ja, ja, etwas Ähnliches habe ich gelesen. Solche Philosophie ist aber für heiße Länder gut, etwa für Indien. Für unser Klima, besonders für das politische passt sie nicht.

Sklar: *(wirft den Kopf in den Nacken und deckt die Augen zu)*. So eine wunderschöne Mainacht! Im Garten riecht es jetzt nach Faulbaumblüten und Flieder. Hören Sie nachts Nachtigallen? Ich höre sie manchmal im Schlaf.

Sytschow: *(neugierig)*. Wie schaffen Sie das, im Inneren ruhig zu bleiben?

Sklar: Im Inneren gibt es niemand, wer in Verwirrung gerät oder Ruhe behält. Drinnen haben wir nur eine Leere, besser gesagt, eine Weite. Drinnen ist eine Weite, und ich bin niemand.

Sytschow: *(aufrichtig irritiert)*. Was heißt niemand?

Sklar: Das heißt, das bin nicht ich, wer denkt, er sei jemand. Ich bin nur ein Haus dafür, was wirklich ich ist. Und ich bin niemand.

Sytschow: Was ist denn das wirkliche Ich?

Sklar: Eine grenzenlose Weite, eine unsichtbare Quelle der Liebe, die nicht zu vernichten ist.

Sytschow: *(zusammenkauern)*. Warum ist denn mir so einsam und bange zumute? Ich bin die Macht, aber ich habe ein Magengeschwür. In meinen Händen sind hunderte Leben, doch was mit meinem eigenen Leben tun, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich Sie knacken werde, und das bringt mich in Entsetzen. *(Schielt auf Sklar)*. Ich habe etwas Angst vor Ihnen. Aber noch mehr Angst habe ich vor mir selbst.

Sklar: *(interessiert und ernst)*. Wie meinen Sie, haben sich die Kletten schon über die Iris erhoben?

Sytschow: Was?... Keine Ahnung.

Sklar: Nicht Sie haben Angst, sondern Ihr Gehirn. Die Weite kennt keine Angst.

Sytschow: Schonen Sie mich! Ich will keine Leere sein. Ich will Gefühle haben. Ich will weinen und lachen. Ich will lieben und leiden! Aber irgendwie fühle ich nichts. *(Ohne Schatten von Ironie)*. Vielleicht sollte ich Vitaminen nehmen? Mir fehlt es an Vitamin D. Es ist für die Phosphoraufnahme zuständig. *(Besinnt sich, erhebt sich bedrohend über Sklar)*. Vergessen Sie nicht, dass Ihr Fall ein schwer wiegendes

politisches Element enthält! (richtet die Lampe dem Gefangenen ins Gesicht). Sie werden Handschuhe nähen, Efim Efimowitsch, wenn Sie sich weigern, mit uns zusammenzuarbeiten! (*Marschiert durch das Zimmer. Wirft versöhnend über die Schulter*). Stehen Sie doch auf, vertreten Sie die Beine.

Sklar wendet sich von der Lampe ab, steht auf und geht an die Wand.

Sytschow: Wissen Sie, was mich am meisten empört? Ihre vollkommene Verantwortungslosigkeit. Eigenen Namen unter ein fremdes Stück zu setzen. Und dabei unter welches! Antistaatlicher Orientiertheit. Woran haben Sie gedacht, Efim Efimowitsch? Glauben Sie mir, ich wünsche Ihnen nur Gutes. Aber mir gibt noch etwas keine Ruhe, lieber Professor. Wir leben mit Ihnen in einem Land. Ist denn Ihnen alles recht? Einfach überraschend! Sind Sie denn wirklich bereit, es so zu nehmen, wie es ist? Sind Sie bereit, sich mit dem offensichtlichen Bösen abzufinden?

Sklar: Ich nehme sogar Sie so, wie Sie sind.

Sytschow: (*mit Druck*). Das Böse muss man das Böse nennen, wenn es das Böse ist. Und es ausrotten, statt auf dem warmen Ofen auszuschlafen. Von nichts kommt nichts.

Sklar: Haben Sie nie russische und deutsche Dämonen verglichen? Russische Teufelchen sind auf Freiheit scharf, auf Blut und Willkür. Deutsche Dämonen sind eifrige Verfechter der Disziplin und Ordnung: das Böse ist eine ernste Sache, es muss mit Mantel und Säbel versorgt sein. Russische Teufelchen würden sich tot lachen, weil sie wissen, dass das Böse vor Langeweile und schlechten Straßen kommt. (*Begeistert sich*). Alle russischen Teufel sind kleinkariert und spitzbübisch. Jede Sache machen sie kaputt, selbst die böse. Sie vertrinken die Ausrüstung und vergießen viel sinnloses Blut, vertraut man ihnen eine ernste Weltumänderung an. Deutsche Teufel sind große Erprober, sie werden kein überflüssiges Blut vergießen, sondern nur das, was für die Reinheit des Experiments nötig ist. Das deutsche Böse ist rational, sowie das Gute. Bei ihnen beruht das Gute auf bloßer Pragmatik. Lass das so sein! Bei uns aber ist sowohl das Böse, als auch das Gute irrational. Wir sind total unvorhersehbar. Wie kann man denn das Böse ausrotten, wenn man sich selbst nicht kennt?

Sytschow: Je nach dem, um welches Böse es geht. Wenn es ein Feind des Staates ist, zertritt das Scheusal!

Sklar: Das gilt für jedes Böse. Es ist egal, welches Böse genau du auszurotten vorhast. (*nach einer Pause*). Wie kann man ein außer Rand und Band geratenes regierendes Regime ausrotten? Mit dem Krieg darauf gehen? Aber derjenige, der einen Krieg führt, wird sich garantiert langweilen. In herbstlicher Abenddämmerung, an einem naßkalten Tag wird er seine Teufelchen aus dem Sack holen und sie tanzen lassen. Dann erweckt er in ihnen Lust auf Protestrhetorik und gibt irgendwelche Fahne in die Hand. Zeugt eine ganze Schar flacher, einseitiger Liberalen, die die Idee der Freiheit diskreditieren und sie sicherlich nicht verteidigen können.

Sytschow: (*spricht das aus, was er von sich selbst nicht erwartet*). Verstehen Sie überhaupt, dass Sie ein Kreuz über die Protestbewegung schlagen? (*Versucht, aus der heiklen Situation rauszukommen*). Wollen Sie denn unser Amt ohne Arbeit lassen?

Sklar: Gar nicht. Ich gebe Ihnen Arbeit, aber ich will die nicht für Sie tun. Ich nahm an Protestmärschen teil und demonstrierte meine friedlichen Absichten. Ich schämte mich etwas, als die brüllende Masse die regierende Partei schmähte. Der

Gedanke, wie schnell man zu einer Masse werden kann, hat mich entsetzt. Ich schwieg und lächelte verlegen.

Sytschow: Ist denn das nicht absurd?

Sklar: Nicht mehr, als mit dem Diabolos zu kämpfen. Ein Weiser hat gesagt, dass man den Diabolos nicht besiegen kann. Man kann, man muss einfach spüren, dass es keinen Diabolos gibt.

Sytschow: (*mit Eifer*). Sie wollen sagen, dass es kein Amerika gibt? Keinen Plan, uns zu schänden? Keine Selbstmord-Attentäter? Keine fünfte Kolonne? (*Geschmack daran findend*). Ich traue mich sogar, anders zu fragen. Wollen Sie sagen, dass es keine käuflichen Richter, keine fabrizierten politischen Fälle, keine Repressalien gegen Unerwünschte, keine offensichtliche Lüge gibt? (*Schaut sich um und geht zu einem vertraulichen Flüstern über, um seine Eskapade gegen das regierende Regime zu erklären*). Ich will meine Feinde achten, die Hauptsache aber, sie verstehen. Ich kann doch nicht damit kämpfen, was ich nicht verstehe.

Sklar: (*aufatmend*). Ja, es gibt Diabolos. Aber er ist von uns geschaffen. Diabolos ist keine wirkliche Realität. Das ist unsere Schöpfung. Er ist die Sache unserer Hände. Aber wenn wir in der wirklichen Realität verbleiben, dann gibt es ihn dort nicht. In der Tiefe des Daseins gibt es keinen Diabolos.

Sytschow: (*empört*). Wieder diese Vögelsprache von Ihnen!

Sklar: Ja, es gibt sowohl Prozesse, als auch Repressalien. Schachiden gibt es auch. Und Staatsdepartement schläft nicht. Damit bringt man niemand in Erstaunen. Es gibt aber auch einen anderen Abzählungspunkt. Es gibt solche innere Stille, die von nichts gestört werden kann. Und wenn du in dieser Stille verbleibst, dann gibt es keine Verwirrung, Angst oder Wut. Es gibt keine kleinliche alltägliche Gereiztheit durch das Leben und sich selbst.

Sytschow: Aha, nun treibe ich Sie in die Ecke! Wie wäre es mit Adolf Hitler? Muss man sich mit Adolf etwa auch abfinden? Mit dem absoluten Bösen? Gibt es das wohl auch nicht? Was sagen Sie, Herr Ruhe?

Sklar: Es ist notwendig, das Böse auszujäten, wichtig ist es aber, nicht zu vergessen, dass es dabei nur um das Ausjäten geht, die Wurzeln ziehst du nie raus. Die Wurzel des Bösen findest du nicht...Mein geistiger Mentor hat den ganzen Krieg mitgemacht. War verwundet. Ehrte heilig die Militärbrüderschaft. Aber in Berlin hat er gesehen, wie die Soldaten sich im Laufe von einigen Tagen in Soldatesken verwandeln: zu welcher Brutalität und Schweinerei die einzeln genommenen Sieger sinken können. Das war keine heldenmütige Armee mehr. Manchmal war es eine tollwütig gewordene Schar von Marodeuren und Gewalttätern. Eine Schar sucht und findet jedoch immer die Wurzel des Bösen.

Sytschow: Sie mögen keine Schar, keine Aktivisten. Vielleicht mögen Sie einfach keine Menschen, Sie alter Misanthrop? Sie lästern den Sieg. Spielen eine Friedenstaube. Ihr ganzes Leben haben Sie in dieser Taubensentimentalität ertränkt!

Sklar: (*gelassen*). Das Thema des Aktivismus habe ich tief durchgearbeitet.

Sytschow: Das habe ich bereits bemerkt.

Sklar: Zu einem Aktivisten kann man selbst dann werden, wenn deine Organisation nur aus einem Mann besteht – aus dir selbst... Ist denn das nicht langweilig?

Sytschow: Natürlich langweilig! Ist es denn nicht besser, sich mit der Masse zu verschmelzen?

Sklar: Ist es denn nicht besser, aus der Organisation auszutreten, die „ich und meine Überzeugungen“ heißt? Dabei aber sich mit der Masse nicht zu verschmelzen.

Sytschow: Wieso denn? Was bleibt denn von mir übrig?

Sklar: Von dir bleibt das übrig, was du in der Wirklichkeit bist.

Sytschow: Und was bin ich in der Wirklichkeit?

Sklar: Dasselbe wie ich.

Sytschow: Ein Loch von dem Kringel? Eine törichte bodenlose Leere?

Sklar: Eine Leere, die nur Gott füllen kann. Eine Weite, die kein Ende hat.

Sytschow: Antworten Sie mir auf eine Frage. Warum befindet sich so ein Mensch wie Sie immer noch hier? Warum gehen Sie nicht durch die Wand, wenn Sie eine Leere sind?!

Sklar: *(bewegt sich langsam durch das Zimmer)*. Es ist nicht wünschenswert, mit dem zu kämpfen, was es nicht gibt. Wenn du trotzdem kämpfst, beginnst du dir selbst zu beweisen, das es existiert. Zuerst schaffst du das Bild von einer uneinnehmbaren Wand, und dann versuchst, es zu zerstören. Und je mehr Mühe du dir gibst, desto höher ist die Wand. Dank deinem Kampf wird die Wand real. In Zen gibt es eine Geschichte von dem Schmetterling, der in eine bronzene Glocke reingeflogen war und sich gegen deren Wände zu schlagen begann. Er warf und warf sich auf die Bronze, nach einem Ausgang suchend. Ermattet fiel der Schmetterling nieder und gewann sofort die Freiheit. Alles, womit du unzufrieden bist, alles, was du Hölle nennst, ist von deinem Gehirn erzeugt, und je entwickelter es ist, desto deutlicher und verschnörkelter sind die Konturen der höllischen Maschine. Aber selbst darin, was du als Böses und Diabolos bezeichnest, gibt es einen großen Sinn. Diabolos brauchst du nur, um deine Kräfte zu erschöpfen, den Kampf mit dem aufzugeben, was es nicht gibt. Um dann frei zu werden.

Sytschow: Haben Sie aufgehört, mit Diabolos zu kämpfen?

Sklar: Habe ich.

Sytschow: Und ist er verschwunden?

Sklar: Fast.

Sytschow: Fast?

Sklar: Es ist unmöglich, die Finsternis mit den Händen auseinanderzujagen. Es ist genug, die Augen aufzumachen, und die Finsternis verschwindet von selbst. Nur so kommt das Verständnis für das eigene Ich und eigene Vorbestimmung. Nur so kann man sein selbst werden. Genau dies ist eine echte Aktivität. Dies wird eine entschlossene Tat. Die entschlossenste. Sie ist voll solcher inneren Würde, die du in keinem Kampf erringst. Man selbst sein bedeutet niemandem Böses zu wünschen.

Sytschow: Die Achtung zu sich selbst, zu seinem Land zu erzwingen, das ist die Hauptsache. Das heißt eben man selbst sein. Und dazu muss man kämpfen. Legst du die Hände in den Schoß – wirst weggefeht. Fällst du – wirst zerstampft. Gibst du die Gurgel frei – sie wird durchgeschnitten. Setzen Sie die rosa Brille ab! Überall sind Feinde. Wie kann man denn die Würde ohne Kampf gewinnen?

Sklar: Um man selbst zu werden, musst du zuerst begreifen, dass du nie aufgehört hast, man selbst, das heißt eine leere Schale zu sein. Um man selbst zu werden, musst du zuerst begreifen, dass du nie aufgehört hast, eine vollständige

Abwesenheit des Ich als eines einzelnen Wesens zu sein, als desjenigen, das von der Lebenswurzel abgeschnitten ist. Mit wem du auch kämpfst, beginnst du in einem bestimmten Moment mit Diabolos zu kämpfen. Du wirst zu einem Kämpfer, der nicht weiß, wofür er kämpft. Du gibst dein Leben hin, ohne zu erfahren, wozu es dir gegeben worden ist. Man muss das Leben wirklich hingeben, aber nicht der bronzenen Glocke, indem man versucht, sie zu zerschlagen, sondern dem Begreifen dessen, dass es etwas gibt, was mehr als du, mehr als die Glocke, mehr als das Leben selbst ist. Es gibt etwas, was man nicht zerstören, nicht töten, auf dessen Würde man keinen Schatten werfen kann, dessen Freiheit von der Liebe durch nichts unterscheidbar ist, sowie die Liebe von der Selbstaufopferung. Und dieses etwas, dieser Jemand heißt Himmlischer Vater. Er ist nämlich deine echte, unerschütterliche Natur. Und wenn du das begreifst, wenn du das mit dem ganzen Herzen fühlst, dann handle. Es scheint am natürlichsten, eine Fahne in die Hand zu nehmen und die Leute zu vereinigen, statt nur die Augen aufzumachen, um die Finsternis auseinanderzujagen. Aber vergiss nicht, sobald du die Fahne in die Hand nimmst, wird Diabolos in einem unbegreiflichen Moment die Früchte deiner Bemühungen ausnutzen. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, das demütig zu nehmen? Ohne jegliches Gemurre. Gerade gegen Diabolos ziehen deine Leute los, die weder Zeit, noch Kraft haben, das zu sein, was sie sind – die Leute werden nach Freiheit laufen. Am besten hat das Christus verstanden. Er hat die Fahne abgelehnt. Er hat das Kreuz auf seine Schultern geladen. Aber selbst dem gekreuzigten Christus legen die Leute zweitausend Jahre lang ihre Fahnen in die Hand. Eine Fahne braucht man, um mit Diabolos zu kämpfen, um auf Hexen zu jagen, um eine endgültige Ordnung in den Köpfen herzustellen.

Sytschow: Schweigen Sie!

Sklar: Habe ich Ihre Frage beantwortet, warum ich noch hier bin? Und nun beantworten Sie die meine. Warum bin ich überhaupt hier? Und warum ver hören Sie mich?

Sytschow: *(unsicher, wie ein Schüler)*. Sie haben eine Fahne in die Hand genommen und die Leute vereinigt.

Sklar: Das ist doch nicht Ihr Ernst! Ich habe niemand vereinigt. Eher getrennt. Jene Grundlage, auf der ich die Leute vereinigen will, ist ihnen unverständlich, sie jagt ihnen Angst ein.

Sytschow: Was ist dann, Ihrer Meinung nach, passiert?

Sklar: Eine einfache Anzeige.

Sytschow: Und wissen Sie, wer Sie angezeigt hat?

Sklar: Natürlich weiß ich das. Das waren Sie.

Sytschow: Und wissen Sie noch, wann ich Sie angezeigt habe?

Sklar: Vor zehn Jahren.

Sytschow: Das ist wahr... Und wissen Sie noch, wie ich Sie angezeigt habe?

Sklar: Sie haben Ihr politisches Stück unter meinem Namen veröffentlicht.

Schweigen.

Sytschow: Aber Sie schienen doch nichts dagegen zu haben?

Sklar: Sie hatten Talent, aber Ihnen fehlte Mut. Ich hatte Mut, aber mir hätte Talent gefehlt. Dazu kannte ich diese schmutzige politische Küche nicht. Ich wusste nicht, wie tief die Leute fallen können.

Sytschow: *(beißt seine Lippen)*. Ich kann Ihnen wieder ein Bein stellen. Aber diesmal Sie vor der Opposition schänden. Die Menschen sind so leichtgläubig. Ich brauche mir auch keine Mühe zu geben. Sie haben keinen Stein auf dem anderen von der Protestbewegung gelassen.

Sklar: *(trocken)*. Mir sind die Beweggründe klar, warum man uns nicht bekannt gemacht hat. Schreiben tun Sie gut, aber Ihre moralischen Eigenschaften lassen viel zu wünschen übrig.

Sytschow: Vergessen Sie nicht, Sie haben den ganzen Ruhm geerntet. Sie haben Ihr politisches Kapital gemacht. Sie sind Geschichte geworden. Mich aber kennen nur die Mäuse. Hören Sie die piepsen?

Sklar: Dafür sind Sie frei. Und nicht das letzte Rad am Wagen...Wollen wir vielleicht wirklich wie ehemalige Kampfgenossen reden?

Sytschow und Sklar gehen auseinander in verschiedene Ecken.

Sytschow: Philfak⁸ habe ich, wie Sie wissen, nicht beendet. Hab mir eingebildet, Schriftsteller zu sein, und bin zur Nachtlebensweise übergegangen. Trieb mich in den Kneipen herum. Machte nützliche Bekanntschaften. Plötzlich landete ich bei der goldenen Jugend, deren Väter das Land steuerten. Wurde zum Stammgast bei den Partys, bald als Lakai, bald als Hofnarr. Weiter mehr. Ich sah, wie ihre Väter schmausten. Geriet in Entsetzen und lief zu den Liberalen über. Zu den unseren. Habe ein Theaterstück geschrieben, danach aber einen Feigen gefeiert und mich davon losgesagt. Zu der Zeit sind meine alten Bekannten aus den Reihen der goldenen Jugend vom Kokain gestiegen und sich in sehr bequeme Sessel gesetzt. Zufällig haben sie an mich gedacht und mir gewinkt. Ich habe Jurfak⁹ absolviert, wurde zum Untersuchungsrichter, und nun wusste ich genau, mit wem und gegen wen ich bin. *(Holt Atem)*. Übrigens, Hofnarren brauchen alle, um jede Zeit. Sie pflegen die Illusion, dass die Welt voll Rätsel ist. Niemand weiß, wann ein Hofnarr weint und wann er lacht.

Sklar: Eine traurige Geschichte, aber eine gewöhnliche, würd' ich sagen. Als mir die „Rubinnacht“ in die Hände fiel, klammerte ich mich daran, wie ein Ertrinkender an einen Strohalm. Wir alle dachten, dass man noch etwas ändern kann. Ukrainische Roofer malten noch keine Sterne an die Hochhäuser, und der petersburger Maler zündete die Türen von FSB auch noch nicht an...Ich wusste nicht, dass dieses Stück von Ihnen stammte. Man hat mir gesagt: „Der Autor wünschte unbekannt zu bleiben“. Jemand musste jedoch bis zum Ende gehen. Sich an die Barriere stellen. *(Lächelt bitter)*. Ich gebe zu, das klingt altmodisch, aber das arbeitet noch, wie Sie sehen. Das Stück hat den Effekt einer explodierten Bombe gemacht, das System hat es aber für einen Mückenstich gehalten. Man hat mich mit keinem Finger berührt. Nun hat die Stunde geschlagen. Nach zehn Jahren begann sich der Autor selbst für mich zu interessieren. Nicht zu vergessen ist Ihr Kommentar: „Wenn sich jemand findet, der bereit ist, für den Schrei meiner Seele die Strafzeit im Knast zu verprassen, bin ich nichts dagegen“.

⁸ Philfak ist eine Abkürzung von der Philologischen Fakultät (umg.).

⁹ Jurfak ist eine Abkürzung von der Juristischen Fakultät (umg.).

Sytschow: Ja, das sind meine Worte. (*Schaut in die Ecke*). Heute habe ich verstanden, dass Sie mir den Ruhm, den Märtyrerkranz und das Märtyrertum selbst gestohlen haben. Ein Hofnarr hat sich in eine Parodie auf sich selbst verwandelt. Als leben Sie mein Leben für mich. Weil ich ein Feigling bin. Eine leere Stelle, nicht aber Ihre Leere.

Sklar: Sie sind kein Feigling. Und ich bin kein Held... Und jetzt erlauben Sie mir das zu sagen, was ich sagen muss. (*Ohne Affektation*). Ich habe Sie nicht gelehrt, Menschen zu erniedrigen. Ich habe Sie nicht gelehrt, Menschen zu brechen. Und ich habe Sie nicht gelehrt, so böse Witze mit dem eigenen Leben zu machen. Sie, Gennadiy Olegowitsch, haben die Berufung des russischen Intellektuellen völlig vergessen.

Sytschow: (*explodiert*). Was?! Was?! Sie lachen wohl, Sklar? Die Berufung des russischen Intellektuellen ist die Macht zu bedienen. Sein Platz ist im Lakaienzimmer. (*Marschiert durch das Zimmer*). Natürlich kann man einen Lakai an einen Tisch mit den Herren setzen, während einer der demokratischen Karnevale. Aber niemand wird mit ihm ein Stück Hammelfleisch teilen. Wenn er aber dieses mit Gewalt entreißt, dann hört er auf, ein Erbe von Belinski und Woloschin zu sein. Das sollte man Ihren Studenten beibringen, nicht die kirchenslawische Grammatik. In einer geschlossenen Gesellschaft entstehen Probleme, wächst die Spannung, und mit Hilfe der Intellektuellen lässt die Macht den Dampf ab. Der Intellektuelle ist eine Düse, ein Ventil. Die Macht erlaubt es erst dann und nur dem eigene Meinung zu haben, wer die Linie der Macht verstärkt. Ein Ventil, ein Hohlkopf! (*Lacht*). Das ist Ihr Intellektueller. Wenn er aber nicht versteht, dass er ein Teil einer riesigen Maschine ist, wirft man auf seine Düse ein Tuch. Die gemeinsten Geschäfte, die schmutzigste Arbeit wird von den ehemaligen Intellektuellen gemacht. Darum spreche ich mit Ihnen, Sklar. Darum lenke ich Ihnen die Lampe ins Gesicht. Der soziale Lift wartet nicht. Kommst du zu spät – ade! Ich aber strebte immer nach oben. Als Lakai bin ich dort bereits gewesen. Glauben Sie mir, ich habe gesehen, wie sie sich zerlegen. Wie sie trinken, verraten, schlafen, Geld teilen, Leichen verstecken. Und wie sich vor ihnen allerlei Gesindel kriecht. Ich habe der Rubinnacht ins Gesicht geschaut, und sie hat mir die Augen ausgebrannt... Und dann habe ich verstanden – da ist die Macht! Und diese Macht ist sehr klug, obwohl sie das selbst nicht weiß. (*Leise*). Nur eins – ich habe aufgehört zu fühlen. (*Kommt auf Sklar zu*). Ich fühle gar nichts. Nichts fühle ich. (*Geht schnell in eine andere Zimmerecke und erstarrt*).

Sklar: Sie mein Armer!

Sytschow: Bemitleiden Sie mich nicht!

Sklar: Sie fallen in eine Schlucht.

Sytschow: Besser in eine Schlucht zu fallen, als in einem Loch zu vegetieren. Ich will aber nicht, dass wir so auseinandergehen. (*Nimmt sich zusammen*). Ich bitte um eine Versöhnung, Professor, ich verlange danach.

Sklar: Ich bin Ihnen kein Feind. Letzten Endes taten wir eine gemeinsame Sache.

Sytschow: Und ob! Jetzt muss ich aber die Schmach der Vergangenheit tilgen.

Sklar: (*ohne die Selbstbeherrschung zu verlieren*). Wollen wir ehrlich sein.

Sytschow. Ihr politisch engagiertes Stück erwies sich im künstlerischen Sinne als schwach. Was mich angeht, so habe ich im Moment einer völligen Verzweiflung und einer teilweisen Geistesdämmerung alles aufs Spiel gesetzt. Als ich mich besann, war er zu spät. Ich bin komischer als Sie. Ich bin lächerlicher. Aber ich lüge mir nicht.

Sytschow: Wann haben Sie verstanden, wer vor Ihnen ist?

Sklar: Als Sie mir ein Glas Wasser gereicht... und dann einen russischen Intellektuellen genannt haben.

Sytschow: Haben Sie vor, mich auszuliefern?

Sklar: (*nachdenklich*). Nein.

Sytschow: Ihr offenes Geständnis stand nicht in meinen Plänen. Und mein Geständnis ist für Sie ein scharfes Messer. Aber Sie haben beschlossen, mich zu „knacken“. Sie sind wieder bis zum Ende gegangen. Jetzt weiß ich nicht, was tun.

Sklar: Wollen Sie mich erledigen?

Sytschow: Ja... Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe.

Sklar: (*sehr ruhig*). Komme, was da wolle, erfüllen Sie eine Bitte von mir. Übergeben Sie diesen Brief meiner Frau. (*Legt ein viermal gefaltetes Blatt Papier auf den Tisch*). Ich trage ihn schon seit einigen Tagen mit.

Sytschow: Gut. (*Sytschow sieht Sklar ausdrucksvoll an*).

Sklar: Etwas noch?

Sytschow: Darf ich ihn lesen?

Sklar: Sie hätten auch nicht fragen können.

Sytschow: Ich möchte ihn vorlesen.

Sklar: Jetzt?

Sytschow: Ja.

Sklar: Aber wozu?

Sytschow: Das ist meine letzte Chance, das zu fühlen, was Sie fühlen.

Sklar geht auf das Fenster zu. Nickt.

Sytschow: Meine Liebe! Erinnerst du dich noch an jenen Januartag? Wir legten uns. Und da kam die Tiefe. Dann schauten wir lange zum Fenster hinaus. Der Nebel, der sich über den Moskau-Fluß erhob, deckte das Nikolo-Ugreschskij Kloster. Deutlich zeichneten sich die Kronen von Birken und Espen. Der Nebel wurde immer dichter, die Baumkette immer lichter. Die einzelnen Kronen wurden matt, fielen aus der Kette, aber behielten ihre aufregenden Konturen. Du sagtest etwas, ich hörte nicht recht, traute mich aber nicht nachzufragen. Ich glaubte, eingeschlummert zu sein. Mach dir keine Sorgen um mich. Du weißt doch, man muss sich keine Sorgen machen, sondern beten. Bitte Gott um nichts. Hör ihm einfach zu. Das ist das ganze Gebet... Einmal hat unser Jüngerer viele Fehler im Diktat gemacht. Ich habe ihn gefragt: „Liebes, warum ist das passiert?“ „Ich war nervös“, - hat er geantwortet. –Nervös, nervös, die Ruhe ist irgendwohin gegangen“. Ich lachte und sagte: „Weißt du, mein Kind, die Ruhe kann nicht weggehen. Das warst du, der gegangen ist. Stell dir vor, dass die Ruhe unser Haus ist. Kann denn das Haus weggehen?“ „Nein“, - antwortete er. „Siehst du. Das sind die Nerven, die kommen und gehen. Das bist du, der kommt und geht. Die Ruhe aber bleibt immer da. Ihr kann nichts passieren“. Meine Worte haben ihn getröstet. Er hörte sofort auf, zu trauern und sich schuldig zu fühlen. Und er hat nochmals begriffen, dass er zu Hause ist und dass man ihn liebt. Und dieser Liebe kann nichts passieren. Ich liebe dich und Kinder gerade mit der Liebe, die nie vergeht.

Sklar: Haben Sie gefühlt? Haben Sie etwas gefühlt?

Sytschow: Ja.

Sklar: Was?

Sytschow: Und ich kann nicht. Nein, nein, ich kann nicht... Ich habe gefühlt... habe gefühlt. Wie kann ich sagen, was ich gefühlt habe?... Ich muss leiden, wenn ich lieben will. Und ich muss lieben, wenn ich nicht leiden will. Hab mich komisch ausgedrückt. Aber besser kann ich nicht sagen... Ich kann Sie nicht mehr loswerden...Ich habe gefühlt, was das Leben ist. Und man muss es gegen nichts tauschen.

Sklar: *(leise)*. Gut.

Sytschow: *(kommt an den Tisch und setzt sich auf den Stuhl)* Es ist notwendig, ein Protokoll zusammenzustellen. Sagen Sie mir, was soll ich schreiben?

Sklar: *(schaut zum Fenster hinaus)*. Die Wahrheit.

Sytschow: *(Fährt auf)*. Sie sind ein Wahnsinniger!.. Das wäre doch ein Selbstmord für mich.

Sklar: *(ruhig)*. Oder der Beginn eines neuen Lebens.

Sytschow: Ich schaff das nicht. Hören Sie? Schaff nicht!

Sklar. Kann sein... Versuchen Sie das trotzdem.

Sytschow sinkt auf den Stuhl. Legt ein reines Protokollformular vor sich.

Schaut lange ins Formular. Nimmt die Feder.

Sytschow: *(wendet sich an Sklar)*. Name, Vorname, Vatersname?

Vorhang

Moskau, 30. Mai 2016

Константин ЛОПУШАНСКИЙ

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ХРОНИКИ

Киносценарий

СЦЕНА 1. ДОМ ИСААКА. ИЕРУСАЛИМ. РАННЕЕ УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года н.э.

Исаак проснулся в этот день очень рано, солнце еще не всходило. Сырая утренняя прохлада проникала со двора в горницу, где он лежал на циновке, укрывшись теплой овечьей схимлой, натянув ее до подбородка. Он чуть прикрыл глаза, чтобы растянуть еще ненадолго мгновения сладкого утреннего сна, но тут донесся со двора тяжелый хриплый кашель его матери, скрип тележки, и это означало, что надо вставать. Он вздохнул, скинул с себя схимлу и вышел во двор.

- Шалом, - кивнул он матери, зачерпывая из кувшина воду.

- Шалом, - ответила она, сдерживая кашель. - **Рано встал, можешь еще поспать.**

- Да, нет. Уже время.

Мать Исаака, Мириам, складывала на тележку постиранное белье. Рядом стояли большие медные тазы, кувшины для воды, висело много веревок для сушки белья, как это всегда бывает у прачек.

- Скажи тете Реббеке, что **остальное постираю к третьему дню...Да, и попроси у нее для меня еще травы от кашля. Она помогает мне.**

- Хорошо.

Исаак вернулся в горницу, аккуратно повязал себе на лоб и левую руку коробочки-тефиллины, стягивая их плотно ремнями, затем, накинув на плечи таллиф, стал подниматься по приставной лестнице на плоскую кровлю для утренней молитвы. Мать чуть улыбнулась, глядя на него. Хотя Исааку было всего 11 лет, да и роста он был, надо сказать, небольшого, в накинута таллифе и с тефиллинами, он производил впечатление мудрого книжника-фарисея, что так умиляло ее и, вероятно, составляло предмет ее надежд на будущее сына. Между тем, Исаак расположился на кровле, вскинул руки и стал читать шему, основу основ иудейского молитвословия и литургии:

- **Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею.**

Солнце уже начало вставать и первые лучи осветили близкие кровли других домов. На многих из них также уже стояли фигуры людей в таллифах, вознося утренние молитвы.

СЦЕНА 2. ДОРОГА В ВИФАНИЮ. ЭКС. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Толкая груженную бельем тележку, Исаак двигался по широкой дороге ведущей от Иерусалима на Елеонскую гору и далее от поворота на Вифанию. Несмотря на раннее время по дороге уже группами двигались паломники, направлявшиеся в Иерусалим на Пасху. По склонам горы тут и там видны были палатки, поставленные обособавшимися здесь небогатыми людьми, решившими, вероятно, не искать себе пристанища в самом городе. Дорога на гору становилась все круче и Исаак уже с усилием, с остановками преодолевал последние метры, оставшиеся до вершины, откуда дорога поворачивала вниз, на другую сторону горы. Исаак, наконец, достиг вершины, и остановился ненадолго отдышаться. Вообще, это было его любимое место. Отсюда, с вершины Елеонской горы открывался замечательный вид на Иерусалим, на окрестные холмы и лежащие внизу дороги.

- **Эй, Исаак**, - неожиданно окликнул его кто-то.

Он оглянулся. С другой стороны горы приближался к нему мальчишка, примерно такого же возраста. Он тоже тащил тележку за собой, на которой лежали доски, привязанные веревками. Паренек подошел ближе.

- **Ты куда?** – спросил он.

- **В Вифанию**, – ответил Исаак.

- **А я в Иерихон ходил. Представляешь?** – он демонстративно надул щеки и выдохнул, показывая, как ему было тяжело преодолеть неблизкий путь.

- **Отец послал**, - добавил он, останавливаясь рядом. – **Ну, ладно. В школе увидимся.**

Они разошлись, каждый в свою сторону.

- **Не опоздаешь?** – крикнул мальчишка, уже спускаясь с горы.

- **Успею**, - ответил Исаак.

СЦЕНА 3. УЛИЦА В ВИФАНИИ. ЭКС. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Исаак резво катил тележку по безлюдной улице. Он достиг поворота и неожиданно замер, словно не поверив своим глазам. Несмотря на раннее время возле ворот одного из домов стояла огромная толпа. Сами ворота были раскрыты настежь, и можно было заметить, что люди плотной стеной стояли и во дворе, и в воротах, так что протиснуться к дому не было никакой возможности. Было много больных, увечных, некоторые принесли своих родственников на носилках, они лежали тут же на земле, на улице. Как раз в этот момент, когда Исаак подошел к толпе, одного больного на носилках стали передавать с рук в руки над головами, через ворота вглубь двора. Сразу начались крики, препирательства, многие возмущались, почему именно этого человека, а не их родственника сейчас исцелят, ведь они уже давно тут ожидают. Когда Исаак понял, в чем дело, он почему-то заволновался, засуетился, бросился вначале к толпе поближе, потом отбежал на другую сторону улицы, оставил там тележку, чтобы не мешала, и вернулся к воротам.

- **А кто, кто лечит?** – допытывался он, хватая за руки стоящих людей, не обращающих на него внимания.

- **Учитель Галилейский**, - ответила, наконец, какая-то женщина.

- **Сам?** – не отставал от нее Исаак.

- Сам, сам...

- **А вечером он будет лечить?** – снова обратился Исаак к женщине.

- **Зачем вечером?** – не поняла она. – **Стой тут, дождешься. Все стоят, видишь...**

- **Это не мне...Мою мать,... ее надо вылечить...**

Но женщина уже отвернулась от Исаака и вклинилась куда-то вперед на пару шагов. Исаак отошел, взял тележку, постоял еще какое-то время, словно решая как ему быть, затем двинулся дальше по улице. Он уже почти достиг поворота в конце улицы, когда толпа снова сильно зашумела, задвигалась, и Исаак невольно оглянулся. Он увидел, как к расступившейся толпе подошли двое рослых мужчин, причем, один из них вел за поводья молоденького ослика. За осликом семенил человек, явно крестьянского вида, и что-то доказывал им. Уже в воротах тот, кто вел ослика, почти раздраженно повернулся к крестьянину:

- **Еще раз тебе говорю, Рувим, - донеслось до Исаака, - Вот люди тебе подтвердят... Вернем мы тебе твоего ослика. Что ж, я обманываю тебя, что ли?**

Люди в воротах зашумели и тоже стали объяснять крестьянину, чтобы он не беспокоился за своего ослика. Похоже, крестьянин поверил им, так как отошел от ворот и направился обратно по улице.

СЦЕНА 4. ДОМ РЕББЕКИ. ИНТ. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Реббека, немолодая полная женщина и ее младшая сестра Сепора раскладывали белье, принесенное Исааком.

- **А где остальное?** – Реббека удивленно посмотрела на Исаака.

- **Мама сказала, остальное к третьему дню.**

- **Только не позже.** – Реббека протянула Исааку мешочек с монетами. – **Спрячь, осторожно. Я тут добавила немного вам... к Пасхе.**

- **Спасибо, тетя Реббека.** – Исаак аккуратно спрятал мешочек за пазуху. – **Мама еще просила немного травы от кашля, если можно...**

- **Ох, травы...травы...**- вздохнула Реббека, направившись вглубь горницы к шкафчику, сплошь уставленному мешочками. – **Если бы травой можно было все вылечить...**

- **Как она?** – спросила Сепора.

- **Плохо ей,** - ответил Исаак. Он помолчал. – **А вы не знаете тех людей...Где Учитель из Галилеи лечит?**

- **Лазаря, что ли? Ну, знаю, конечно...А тебе зачем?**

- **Ну, как... А если я маму сюда приведу... Он вылечит, наверно. Он же многих уже вылечил.**

- **Ох, Исаак,** - вздохнула Сепора. – **Ты видел, сколько народу там?** – она помолчала. – **Тебе нужен Иаков из Кефар-Секании.**

- **Кто это?**

- **Это его ученик. Он хорошо лечит.** – Она посмотрела в полутьму горницы. – **Реббека, а что если действительно попросить Иакова? Поговори с его сестрой, ты же ее знаешь...**

- **Знать-то, я ее знаю,** - Реббека помолчала, - **только Иакова где искать? Он у сестры теперь редко бывает.**

Она подошла к Исааку, протянула ему мешочек с травой.

- Ладно, попробую...Поговорю.

Но тут неожиданно в разговор вмешался Елисей, муж Реббеки. Он сидел во дворе и чинил колесо тележки, но видел и слышал, похоже, все происходящее в горнице.

- Вы что ребенку предлагаете? – возмутился он. – Сепора! Тебе говорю!

- Что? Что мы такого предлагаем? – сразу огрызнулась Реббека. – Занимайся лучше своими делами. Тебя тут не хватало...

- Да? Ты вспомни, что в синагоге вчера говорили: лучше человеку умереть, чем быть вылеченным минеем.

- Кто это миней? Где ты видишь минея?

- Тот человек из Назарета. Он и есть миней и ученики его. Он субботы не соблюдает. Где это видано?

- Ты видел это? Соблюдают они, или нет? Нет, Сепора, ты посмотри на него. Цадик выискался!

- Люди говорят.

- А то, что Лазаря он воскресил – не говорят? Не ты ли Лазаря хоронил месяц назад, а теперь он живой и здоровый ходит...

- Чародейство это. В Египте он научился этому.

- Идиот ты, Елисей. Вот что я тебе скажу. Лазарь, сосед твой под боком твоим живой ходит, а ты туда же – минейство!

- Нет, все-таки правильно говорили предки: счастье тому, кто не рожден женщиной. У нее просто на все всегда есть ответ. Она все знает. Вы только посмотрите...

Сепора взяла Исаака за плечи и повела из горницы.

- Пойдем, это надолго.

СЦЕНА 5. УЛИЦА В ВИФАНИИ. ЭКС. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Исаак снова катил свою тележку мимо дома Лазаря. Но теперь тут никого не было, только ворота были все еще распахнуты настежь. Это настолько удивило Исаака, что он подошел к дому и заглянул во двор. Там он увидел служанку, которая собирала лежащие тут и там пальмовые ветви.

- А где все? – спросил у нее Исаак удивленно.

- В Иерусалим пошли, – она улыбнулась Исааку. – Догоняй, успеешь еще.

СЦЕНА 6. ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ. ЭКС. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

С вершины Елеонской горы хорошо видна была дорога к Иерусалиму и по ней тут и там двигались группы паломников. Но Исаак сразу увидел тех, кого он искал. Это была самая большая колонна, и многие держали в руках пальмовые ветви, а впереди, в мелькании спин угадывалась фигура человека, сидящего на ослике. Исаак быстро догнал колонну и пристроился сзади, в самом конце. Рядом шла женщина с ветвями в руке. Она улыбнулась Исааку и протянула ему одну из ветвей.

- Осанна, Сыну Давидову! – раздалось где-то впереди, и все подхватили.

- Осанна! Осанна! Благословен грядый во имя Господне! Благословенно грядущее царство отца нашего Давида!

Исаак повторял вместе со всеми славословия, выглядывая между спин, стараясь разглядеть впереди самого Учителя Галилейского. Но отсюда, с хвоста колонны его не было видно.

- **А Иаков из Кефар-Секании тоже там?** – неожиданно спросил Исаак женщину, кивнув куда-то вперед. - **Который лечит...**

- **Иаков?** – удивленно переспросила женщина. – **Не знаю. Наверно...**

Впереди запели мессианский псалом и Исаак подхватил его вместе со всеми, так как хорошо помнил эти стихи:

- **Благословен Грядущий Царь во имя Господне! На небесах мир и слава в вышних!**

СЦЕНА 7. ДОМ И ДВОР ИСААКА. ЭКС-ИНТ. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Исаак почти бегом вкатил тележку во двор, поставил ее и тут же быстро направился в горницу. Он положил пальмовую ветвь на шкафчик, где хранились его вещи, рядом – мешочек с монетами и траву.

- **Зачем тут пальма?** – удивилась Мириам.

- **Учитель из Галилеи пришел в Иерусалим,** - объяснил Исаак радостно. – **Он теперь тут будет, наверно... Я узнаю, где он....Пойдешь и вылечишься.**

Не переставая говорить Исаак торопливо одевался к школе – надел тефиллины, обмотал руку ремнями.

- **И потом, тетя Реббека,** - продолжал он, - **обещала договориться с Иаковым, он тоже лечит...Это ученик Учителя Галилейского.**

Уже одевшись, на ходу Исаак зачерпнул чечевичной каши из миски, стоящей на столе и направился к выходу.

- **Подожди, поешь, как следует. На целый день идешь,** – строго сказала Мириам.

- **В школу опоздаю. Потом.**

- **Когда потом?** – удивилась она. Но Исаак уже выскочил со двора.

СЦЕНА 8. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Узкие улицы города были уже заполнены людьми и животными. Все лавки были открыты, и вокруг них шумно толпился народ. Исааку приходилось лавировать среди толчеи, перебегая от одного края улицы к другому, подныривая под стоящих верблюдов, что было совсем не безопасно. Однако, как он не торопился, когда он выскочил на площадь, солнце уже стояло вровень с зубцами верхнего яруса храма, а это был верный признак того, что в школу он сильно опаздывает. Не раздумывая, Исаак бросился бегом через площадь.

СЦЕНА 9. ДВОР ШКОЛЫ. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Во дворе школы, как назло, стояло несколько учителей, а с ними – кто-то очень важный из синедриона, судя по пышному одеянию. Похоже, архиерей. Они бурно обсуждали что-то. Вообще-то по правилам, и это знал даже самый младший ученик, следовало, не торопясь, чуть пригнувшись и опустив глаза, пройти мимо учителей, приветствуя их, а самое главное – обнажить голову в знак уважения. Все это, без сомнения, сделал бы Исаак в другой раз, но тут он опаздывал и, видя, что учителя заняты разговором, решил незаметно

прошмыгнуть вдоль стенки с другой стороны двора. Он осторожно, стараясь не шуметь, прошел быстро вдоль стены, отвернув голову, и уже почти достиг двери, ведущей в классы, когда раздался гневный окрик:

- **Мальчик! А ну подойди сюда!**

Исаак от неожиданности замер, пригнув плечи, затем на ватных ногах двинулся к учителям. От волнения и растерянности он и совершил то худшее преступление, которое только и мог совершить ученик – он не обнажил голову перед учителями. Так и стоял с покрытой головой.

- **Нет, вы посмотрите!** – всплеснул руками архиерей. – **И смотрит как! Нагло! А? Мерзавец!**

Один из учителей, по прозвищу Жаба, что понятно, присвоено было ему за редкую злобность, подошел и сильным подзатыльником скинул головной убор Исаака наземь.

- **Не знаешь, что надо обнажать голову перед учителями?! Идиот!** – прошипел он.

Исаак от ужаса даже ничего не ответил. И тогда прозвучало это страшное слово:

- **Мамзер!** – это сказал тот, из синедриона.

- **Я же вижу!** – продолжал он. – **Распущенный! Сын оскверненной, не иначе. Как он в школу попал к вам?**

Учителя замерли, пугливо отводя глаза. Дело шло к большому скандалу.

- **Кто тебя принимал в школу?** – архиерей придвинулся к Исааку. – **Отвечай!**

- **Рабби Симон,** – тихо ответил Исаак и тем самым совершил уже третью, возможно, еще худшую ошибку.

- **Кто??** – буквально взвился архиерей. – **Ты сказал рабби? Кто такой рабби Симон? Я, например, такого не знаю. Вы знаете такого рабби в школе?** – обратился он к учителям. – **Нет такого рабби! Есть отлученный, над которым произнесен херем, высшее проклятие за минейство! Вот кто есть!**

- **Нет, я не понимаю,** – снова повернулся к учителям архиерей, – **что у вас происходит в школе? Набрали каких-то мамзеров, которые называют вероотступников – рабби, а учителей даже не приветствуют. А? Я это так не оставляю...Это надо исследовать.**

- **Вообще-то, никогда такого не было,** – подал наконец голос один из учителей. – **Даже не знаю, что сказать...Может он болен...**

- **Да, надо исследовать его,** – оживились другие учителя. – **Какой мерзавец! Мы займемся им. Не беспокойтесь рабби Элиезер. Только не беспокойтесь, мы разберемся.**

- **Что стоишь?** – подскочил к Исааку Жаба. – **Думаешь, нам приятно на тебя смотреть? Пошел на занятия! Потом с тобой поговорим.**

СЦЕНА 10 . КЛАСС ШКОЛЫ. УТРО. ВЕСНА. 9-е НИСАНА 30 года.

Исаак вошел в класс и замер на пороге. Учитель закона молча подошел к нему, покачал головой, поигрывая тростью, словно решая стукнуть ли ею Исаака по голове, или не стоит, так как тому уже досталось сполна.

- **Идиот,** – тихо сказал ему Учитель. – **Ты что, не видел, кто во дворе стоит, не видел архиерея Элиезера из синедриона?**

После этих слов Учитель все-таки ударил Исаака тростью по голове, но ударил не больно, скорее, по необходимости, и тем самым, разрешил ему сесть. Вероятно, в классе слышно было все, что произошло во дворе, так как Давид, товарищ Исаака, да и другие ученики смотрели на него с ужасом.

- **Так, продолжай, Нахум,** - сказал Учитель, обращаясь к шуплому пареньку.

- **Что сейчас?** – тихо спросил Исаак Давида.

- **Закон о десятинах,** - шепнул тот.

Закон этот был скучный, длинный и с трудом запоминающийся и вряд ли кто из учеников мог запомнить его наизусть. Исааку оставалось только надеяться, что Нахум прочтет весь закон и до остальных очередь не дойдет.

- **В Маасрот сказано,** - начал бодро Нахум. Но Учитель перебил его.

- **Нет, ты сначала напомни нам, что сказано в Числах о десятинах из десятины. Ну?**

- **И сказал Господь Моисею,** - уже не так уверенно продолжал Нахум, - **объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую...которую...э...**

- **Которую Я дал вам от...** - подсказал Учитель, слегка стукнув Нахума тростью по голове.

- **От них в удел,** - подхватил Нахум, - **то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины.**

- **Хорошо. Теперь Маасрот,** - сказал Учитель.

- **Относительно десятин установлено правило: все, что идет в пищу, охраняется и произрастает из земли подлежит десятинным сборам...Все, что в начале пища и в конце пища, подлежит десятинным сборам, сорвано ли оно малым или большим.**

- **А что сказано, например, про анис?**

- **Анис подлежит...тоже...анис...**

- **Подлежит пошлинам и семенем и зеленью,** - продолжил раздраженно Учитель, произнося раздельно каждое слово и сопровождая это равномерными ударами тростью по голове Нахума, - **и семенной оболочкой.**

- **Все. Садись,** - закончил Учитель. – **Плохо, очень плохо, Нахум.**

- **Можно выйти?** – неожиданно попросил Давид и подмигнул Исааку.

- **И мне тоже, можно?** – раздался голос из другого конца класса.

- **Ладно,** - вздохнул Учитель. – **Можно отдохнуть. Ненадолго.**

СЦЕНА 11. КОРИДОР МЕЖДУ КЛАССАМИ. УТРО.

Исаак и Давид стояли в узком коридоре, ведущем в отхожее место, где их не могли слышать другие.

- **Ты не заметил их, что ли?** – допытывался Давид.

- **Я думал, проскочу. Они даже не смотрели в мою сторону... Этот, из синедриона... увидел.**

- **Что делать теперь будешь?**

- **Не знаю.**

- **Может, обойдется,** - пытался успокоить друга Давид.

- **Обошлось бы, если бы не этот... И откуда он взялся... Случилось, что-то?**

- Случилось, - Давид замялся, почему-то оглянулся, проверяя нет ли кого поблизости. – Даже не знаю, как тебе сказать... В общем, мне Руф сказал, он слышал...Они свиток нашли.

- Какой?

- Ну, тот... Наш...Твой, то есть. Со словами Пророка из Галилеи, Назарянина.

- Как нашли? Давид? Я же его тебе дал!

- Ну, а у меня попросил Иосиф, только переписать. И потерял, или забыл в классе. Не знаю. Сказал, потерял...Я боялся тебе говорить. А они нашли...

Иссаак молчал, стараясь осмыслить случившееся, затем тихо спросил:

- Ты думаешь, этот...из синедриона...потому, что...

- Думаю, да...- ответил Давид – Из-за этого и пришел. Вон и учителя напуганные какие-то... Оправдываются перед ним все утро. Им тоже не сахар сейчас, я думаю.

Исаак ничего не говорил больше, Давид тоже молчал. Так и стояли, дожидаясь колотушки учителя. Наконец, она прозвучала. Они молча пошли в класс.

СЦЕНА 12. КЛАСС ШКОЛЫ. ПОЗДНЕЕ УТРО.

- Так, - произнес Учитель, расхаживая между учениками, - **теперь разберем закон о совратителе и о засаде.**

Закончив фразу, Учитель как раз подошел к небольшому проему в стене, заменяющему окно, приподнялся на цыпочки и выглянул во двор. Понятно, что его сейчас более всего интересовало, что же происходит там, где его коллег отчитывал рабби Элиезер из саддукейского синедриона. Похоже, что и тему о совратителе он выбрал не случайно, а с целью выглядеть более благонадежным, если высокий гость заглянет к нему на занятие. А это вполне могло быть. Учитель отвернулся от окна, вздохнул, пошел в обратную сторону, оглядел учеников и остановил свой взгляд на Давиде.

- Давид, напомни нам, кто такой совратитель?

- Совратитель – это частный человек, совращающий частного человека, - довольно уверенно произнес Давид.

- Как поступить, чтобы изобличить его?

- Ему устраивают засаду.

- Исаак, кому еще устраивают засаду?

Это был коварный вопрос, потому что предполагал неверный ответ. Но если и было что хорошего в Исааке, так это его память, и хотя многие из учителей пытались подловить его, считая слишком умничающим, это мало кому удавалось. И в этот раз Исаак оказался на высоте, ответив точно по тексту Сангедрина:

- Ни для кого из подлежащих смерти не устраивают засады, кроме совратителя.

- Правильно. И как поступают в этом случае, Давид?

- Приводят к нему двух молодых ученых, тайных свидетелей, и ставят их во внешнее помещение, а он сидит во внутреннем, и зажигают для него светильник, чтобы видели его и слышали его голос, в то время, как он не видит. Тогда входит к нему один из ученых и говорит: скажи мне еще раз,

что ты говорил раньше. И соблазнитель отвечает, а те и другие, стоящие поодаль слышат. И тогда этот ученый призывает свидетелей, слушавших снаружи, и они хватают соблазнителья и приводят его в суд. И если суд осуждает его, то побивают камнями.

- Всегда ли приговаривают к смерти в этом случае? Исаак...

- Нет, не всегда. Суд может и оправдать обвиненного, или приговорить к бичеванию.

- От чего это зависит?

- Во-первых, требуется, чтобы оба свидетеля предостерегли его, сказали, что за такие слова он подлежит смерти. Если он скажет только: «я знаю», он смерти не подлежит. Требуется, чтобы он сказал: «я знаю и иду на это». Тогда он подлежит смерти.

- Так, правильно. Сколько дней длится разбор его дела? Меир...

Сразу же покрасневший долговязый паренек встал и начал оглядываться по сторонам, словно ища поддержки.

- Ты что, не слышал вопрос? – Учитель подошел к нему совсем близко.

- Э...считается, требуется...- начал мямлить Меир.

- Ясно, - осуждающе сказал Учитель, затем как всегда в таких случаях возвысил голос и произнес медленно, выделяя каждое слово и сопровождая свою речь ритмичными ударами тростью по голове провинившегося ученика:

- Начинают и кончают в тот же день, как при оправдательном приговоре, так и при обвинительном. Могут продолжить разбор даже ночью. Важно, чтобы это был один день. Запомнил?

СЦЕНА 13. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. ЭКС. ДЕНЬ.

Исаак и Давид шли по шумной узкой улице, на ходу разгрызая пряники, которые захватил с собой в школу Давид. - А может они не у храма? – сомневался Давид.

- У храма, – настаивал Исаак, - я же видел, куда они пошли.

Они свернули в переулок, и вышли к площади перед храмом. Здесь было очень многолюдно. Толпился приезжий народ, стремящийся посетить храм перед Пасхой и совершить жертвоприношение и очищения, бойко шла торговля возле лавок, особенно там, где продавали овец и голубей. Непривычно много было и фарисеев. Они стояли группами тут и там, но, похоже, не поучали народ, как обычно, а спорили между собой о чем-то, причем весьма бурно. Вокруг них с интересом толпились паломники, торговцы, просто прохожие, оказавшиеся на площади. Судя по доносившимся выкрикам, они обсуждали какое-то необычное событие, произошедшее здесь, на площади, совсем недавно.

- Смотри, - Исаак вдруг остановился и показал Давиду глазами на землю. Там под ногами лежало несколько пальмовых ветвей. – Они точно здесь были. Надо узнать, куда они пошли.

- Подожди здесь. Я знаю, у кого спросить, - коротко бросил Давид и тут же исчез в толпе. Исаак стоял в центре площади возле одной из групп фарисеев. Он подошел поближе к ним и прислушался.

- Говорю вам, он не принадлежит ни к какой раввинской школе, - доносился голос одного из спорящих. - **Ни последователи Гиллея, ни ученики Шаммая не считают его своим. Я это знаю, можете мне поверить.**

- А ессеи?

- И ессеи своим не считают.

- Откуда вы знаете? Вы что, их спрашивали?

- А не надо никого спрашивать. Если бы он был для них свой, они были бы тут, с ним... Это и ребенку понятно.

- Пойдем, - вдруг потянул за руку Исаака Давид. - **Я все узнал... Они были тут. Учитель Галилейский разогнал торгующих в храме,--Давид усмехнулся. - Представляешь, что здесь творилось? Саддукеи призывали побить их камнями... Потом они все ушли, куда - никто не знает.**

Давид помолчал, посмотрел на Исаака.

- Ну, что, пойдешь их искать?

- Нет, пойду к рабби Симону, - ответил Исаак. - **Я обещал ему сегодня прийти. Пойдешь со мной? Он спрашивал про тебя...**

- Да? - удивился Давид. - **Ну, пошли...Если не надолго.**

СЦЕНА 14. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. ДЕНЬ.

Улица, что вела к дому рабби Симона резко отличалась от тех, что были в центре, наполненном людьми и всевозможными лавками. В этой части города жили в основном бедняки. Низкие дома скрывались за сплошными глинобитными заборами, прохожие попадались редко. Исаак и Давид уже почти дошли к дому Симона, когда Давид неожиданно остановился.

- Ты что? - Исаак повернулся к нему.

- **Послушай, - Давид опустил глаза, - я все-таки не пойду... Не могу. Пойми, мне нельзя. Отец узнает - убьет.**

- **Да, кто узнает, что ты был у рабби?**

- **Узнают, - он понизил голос. - Вон видишь, торговки стоят. Они знают моего отца. Они нам молоко носят.**

- **Ну, как знаешь, - Исаак отвернулся и пошел дальше один.**

- **Исаак, - окликнул Давид. - Ты не знаешь моего отца. Я правду говорю.**

Но Исаак ничего не отвечал. Он скрылся за поворотом.

СЦЕНА 15. ДОМ И ДВОР РАББИ СИМОНА. ВЕЧЕР.

Ворота были приоткрыты, и Исаак сразу вошел во двор, не стуча, как близкий человек, или как член семьи.

- **Шалом, тетя Рахиль, - поприветствовал он женщину, разводящую огонь в печке, жену Симона. - Шалом, Исаак, - улыбнулась она приветливо. - Проходи, рабби ждет тебя.**

Исаак снял на пороге обувь и вошел в горницу. Рабби ходил вдоль горницы туда сюда. Он кивнул Исааку, чуть улыбнувшись. - **Садись, - тихо сказал он и снова продолжил движение. Исаак заметил, что в горнице есть еще один человек. Это был молодой законник Авирон, человек малопрятный, с хитрыми, всегда полуприкрытыми глазами.**

- **Исследуйте, и увидите,** - произнес Авирон, продолжая, вероятно, затянувшийся спор, - **не может прийти пророк из Назарета.**

- **Почему же не может?** – тут же парировал рабби. – **Где это сказано, уважаемый Авирон? Где?**

- **Ой, рабби Симон,** - вздохнул громко гость. – **И большой синедрион объявил уже, что кто узнает, где этот человек, чтоб сообщили. Это вам ни о чем не говорит?**

- **А что искать его? Он у храма сегодня учил, все видели. И никто не посмел поднять на него руку. А это вам ни о чем не говорит?... И потом – кто объявил его? Саддукеи. Фарисеи не объявляли. Кстати, многие фарисеи ходят к нему.**

- **Но многие из них были и на том заседании, где объявили его,** - погрозил пальцем Авирон и тут же встал. – **Ладно, трудно спорить с вами, рабби, ох, трудно. Не буду мешать. Я вижу у вас ученик.**

- **Как тебя зовут? Чей ты?** – повернулся он к Исааку.

Но тут неожиданно вошла Рахиль и сразу вмешалась, не дав Исааку ответить:

- **Зачем смущаете его?** – довольно резко сказала она. – **Я не пойму, Авирон. Какая вам разница – ученик и ученик. Зачем вам его имя? Не понимаю...**

Авирон поспешно ретировался, растерявшись от такого напора Рахили. Рахиль поставила кружку перед Исааком.

- **Вот, выпей, хорошее молоко. Я сегодня брала. Только пойдй помой руки,** - напомнила она. Заметив, что Авирон уже вышел со двора, она повернулась к Симону:

- **И чего он ходит, вынюхивает, выпрашивает... Зачем ты егопускаешь?**

- **А как я могу его не пускать? И вообще, не вмешивайся. Это не твое дело.**

- **Сразу - не вмешивайся. Сразу мешаю,** - обиделась Рахиль. – **Я только ребенку молока принесла. Голодный, наверно, после школы.**

- **Нет, я не голоден. Спасибо, тетя Рахиль,** - ответил Исаак, возвращаясь в горницу.

- **Пей, знаю, что голоден. В школе все хорошо? Как мама?**

- **Рахиль,** - укоризненно произнес Симон.

- **Все, ухожу... ухожу...**

Она тут же вышла во двор. Симон подождал немного, затем подошел к стене в углу, где имелся выступ, вынул камень из этого выступа, и из открывшейся дыры тайника достал несколько свитков. Он положил их на стол перед Исааком.

- **Это новые изречения. Совсем новые,** - сказал он. – **Можешь переписывать...**

Симон положил на стол заготовленные полоски чистого пергамента. Тем временем, Исаак с волнением развернул уже первый свиток.

- **Я есмь путь, истина и жизнь,** - медленно и удивленно вслух прочел он. Помолчал, осмысляя прочитанное и поднял глаза на Симона. – **Он так сказал? Симон кивнул.**

- **Никто не приходит к Отцу,** - продолжил Исаак, - **как только через Меня.**

Симон неожиданно встал и снова начал ходить из угла в угол.

- Я тебе сейчас что-то скажу... Очень важное...Поэтому...- Симон помолчал, - поэтому, поклянись выслушать это с благоговением.

Исаак изумленно посмотрел на учителя, словно сомневаясь - не шутит ли он. Но Симон явно не шутил, его взгляд был строгий и торжественный. Исаак тут же произнес скороговоркой формулу клятвы:

- Жив Господь Бог Израилев, Господь отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Клянусь.

- Хорошо, - сказал Симон. - Так вот...Я исследовал... Все...Слова, поступки, чудеса. Соответствия...Я Лазаря видел. Говорил с ним... И вот, что я тебе скажу. Пророк Галилейский, Назарянин - это тот, кому должно явиться. Это именно он.

- Машиах? - чуть слышно и удивленно произнес Исаак.

Симон кивнул головой несколько раз, затем только произнес:

- Мессия... Сын Божий.

СЦЕНА 16. ДОМ И ДВОР ИСААКА. НОЧЬ.

Была уже ночь, когда Исаак вернулся домой. Осторожно, стараясь не шуметь, он снял обувь и вошел в горницу.

- Хочешь есть? Там чечевица, я оставила тебе, - донесся из полутьмы голос матери.

- Спасибо. Спи.

Исаак бережно положил свитки в шкафчик в своем углу, где у него хранились все его немудреные сокровища. Сел рядом. Так и сидел в темноте, размышляя о чем-то.

- Ложись, поздно уже, что ты сидишь? - удивленно сказала Мириам.

- Сейчас.

Исаак накинул на плечи таллиф, вышел во двор и поднялся на кровлю. Он уже приготовился молиться, но неожиданно замер, подняв глаза вверх. Там, прямо над собой он увидел огромное звездное небо. Сегодня оно показалось Исааку таким близким, а звезды такими яркими, как никогда ранее. Он лег на спину, продолжая смотреть на звезды, не в силах отвести от них взгляда.

- Я есмь путь, истина и жизнь, - прошептал он.

СЦЕНА 17. ШКОЛА. ЭКС. ДЕНЬ. 10-е НИСАНА 30 года.

Во дворе школы толпились испуганные ученики, выстраиваясь вдоль стен в шеренги. Учителя суетились между ними, поторапливая, расталкивая. Наконец, все выстроились и замерли. В центре двора, гневно оглядывая учеников, стоял архиерей Элиезер, рядом с ним - еще двое, тоже, похоже, из синедрiona. По крайней мере, одного из них хорошо знали, это был законник Адда. Тут же стоял, пугливо моргая как всегда, рабби Йосе, глава школы. Из учителей рядом с ними находился только Жаба, остальные стояли чуть поодаль, возле учеников, вроде как тоже провинившиеся.

- Благословен Господь Бог, - начал Элиезер громогласно, - предохраняющий Израиль от совратителей - еретиков, от богохульников и вероотступников. Бог видит истину и открывает злодеяния минеев. Вот и открылось нам, по воле Бога, что среди вас есть отщепенцы - вероотступники, которые

приносят в школу минейские еретические свитки. Да, отсохнет преступная рука, совершающая такое злодеяние. Один такой свиток мы нашли и хотим исследовать – чей это свиток.

Исаак стоял ни жив, ни мертв, уже понимая, к чему идет дело.

- Пусть каждый из вас помнит, - продолжил Элиезер, - что тот, кто свидетельствует для раскрытия преступления совершает благое дело и освобождается от наказания, даже если он невольно прочел или услышал нечто минейское. Тот же, кто скрывает преступника сам становится авод-зара, и достоин такого же наказания. Помните, что говорили наши предки, кто разрушает ограду Закона – на того придет казнь.

Элиезер сделал небольшую паузу, оглядел всех, затем только продолжил:

- Так...Кто первый будет свидетельствовать? Итак, чей это свиток?

Элиезер сделал жест в сторону Жабы, а тот высоко поднял, показывая всем злосчастный кусок пергамента. Однако, ученики стояли молча. Элиезер подошел поближе к шеренгам, всматриваясь в лица. Ученики отводили глаза, но молчали.

- Не заблуждайтесь, - с угрозой в голосе произнес Элиезер, - те, кто будут молчать, будут наказаны, как скрывающие преступление.

Жаба вдруг выступил чуть вперед, гипнотизируя взглядом Нахума из класса Исаака.

- Ну? Нахум! – позвал он.

- Что? – вздрогнул тот.

- Что-что? Выйди сюда! – приказал Жаба. – Что ты говорил мне, ну? Повтори.

Нахум сделал несколько шагов из шеренги, нелепо остановился, не зная на кого смотреть и кому отвечать. Уши его горели, словно рубиновые.

- Ты видел этот свиток? – почти благожелательно спросил Элиезер.

- Да...его мне показал Иосиф.

- Иосиф? Вот как... А что там, в свитке, ты знал?

- Он сказал: там слова пророка из Назарета.

- Самозваного пророка, - раздраженно поправил архиерей, и продолжил. – Значит, это свиток Иосифа?

- Нет...

- А чей?

- Он сказал... Исаака... Что у Исаака много таких... Он их переписывает.

- Переписывает? – переспросил Элиезер, и многозначительно посмотрел на двух других из синедриона. Ропот ужаса пронесся по двору.

- Гад! – прошептал Давид. – Задущу его!

- Продолжай, Нахум, - снова мягко сказал Элиезер. – Хочешь что-то еще добавить?

- Нет. Это все.

- Что ж, тогда ответь нам: ты можешь поклясться на Законе, что ты сказал правду?

- Да...

- Можешь пить воду свидетельства?

- Да...

- Хорошо. Стань на место, Нахум. И впредь надо быть тебе осторожным, нельзя быть беспечным. Понял?

- Да, рабби.

- Так, теперь...- Элиезер сознательно выдержал паузу. – **Теперь Иосиф!**

Жаба тут же потащил испуганного мальчишку в центр. Тот упирался и хныкал.

- **Что я? Я только взял посмотреть...Я даже не читал...**- всхлипывал он.

- **У кого ты взял свиток?** – строго спросил Элиезер.

- **Не помню. Я нашел...Он лежал...сам, на полу.**

Жаба со всей силы ударил его тростью по спине. Иосиф упал, тут же встал и начал реветь.

- **Чей свиток, тебя спрашивают!** – прокричал Жаба. – **Отвечай!**

- Иса-ака...

- Ага, значит, Исаака... – подытожил Элиезер. – **Что же ты, Иосиф, нам лгал, что нашел свиток на полу? Ты получишь наказание за это – 39 ударов тростью. Стань на место.**

- **Что ж,** - обратился уже ко всем Элиезер, - **Закон говорит: в устах двух свидетелей достоверно каждое слово. Был назван Исаак...Теперь Исаак!**

Жаба сразу направился к Исааку, но тот вышел сам и стал в центр.

- **О! Так это вот кто – Исаак,** - удивился Элиезер и злобно слащавая улыбка появилась на его лице. – **Тот, кто не приветствует учителей и поступает так, как поступают мамзеры... Теперь понимаю. Это не случайно. Да, это придется исследовать очень серьезно...**

Элиезер покивал головой, но вдруг резко и злобно крикнул:

- **Заклинаю тебя Богом Адонаи и Богом Израиля, твой это свиток, или нет?!**

- **Мой,** - тихо ответил Исаак.

- **Не слышу!** – рявкнул Элиезер. – **Повтори!**

- **Мой!**

СЦЕНА 18. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. ДЕНЬ.

Исаака тащили по улице, цепко удерживая за плечи. Тащил архиерейский стражник – огромный детина. За ним плотной стеной шли архиереи и учителя, чуть поодаль – ученики. Их было немного, небольшая группа, то ли сочувствующих, то ли любопытных, в основном те, кто учился в классе Исаака. Уже не понимая ничего от отчаяния Исаак вырывался, поджимал ноги, снова упирался ногами, вздымая пыль. Но все было бесполезно. Он пытался еще что-то выкрикнуть про мать, про то, что она больна и не переживет позора. Но его крик словно только подзадоривал всех и они начинали идти быстрее и быстрее. Прохожие в испуге шарахались в стороны, прижимаясь к стене.

СЦЕНА 19. ДВОР ИСААКА. ДЕНЬ.

Так вот, всей толпой они и ввалились во двор. Страшно, истошно закричала Мириам, понимая, что произошло что-то ужасное, и начала бить себя руками по лицу, бухнувшись на колени:

- **Горе мне, горе матери, которая тебя родила, горе тебе за тот грех, который ты совершил! Что? Что он сделал? Исаак! Что ты натворил?!** Архиереи подошли к ней.

- **Встань, женщина!** – сказал Элиезер и, оглянувшись к толпе, уже сгрудившейся у ворот, командовал: - **Тихо! Тихо все!**

- **Мы должны исследовать тебя, женщина, и твоего сына,** - обратился он к Мириам. - **Отвечай не обманывая, не пытайся скрыть правду... Итак, кто ты? Чья ты дочь?**

- **Я происхожу из рода Авиудова,** - задыхаясь, сдерживая кашель, произнесла быстро Мириам.

- **Как зовут тебя?**

- **Мириам...Дочь Ахима-каменщика из Хеврона.**

Элиезер посмотрел на Адду, но тот только развел руками, дескать, не знаю ничего про такого.

- **Кто твой муж, Мириам? Где он?** – продолжал Элиезер.

Мириам закашлялась, отдышалась и торопливо произнесла:

- **Десять лет назад...он ушел от меня, и я... я ничего о нем не знаю. Его звали Закхей... Я не знаю, где он сейчас...**

- **Чей сын твой ребенок?**

- **Моего мужа, клянусь! Когда я жила с ним...Я никого больше не знала.**

- **Не знала,** - неприязненно повторил Элиезер. - **Мы же думаем иначе: мы видим, что твой ребенок мамзер!**

Мириам невольно вскрикнула, услышав это страшное слово – приговор.

- **Да, мамзер!** – продолжал Элиезер. - **Сын оскверненной! Рожденный в прелюбодеянии!**

- **Бог ведает истину,** - закричала она истошно, - **ибо видит он мое дело и судит меня по праву! Нет на мне греха прелюбодеяния! Спросите соседей, они знали Закхея.**

- **Я знала его,** - вдруг выкрикнула женщина из толпы. - **Мое имя Зелома.**

Но Элиезер тут же сделал резкий жест в ее сторону, словно отмахиваясь.

- **Не может женщина свидетельствовать по закону нашему,** - громко сказал Адда. - **Вы что, никогда не читали об этом? Неучи!**

- **Нет на мне греха этого,** - зарыдала Мириам и тут же закашлялась, схватившись за горло.

- **Отстаньте от нее! За что вы ее мучаете? Сами вы злодеи и сыновья блудницы!** – вдруг выкрикнул, что было сил Исаак. - **Сами! Сами! Порождения ехидны!**

Толпа ахнула. Стражник поначалу тоже растерялся, опешил, но затем резко, с силой ударил Исаака по спине, и тот упал наземь.

- **Нет, вы слышали?!** – обращаясь к толпе, выкрикнул Элиезер. - **Какие еще нужны доказательства? Может благочестивый ученик так оскорблять учителей Закона?!** Может, я спрашиваю вас?

- **Это мамзер!** – заключил Элиезер. - **Нет никаких сомнений. И потому мы объявляем тебе, мерзавец,** - архиерей вытянул руку с указующим перстом, обращаясь теперь непосредственно к Исааку. - **Отлучение! Чтоб ноги твоей больше в школе не было. Никогда! И счастье твое,** - добавил он, - **что ты еще мал для того, чтобы быть побитым камнями за вероотступничество.**

Толпа шумно стала выходить из двора. Исаак оставался сидеть на земле. Несколько соседей, оставшихся стоять в воротах еще какое-то время, смотрели

на него, на темный проем горницы, откуда доносились рыдания Мириам. Затем и они ушли.

Остался стоять в воротах только Давид. Он подошел и молча сел на землю, рядом с Исааком.

СЦЕНА 20. ДОМ И ДВОР СИМОНА. ЭКС-ИНТ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Исаак сидел за столом в горнице Симона и тихо плакал.

- **Она не переживет это, - бормотал он. – Такой позор... Все видели...Она так хотела, чтобы я учился...А теперь что...как жить теперь.**

Симон нервно ходил по привычке из угла в угол. За столом напротив сидела Рахиль, вздыхала. Лицо ее было мокрым от слез.

- **А что было в этом свитке? Это какой свиток?** – спросил неожиданно Симон.

- **И ототрет Бог всякую слезу... - тихо сказал Исаак, - и смерти не будет... И дальше там...большой свиток. – Он помолчал. – Это мой любимый свиток. Никому не давал его никогда, а тут...**

- **И ототрет Бог всякую слезу, - повторил с горечью Симон. – Это же из Исаяи. Боже мой! Злобные невежды! Пророка Исаяю в еретики записали... Да после этого надо всех идиотов выписать, а их вписать первыми... А кто был этот второй законник?**

- **Адда. Из саддукейского синагога.**

- **Адда...- покачал головой Симон. – Больше чем римляне пролил человеческой крови. И все мало ему. Ну, ничего. Видит Бог истину и наказание его не замедлит.**

Рабби остановился, подошел к столу, сел. Посмотрел на Рахиль, посмотрел на Исаака. - **Вот что, Исаак, - сказал он спокойно, словно приняв какое-то решение. – Пойдем, я провожу тебя. Я хочу поговорить с твоей матерью... Надо успокоить ее...Я знаю, что надо сказать.**

СЦЕНА 21. ДОМ И ДВОР ИСААКА. НОЧЬ.

Уже спустилась глубокая тьма, когда они подошли к дому Исаака, вошли во двор. Было тихо вокруг, все словно вымерло. Исаак вошел в горницу. Мириам лежала на лавке, но не спала. Ее глаза были открыты.

- **Мам, - тихо позвал Исаак. - К нам рабби Симон пришел.**

Мириам чуть повернула голову, но ничего не сказала.

- **Выйди, - шепнул Исааку Симон.**

Исаак вышел во двор, поднялся по лестнице на кровлю, лег, положив руки под голову, и стал смотреть в бесконечное звездное небо. Но сегодня оно казалось ему слишком холодным и слишком далеким.

СЦЕНА 22. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КНИГОХРАНИЛИЩЕМ. 11-е НИСАНА 30 года.

Рабби Симон и Исаак шли через небольшую площадь, направляясь к массивному зданию книгохранилища. Неожиданно Исаак остановился. Симон прошел еще несколько шагов, затем удивленно оглянулся.

- **Что такое, Исаак?**

- **Рабби, - Исаак опустил глаза, - я не пойду...Я не смогу стать масоретом. Меня не примут... Вам будет стыдно за меня.**

- **Так, - Симон подошел ближе. – Скажи, чего ты боишься?**

- Вы сами сказали – масореты заучивают всю Библию наизусть. Так?
- Так.
- Как я смогу запомнить всю Библию?
- А как другие могут? Заучивают и поправляют переписчиков и все делают, что надо... Но только не сразу. На это уходят годы. Да... Так на любую учебу уходят годы... Скажи, ты выучил наизусть книгу пророка Даниила, когда я тебе велел?
- Да.
- Долго учил?
- Четыре недели... На праздник суккот закончил.
- Другие полгода учат. А книгу Иеремии?
- Чуть больше... К хануке.
- Вот вспомни, у Иеремии: «но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь».
- И учти, Исаак, - Симон чуть понизил голос. – Не зря масореты пользуются таким уважением... Лучше этой школы в Иерусалиме нет. И нигде нет. Тебе 11 лет, если сейчас бросишь учебу – ты уже не будешь учиться никогда. Ты хочешь быть торговцем? Ремесленником? Сборщиком податей?
- Исаак молчал. Симон взял его за плечи.
- Пойдем. Примут тебя, я уверен.

Они подошли к высоким дверям книгохранилища. У входа стояла группа книжников – фарисеев. Двое из них уважительно поздоровались с Симоном, похоже, его тут хорошо знали. Симон и Исаак вошли в здание. Когда за ними закрылась дверь, один из книжников, наклонившись, что-то тихо сказал другим, кивнув головой в сторону двери.

СЦЕНА 23. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. КОРИДОР. ДЕНЬ. 11-е НИСАНА 30 года.

Симон и Исаак шли по длинному широкому коридору, сплошь уставленному вдоль стен свитками. Свитки были большие, выше роста самого Исаака, такие же, какие бывают обычно в синагоге. Исаак знал, что Иерусалимское книгохранилище – одно из самых больших в мире. Поэтому он с робостью и восхищением оглядывал эти бесконечные сокровища человеческой мудрости. Несколько раз им попадались служащие, судя по кожаным фартукам, надетым на них. Тяжело дыша, они несли куда-то огромные свитки. На пути им попалось полукруглое помещение, выходящее в коридор, Симон заглянул туда, ничего не увидел, пробормотал: «где же он» и повел Исаака дальше.

СЦЕНА 24. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. МАСТЕРСКАЯ РЕСТАВРАЦИИ. ДЕНЬ.

Наконец, Исаак и Симон вошли в какое-то большое помещение. На полу лежали развернутые свитки, а служащие, в основном это были молодые люди, ползая на коленях, реставрировали пергамент, истершийся по краям. Пахло яичным клеем и мукой.

Один из юношей радостно улыбнулся Симону и подошел к ним.

- Шалом, рабби.

- Шалом, Марк. Вот познакомься – это Исаак. Мой ученик.

Марк приветливо улыбнулся.

- Хотите устроить его к нам в мастерскую? – спросил он.

- Нет, не к вам. В школу для масоретов.

- Да? – Марк уважительно посмотрел на Исаака.

- Скажи, - перешел на шепот Симон, - **ты не знаешь, где сейчас рабби Дафан. В круглой комнате никого нет...** - Марк склонился к уху Симона:

- Он у переписчиков. Они сегодня закончили Книгу Судей Израилевых. Говорят, много ошибок. Рабби Этэр считает, что надо все переписывать.

- Ну, да... Понимаю. – Симон о чем-то задумался ненадолго. – Марк, пусть пока Исаак посидит у вас в мастерской.

- Пойдем, - позвал Марк Исаака.

- Ты что, действительно хорошо запоминаешь тексты? – спросил он, когда Симон вышел из помещения.

- Рабби считает, что хорошо...Но я могу работать и в мастерской, - вдруг добавил Исаак, - если возьмут...

- Раз рабби за тебя просит, я думаю, возьмут куда-нибудь. Не волнуйся. А переписывать ты умеешь?

- Я рабби Симону помогаю, - радостно и довольно громко сообщил Исаак и собрался еще что-то добавить.

- Тсс... - Марк приложил палец к губам. – Не здесь. Я понял.

- Марк, - позвал пожилой мастер из другого конца помещения.

- Иду, дядя Саул, - и повернувшись к Исааку добавил. – Посиди пока тут, в сторонке.

СЦЕНА 25. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. КОРИДОР. ДЕНЬ.

- Это очень способный мальчик, рабби Дафан, – Симон настойчиво убеждал на ходу главу школы масоретов.

- Но вы же сами сказали – ему одиннадцать лет, - возражал тот. - Он «катон». Будет ему тринадцать, станет «сыном закона», другое дело. Тогда пусть и приходит.

- Ему учиться надо, - настаивал Симон. – Иначе пойдет в подмастерья к ремесленникам, в торговлю...К учебе уже не вернется. Вы же знаете, как это бывает... Обидно. Поверьте, это особый случай. Я бы не стал просить просто так... Он уже книгу пророка Даниила наизусть знает, книгу Иеремии. Сейчас Исайю заучивает.

- Не рано ли? – удивился Дафан. – Как-то не верится.

- В том-то и дело, - обрадовался Симон. – Я же говорю, особый случай. Я прошу вас, исследуйте его... И потом, он может быть переписчиком, помогать в мастерской. Он очень трудолюбивый.

- Ну...не знаю, - не выдержал напора Дафан. – Ну, приводите. Где он?

- Он тут. Сейчас приведу.

СЦЕНА 26. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. МАСТЕРСКАЯ РЕСТАВРАЦИИ. ДЕНЬ.

Симон решительно, но тихо зашел в мастерскую и пальцем позвал Исаака. Тот быстро вскочил и вышел вслед за Симоном. Марк кивнул ему вслед, дескать, не волнуйся.

СЦЕНА 27. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. КОРИДОР. ИНТ. ДЕНЬ.

Взяв за плечо, Симон вел Исаака по коридору.

- **Ничего не бойся**, - наставлял он, - **что помнишь, то и читай**.

Он подвел его к занавеси, закрывающей помещение школы масоретов.

- **Ну, все. Иди... Я буду ждать тебя в мастерской**.

Исаак вошел вовнутрь, а Симон принялся ходить туда-сюда вдоль занавеси, подошел к ней, прислушался, снова начал ходить.

- **Шалом, рабби**, - поприветствовал его неожиданно молодой человек с кувшином клея в руках.

- **Шалом, Филипп**, - ответил Симон. - **Рад тебя видеть**.

- **Что, снова ученика привели к нам?**

- **Привел**.

- **Ваших учеников у нас любят**.

Филипп уже двинулся было дальше, но Симон окликнул его, подошел к нему и тихо спросил:

- **Ты не видел, многоуважаемый Никодим здесь сегодня? Он приходил?**

- **Где-то здесь**, - ответил Филипп. - **Я видел его с рабби Этэром**.

СЦЕНА 28. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. ВОЗЛЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕПИСЧИКОВ. ДЕНЬ.

Возле помещения переписчиков стояли двое – Никодим, нарядно одетый, в длинных одеждах, как и подобает вождю народа израильского и рабби Этэр, главный из переписчиков. Симон остановился в стороне, не приближаясь, чтобы не мешать их беседе. Между тем, Никодим заметил Симона. Попрощавшись с рабби Этэром, он, не спеша, подошел к Симону и, оглянувшись, тихо сказал:

- **Я же просил тебя Симон, не надо подходить ко мне в таких людных местах**.

- **Да тут сейчас никого нет...** - Симон кивнул в сторону пустого коридора.

- **Везде, дорогой Симон, есть уши и глаза...Даже здесь, уверяю тебя**. – Никодим тяжело вздохнул и направился по коридору. – **Пойдем**.

СЦЕНА 29. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. КОМНАТА-ГОРНИЦА. ДЕНЬ.

Они вошли в небольшое помещение. Это была комната – горница, для почетных гостей, а их в книгохранилище приходило немало. Похоже, Никодима здесь уже ждали – на столе стоял изысканный арабский чайник, тарелка со сладостями. Возле стола суетился мальчик – прислужник.

- **Садись**, - пригласил Никодим и кивнул в сторону стола. – **Настоящий арабский чай. Из Александрии...**

Мальчик наполнил две чашки, поставил их перед гостями.

- **Можешь идти**, - отпустил его Никодим. Симон и Никодим сделали по глотку. Помолчали.

- **Мне сказали, ты был у...**- начал Симон.

- **Да-да, я понял. Можешь не продолжать...**- Никодим перебил Симона, не дав тому произнести запретное имя. Помолчали, неспешно отхлебывая чай.

- **Ты говорил с...ним?** – не выдержав, спросил Симон. Никодим кивнул.

- **Не очень долго**, - сказал он. – **Была уже ночь. Было поздно. Я же не мог придти днем**, - добавил он, словно оправдываясь, - **меня могли увидеть**.

- **Ну, и что ты думаешь? Что ты скажешь?**

- **Что я скажу...** - Никодим вздохнул. – **Не знаю. Конечно, он пророк. Великий пророк и учитель**.

- И только?
- Что значит – и только?
- Я думаю, он больше, чем пророк, - уверенно сказал Симон. Снова помолчали.
- Может и больше, - вдруг сказал Никодим. – Как знать. Кто может это сказать с уверенностью? Все-таки, - он замялся, подыскивая слово, - должно быть еще что-то, чтобы подсказало, чтобы указало на него...Если ты имеешь в виду...ну, понимаешь...

Снова оба умолкли.

- Скажи, - Симон внимательно посмотрел на Никодима, - ты был на том заседании большого синедриона, где Кайяфа сказал о жертве?
- Был.

- Не помнишь, как он сказал? О жертве за народ Израиля, или за все народы?

- Насколько я помню...за все народы.

- И вы поверили, что ему было дано такое пророчество? Кайяфе?

- Не понимаю тебя. По закону, ты же знаешь, первосвященнику дан дар пророчества. Так было всегда... Разве мы можем усомниться в этом?

- Я усомнился в Кайяфе, и уже давно. А ты разве нет? Понятно же, что он говорил о Назарянине.

- Как говорит Гамалиил: все предусмотрено Богом, но человеку дана свобода.

- Свободу Кайяфе вы дали сами, когда позволили ему стать первосвященником.

- Ну, что теперь говорить об этом, Симон...- Никодим помолчал.- Хотя ты прав, конечно, это уже все видят. И про Кайяфу, и про Ханана.

- Про Ханана, ты вовремя вспомнил...Могу рассказать тебе кое-что, - неожиданно переменял тему Симон, улынувшись. – Ты не был в храме первого дня, когда Назарянин разогнал торгующих?

- Нет, не был...Но мне рассказали, - Никодим тоже усмехнулся.

- Рассказали, - повторил с иронией Симон. – Это не то. А я там был. Это надо было видеть. Симон засмеялся и продолжил:

- Выскочил Ханан со своими законниками. Лицо бледное, губы дрожат... Я думал, его удар хватит. Как же - торгующих тронули! Все же знают, что у него самого четыре лавки - хануיות... А в них, между прочим, может ты этого не знаешь, «чистого» голубя за золотой уже продают перед Пасхой.

- Голубя! – Симон поднял палец, сделав паузу. – За золотой! А? Как тебе это?

- Ох, Симон, Симон, - вздохнул Никодим. – Сто раз тебе говорил и скажу еще раз: язык твой – враг твой. Будь осторожнее...

- Да, я знаю, знаю... Симон замолчал, задумался. Так и сидели молча, прихлебывая чай.

СЦЕНА 30. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КНИГОХРАНИЛИЩЕМ. РАННИЙ ВЕЧЕР.

Симон, Марк и Исаак вышли из книгохранилища.

- А кто из них главный учитель? – спросил Исаак, продолжая разговор.

- Рабби Дафан, он глава школы, - ответил Симон и улыбнулся. – Не бойся, он только кажется строгим. Он добрый.

- Как все успеть, – вздохнул Исаак.
 - В мастерской ты будешь работать вместе со мной. Я помогу тебе, - сказал Марк. – Не волнуйся. Научишься... Симон остановился в центре площади.
 - Ну, я оставлю вас здесь, - сказал он.
 - Спасибо вам, рабби, - Исаак замялся, не зная, что еще добавить. – Спасибо...
 - Благодарю Бога, а не меня, - ответил Симон, повернулся и исчез в толпе.
- Марк и Исаак свернули в одну из улиц.

СЦЕНА 31. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. РАННИЙ ВЕЧЕР.

Марк и Исаак шли по узкой городской улице, направляясь к дому Марка. Здесь было тихо, дома за забором большие, в два этажа, дворы просторные. В этой части города жили в основном состоятельные люди.

- А ты видел его? – продолжил беседу Исаак.
- Кого?
- Учителя Галилейского.
- Один раз... Издали... Я знаю его учеников. Они бывают у нас в доме.
- Да? – Исаак даже остановился от удивления. – А какие они?
- Ну, не знаю... какие. Обыкновенные.
- А Иакова из Кефар-Секании знаешь? Который лечит?
- Знаю. А тебе зачем? Ты болен?
- Моя мать тяжело больна, - Исаак помолчал. – Ты не знаешь, как его найти, Иакова?
- Он иногда приходит к нам ночевать, когда остается в Иерусалиме. Вообще, чаще всего он ночует в Вифагии, там, вроде, сестра у него.
- Марк, а ты можешь... Ну, если он придет...
- Если придет, я скажу ему про тебя. Думаю, он поможет. Он никому не отказывает.

СЦЕНА 32. ДВОР И ДОМ МАРКА. ВЕЧЕР.

Они подошли к воротам двухэтажного дома. Марк постучал. Ворота открыла придверница-служанка Рода. Они вошли во двор.

- Это Исаак, Рода, - сказал на ходу Марк. – Он будет к нам приходить.

Из горницы первого этажа вышла миловидная женщина, Мария, мать Марка.

- Опять ты поздно, Марк, - сказала она.
- Мам, это Исаак... Он ученик рабби Симона.
- Шалом, Исаак. Проходи, поешь с нами.

Исаак робко снял обувь у входа в горницу. Рода тут же подошла к нему с кувшином для омовения.

- Ты учишься, Исаак? – спросила Мария, накрывая на стол.
- Он будет учиться у нас на масорета и помогать нам в мастерской, - ответил Марк.
- На масорета? – удивилась Мария. – Вот ты какой, оказывается, способный.
- Ну, ешьте, - добавила она и поднялась по лестнице, ведущей на второй этаж.

Рода поставила еду перед ними. Это была чечевица с травой, хлеб и кружка молока.

СЦЕНА 33. ДВОР И ДОМ МАРКА. ВЕЧЕР.

После ужина Марк поднялся на второй этаж в верхнюю горницу. Тут стояла прялка. Иосиф, дядя Марка сидел возле нее на корточках и пытался наладить приводной ремень. Мария ждала, разбирая пока нити для работы.

- Да, Марк, что? – спросила она.

- Дядя Иосиф, - обратился Марк, - вы говорили, что я могу взять помощника для переписывания.

- Ну, да, можешь, - ответил Иосиф.

- Это ты про Исаака? – спросила Мария.

- Да.

- Ученик Симона, - пояснила она Иосифу. - Он внизу сейчас, можешь поговорить с ним.

- Если ученик Симона... А он хорошо пишет, ты видел?

- Рабби сказал – очень хорошо. Он у него переписывает уже больше года.

- Ну, что ж... Возьми его, пусть помогает. Когда напишет что-нибудь, покажи мне.

Иосиф вернулся к работе, но Марк продолжал стоять. - Да, Марк, что еще? – спросил Иосиф.

- Вы говорили, что можно будет платить переписчику.

- А что, он хочет оплаты? – удивилась Мария.

- Нет, нет... Он будет и так... Просто, я знаю. У него очень больна мать. Отца нет. Все на нем. Если мы можем платить...

- Ассарий за каждое... для начала, - сказал Иосиф.

- Спасибо, дядя.

СЦЕНА 34. ДВОР И ДОМ ИСААКА. ВЕЧЕР.

Мириам развешивала белье после стирки. Она услышала, как распахнулись ворота. Радостно улыбаясь, вошел во двор Исаак.

- Ну, наконец-то, - воскликнула Мириам. - Я уже вся извелась. Тебя взяли в школу? Что ты молчишь? Взяли, или нет?

- Взяли! Взяли!

- Ох, рабби Симон... Как его благодарить, я не знаю. Тебе надо ноги ему мыть и воду пить, вот, что я тебе скажу. Золотое сердце у человека.

- А зачем воду пить? – засмеялся Исаак.

- Не умничай. Так говорится... сам знаешь.

- Вот, возьми, - Исаак протянул ей несколько монет. - Это я заработал. У Марка. Его дядя будет платить мне за переписывание.

- Чудеса, - вздохнула Мириам, - Ну, просто чудеса... Услышал Господь мои молитвы.

- А что за семья? – спросила она. - Я их знаю?

- Его мать Марией зовут. У них дом большой, рядом с домом Захарии, которому ты стирала раньше.

- А... Захарии... Так, я знаю эту семью. Служанка у них Рода. Только сына Марии зовут, кажется, Иоанном, а не Марком.

- Так он и есть Иоанн, просто все зовут его Марком.

- Какой день, какой день, - вздохнула Мириам. Она тяжело опустилась на скамью, чтобы передохнуть. - Да, - вдруг вспомнила она. - К тебе Давид приходил.

- Давно?

- Не очень. Сказал, что будет на маслобойне ночевать. Хотел взять тебя с собой.

- На маслобойне...- Исаак задумался на минуту, посмотрел просительно на Мириам. - Мам, а если...

- Конечно, - улыбнулась она. - Иди. Только возьми схимлу, там холодно ночью.

- Ага, - уже на ходу ответил Исаак, сворачивая плащ из грубой шерсти. И выбежал со двора.

СЦЕНА 35. МАСЛОБОЙНЯ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Маслобойня давидова семейства находилась в большом саду, на склоне горы. Давид и Исаак лежали на чердаке, смотрели на погружающийся в темноту сад, далекие огни. Работники – мужчины, уже закончили свой однообразный труд, сидели у костра, ужинали. Было тут и несколько женщин. Они укладывали масло в холщевые платы. Одна из них, совсем молодая, вышла из маслобойни, вылила остатки использованного молока на землю. Игриво посмотрела на чердак, где на соломе лежали Давид и Исаак, и погрозила, улыбаясь, пальцем.

- Чего она? – удивился Исаак.

- Она такая... - Давид хмыкнул. - Я прошлый раз, когда ночевал тут... Она утром рано мыться ходила...Я видел...

- Что?

- Ну, она раздевалась... Она специально так мылась, чтоб я видел, - добавил он тихо.

- Зачем? – не понял Исаак.

- Ты что, дурной? Зачем женщины хотят, чтобы их видели?

Исаак отвернулся, покраснел.

- Ой, ой, маленький мальчик. Стесняется, - подзадоривал Давид, смеясь.

- Ничего не маленький...

- Ладно, читай дальше, - сказал Давид.

- Почему я? Теперь твоя очередь.

- Ну, хорошо. Пусть моя. Давид придвинул к себе свиток, он уже был открыт.

- О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! – читал тихо Давид. -

Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями; Два сосца твоих как два козленка, двойни серны...

Давид вдруг замолчал, положил голову на подбородок.

- Вот ты можешь представить царя Соломона, каким он был? – спросил он.

- Не знаю. Могу, наверно...

- А его возлюбленную?... Я думаю, она, знаешь, какая была? Как... как Сарра, дочь Акибы – судьи.

- Ну, ты скажешь, – удивился Исаак. - **Ничего в ней такого нет.**
- Ну, да... **Ничего нет**, - хмыкнул Давид. Вздыхнул, задумался.
- **А я вообще в 14 лет женюсь**, - вдруг сказал он. – **Уже скоро.**
- **Зачем так рано?**
- **Ничего не рано... У меня есть одна на примете. В Иерихоне живет... А вот ты знаешь, что надевает девушка в первую ночь?**
- **Что?**
- **Знаешь, или нет? Вижу, что не знаешь. Пойдем, что-то покажу... Пойдем, не бойся.**

СЦЕНА 36. САД ВОЗЛЕ МАСЛОБОЙНИ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Они спустились вниз. Сквозь неплотные щели дощатой стены виден был огонь костра, доносились голоса женщин и мужчин. Слышно было, как наливают в кружки вино. Давид повел Исаака в глубь сада. Здесь чернело небольшое строение, стояли тазы для стирки, висело много белья. Давид подошел к нему, присмотрелся, позвал жестом Исаака. В темноте белела женская рубашка с круглым вырезом внизу.

- **Знаешь, зачем это?** – спросил шепотом Давид, указав на вырез. Исаак отрицательно мотнул головой. Давид хмыкнул и засунул палец в кружок-отверстие.
- **Теперь понял?**

Где-то за домом раздались шаги, какое-то шуршание, затем тихое журчание. Давид и Исаак замерли. Давид приложил палец к губам и осторожно начал отходить в сторону, пытаясь тихо уйти. Исаак ступал за ним, но под его ногой неожиданно хрустнула ветка.

- **Кто здесь?** – раздался напуганный немолодой женский голос. – **Это ты, Руф?**
- Давид и Исаак прыснули от смеха и бросились в темноту сада.

СЦЕНА 37. МАСЛОБОЙНЯ. НОЧЬ.

Они лежали снова на чердаке, укрывшись каждый своей схимлой. На Давиде лежала еще одна с потемневшей овчиной, старая.

- **Холодно как**, - вздыхал он. – **Если хочешь, там есть еще одна схимла, можешь взять.**
- **Ничего. Я привык спать на воздухе. Я дома на кровле сплю.**
- **Серьезно?**
- **Да... Звезды видны... Мне нравится.**
- **Слушай, Исаак**, - вдруг повернул голову Давид, - **ты знаешь Аарона, развозчика?**
- **Не помню что-то.**
- **Ну, не важно...Он такую вещь рассказывал...Не знаю, верить ему или нет...Он как-то отвозил что-то к римским казармам. Никогда не был там?**
- **Нет.**
- **Я тоже не был. Так вот. Он говорит, там есть улица такая, только римляне знают о ней... Там женщины стоят прямо на улице, блудницы. На выбор, любые... Он сказал, есть очень красивые... Римляне им три золотых монеты платят за это. Ну, чтоб с ними...**

- Врет твой Аарон, - сказал Исаак. – Если бы была такая улица, все бы о ней знали. Блудниц бы камнями побили давно.
- Он же сказал, что римляне только знают об этом. Вот они и ходят туда... Им что. Они язычники.
- Ну, может быть. Ладно, давай спать.
Исаак подтянул поглубже на лицо край схимлы, закрыл глаза.

СЦЕНА 38. МАСЛОБОЙНЯ. НОЧЬ.

Большая желтая луна низко стояла над горизонтом ночного неба, освещая деревья сада, густые кусты и высокую траву. Шуршали жесткими своими листьями оливковые деревья, вздрагивали под ветром травы. Желтый свет луны лег и на лицо Исаака, и тогда он неожиданно проснулся, испуганно вскинувшись во сне. Он лежал с открытыми глазами, тяжело дыша, переводя дыхание, словно осмысляя что-то страшное, увиденное во сне.

СЦЕНА 39. САД ВОЗЛЕ МАСЛОБОЙНИ. НОЧЬ.

Кутаясь в схимлу, и осторожно ступая по холодной траве, Исаак вышел на полянку под деревьями. Луна теперь была прямо перед ним, огромная, завораживающая. Он смотрел на нее не отрываясь, будто в ней и была разгадка того страшного сна, который так испугал его. Неожиданно за спиной Исаака раздались шаги.

- Ты, что? Исаак, что с тобой? – прошептал удивленно Давид, приближаясь к нему. – Чего ты встал?

- Я в Риме был, - тихо сказал вдруг Исаак, удивляясь собственным словам.

- Где? – не понял Давид.

- В Риме... Ну, во сне... Мне такое приснилось... Будто стою я на арене, а вокруг трибуны. Там люди, римляне. Все кричат... А я совсем старый - вот такая борода...

Исаак улыбнулся и показал рукой до пояса.

- Ну, и что? – спросил недоуменно Давид.

- А там звери на арене. Львы. Они бросаются на меня... И я понимаю, что это все. Моя смерть... Но я не боюсь...

- А как ты понял, что это Рим? Ты же в Риме не был никогда.

- В том-то и дело. Не был... Но почему-то точно я знал, что это Рим. И что меня сейчас убьют... Сердце вырвут...

- Страх какой... Да, ну. Мало ли, что кому снится... Давай, пойдем спать. Холодно как тут...

- Я сейчас. Я посижу тут немного. Я приду...

Давид удивленно посмотрел на друга, но ничего не сказал, вернулся, зевая, к маслобойне. А Исаак сел на траву и снова стал смотреть на луну, будто ища в ней ответа на загадки своего сна.

СЦЕНА 40. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КНИГОХРАНИЛИЩЕМ. УТРО. 12-е НИСАНА 30 года.

Несмотря на то, что было еще утро, площадь перед книгохранилищем была уже заполнена людьми. Вдоль стен расположились лавки, в основном торгующие горькими травами, необходимыми для застолья пасхального седера.

Торговцы предлагали свой товар, люди подходили, выбирали. Исаак пересек площадь, проталкиваясь среди толпы и вошел в здание книгохранилища.

СЦЕНА 41. КНИГОХРАНИЛИЩЕ. УТРО. 12-е НИСАНА 30 года.

Он быстро шел по главному коридору, так как боялся опоздать, мельком поглядывая по сторонам. Между тем, невозможно было не заметить, что в это утро в книгохранилище происходило что-то непонятное. Тут и там стояли группы книжников, мастеров, служащих и что-то бурно обсуждали. Кто-то порывался куда-то идти, кто-то призывал к благоразумию. Среди других Исаак заметил рабби Дафана.

- **Что я могу сделать?** – бесконечно повторял он, пытаясь выйти из круга окруживших его людей, но тут же вокруг него собирались другие. Ничего не понимая, Исаак вошел в мастерскую. Там было всего двое подмастерьев, молодых ребят, почти его возраста, да и те, похоже, собирались куда-то уходить.

- **А где все? Где Марк?** – недоуменно спросил Исаак. – **Что случилось?**

- **А ты не знаешь?** – ответил один из пареньков, снимая фартук. – **Саддукейский синедрион решил устроить засаду на рабби Симона. Они уже пошли к нему.**

СЦЕНА 42. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА, УТРО.

Исаак бежал, расталкивая прохожих, не обращая внимания на окрики «сумасшедший», «угорелый», «больной на голову», которые раздавались ему вослед. Слезы застилали ему глаза, из горла вырывалось хриплое всхлипывание. Но он продолжал бежать, словно и впрямь был обезумевшим. Он свернул на улицу, ведущую к дому рабби, и сразу увидел толпу законников. Они стояли возле ворот, не входя во двор, но так, чтобы видеть и слышать происходящее в доме. За их спинами уже начали собираться группами любопытные. Похоже, все только начиналось.

СЦЕНА 43. ДОМ И ДВОР РАББИ СИМОНА. УТРО.

Исаак подбежал к воротам и, с непонятно откуда взявшейся силой, вдруг оттолкнул стражника, пытавшегося его остановить, и вбежал во двор.

- **Не верьте им, рабби!** – закричал он, что было сил. – **Это засада! Они предатели! Не отвечайте им ничего!**

Тут же сильная рука стражника потащила его со двора, но Исаак увернулся, укусил его за руку, вырвался и снова закричал:

- **Не верьте им, рабби! Нельзя ничего говорить!**

Исаака схватили. Рыдающего, бьющегося в чужих руках, его вытащили со двора и бросили, как щенка, на пыльную улицу. Рабби Симон грустно посмотрел вслед Исааку, чуть улыбнувшись, кивнул. Он сидел в горнице, но так, что был виден с улицы и со двора. Напротив него сидели два молодых законника, одного из них Исаак успел разглядеть, это был Авирон. Рахиль стояла в глубине двора, так, чтобы ее не было видно с улицы, но ей самой горница была хорошо видна. Она закрывала себе рот рукой, раскачиваясь из стороны в сторону. Она прекрасно понимала весь этот страшный спектакль и молила Бога лишь об одном, чтобы Симон увидел ее, ее молящие глаза и ответил правильно, то есть, отречьшись от своих слов, сказанных ранее этому гнусному провокатору –

Авиرونу. Между тем, Авирон выдержал паузу, подождал, пока умиряли этого наглого мальчишку, Исаака, и снова продолжил свои вопросы:

- **Итак, Симон, повторите мне, пожалуйста, то, что вы говорили мне в прошлый раз, а то, возможно, я вас не так понял**, - неестественно громко, так, чтобы слышали его на улице, произнес Авирон. – **Вы говорили, что тот человек из Назарета является пророком, хотя все знают, что он не соблюдает субботы, чародействует, призывает разрушить храм и не платить податей римской власти.**

- **И претендует на престол иудейский**, - добавил второй законник.

Рабби молчал, словно собираясь с духом. Рахиль не выдержала и, нарушая правила, тихо выкрикнула: - **Симон, я умоляю тебя!** Но рабби Симон вздохнул и ясно и громко произнес: - **Да, считаю.** Он помолчал, еще набрал воздуха и добавил:

- **И более того, считаю, что он и есть Машиах, Сын Божий, которому должно прийти.**

- **Вы слышали? Он же богохульствует!** – вроде как удивленно воскликнул Авирон, обращаясь к стоящим в воротах.

- **Вы сознаете, что за ваши слова, вы можете быть преданы смертной казни?** – громко спросил другой законник. Симон молчал.

- **Вы что, никогда не читали, что за богохульство надлежит быть побитым камнями?** – раздраженно добавил Авирон.

- **Жив Господь отцов наших**, - вдруг громко сказал Симон, - **Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, я свидетельствую об истине.**

- **Что вам еще надо?!** – закричал Авирон, вставая. – **Как говорят наши учителя, да будет благословенна память о них, собственное признание на суде весит столько же, сколько показания ста свидетелей!**

- **Вы богохульник и еретик!** – визгливо выкрикнул Авирон. – **Вы совратитель.** И тут же стражники бросились во двор, выволокли Симона и потащили его на улицу, даже не давая ему встать на ноги. Толпа, оскорбляя Симона и оплевывая, волокла его, почти бегом, в суд, в синагогу при храме.

- **В бет-мидраш его! В бет-мидраш!** – раздавались крики.

СЦЕНА 44. СИНАГОГА ПРИ ХРАМЕ. ДЕНЬ.

Синагога, где происходил суд, была полностью забита людьми, даже стояли на улице у входа. Одни пришли защищать Симона, другие обвинять его. Как оказалось, у Симона довольно много сторонников, и это неприятно удивило саддукеев, надеявшихся быстро и жестко расправиться с ненавистным им противником. Впрочем, обвиняющих было больше, и их возглавляли архиереи из саддукейского синедриона. Из синагоги то и дело раздавались беспорядочные крики, ругань, взаимные оскорбления. Судья по религиозным вопросам, Акиба, бесполезно призывал к тишине и порядку. Исаак несколько раз пытался вклиниться в толпу, но это ему не удавалось. Наконец, с третьей попытки он втиснулся с края и стал пробираться вперед, постепенно достигнув подмостков, на которых стоял рабби Симон и сидел, причем, поминутно вскакивая, судья Акиба. Лицо Симона было в кровоподтеках, губы вздрагивали, он что-то бормотал быстро, похоже, молился.

- Кто еще хочет сказать в защиту Симона, сына Иосифа из Иерихона? – возгласил судья.

- Я хочу свидетельствовать, - раздался голос Дафана. Он вышел вперед и продолжил:

- Я знаю Симона уже много лет. Он достойный, мудрый, уважаемый рабби, к нему можно обратиться по любому... Но Дафану не дали закончить.

- Кто рабби?! – закричали, перебивая, саддукеи. - Кто тут рабби? Он отлученный! Он такой же рабби, как мой работник! Он никто! Нет такого рабби!

- Действительно, - прервал крики судья. - Вы же знаете, уважаемый Дафан, что Симон был отлучен. Зачем так говорить? Давайте соблюдать правила.

- По правилам его должно побить камнями! Он богохульник, еретик! – закричали законники. - Это по правилам.

- Иш мавет! Иш мавет! – скандировали они. - Повинен смерти!

- Хорошо! – вдруг крикнул Акиба. - Я сказал – хорошо! Тихо! Я все понял. Теперь мой вопрос... Скажи Симон, сын Иосифа, ты образованный человек, мы это знаем. Я не пойму – как может такая умная голова заблуждаться такими вещами, в которых тебя обвиняют?... Итак, скажи мне: может быть кто-то из минеев сказал тебе что-то минейское, тебе понравилось и ты стал повторять? Может так быть? Вспомни...

Гул негодования раздался среди законников.

- Ты что делаешь, судья Акиба?! – закричали возмущенные саддукеи. - Ты защищаешь его! Нет, вы видите? Он дает ему возможность оправдаться. В чем дело, Акиба?

- Жив Господь Бог, - закричал судья, стараясь перекричать толпу. - Я должен быть справедливым! Я должен спросить его об этом. Это по закону. И вы это знаете.

Саддукеи утихли, судья был прав. Все замерли, ожидая ответа Симона.

- Итак, заклиная тебя Богом Адонаи и Богом Израиля, - возгласил судья, - скажи мне, от себя ли ты говорил еретические слова, или услышал это от кого-то и повторил?

Симон молчал, перебегая глазами с одного обвинителя на другого, понимая, что дело идет к казни и от его слов сейчас зависит его жизнь. Все ждали ответа. Но Симон все так же молчал, словно никак не мог решить – воспользоваться ли спасительной подсказкой, или нет.

- Ну? – не выдержал, наконец, судья. - Что ты молчишь?

От этого окрика Симон как-то странно и испуганно дернулся плечами, словно от удара и тихо, но торопливо произнес:

- Да... Я вспомнил. Гул голосов вспыхнул и тут же затих. Все замерли. - Я вспомнил, - уже смелее произнес Симон, но почему-то опустив глаза. - Был человек один... на базаре, я услышал и мне понравилось... Наверно, поэтому я повторил... повторял...

Исаак увидел, как учитель Дафан прикрыл свое лицо рукой, словно закрываясь от позора.

- Итак, ты утверждаешь, - возвысил голос судья, - что повторил чужие слова, что это не были твои слова. Так?

- Да...

- Можешь поклясться на Законе? Симон замялся, еще ниже опустив голову, затем произнес, будто выдохнул: - Да!

- Можешь пить воду обличения и воду свидетельства?

- Да... Гул возмущенных криков пронесся по толпе саддукеев.

- Какие такие «чужие» слова, кому он тут рассказывает? Когда это он повторял что-то чужое? Нет, вы посмотрите на него! Ты, что, веришь ему, Акиба?

- Иш мавет! Иш мавет! – снова начали выкрикивать законники.

- Так, тихо!- громко крикнул судья и поднял руку, давая понять, что сейчас прозвучит приговор. - Жив Господь, Бог Израиля, я, судья Акиба, решаю: Симон, сын Иосифа, виновен в совершении преступления богохульства и он достоин смертной казни через побитие камнями, по нашему закону и по закону наших предков. Но, - Акиба сделал паузу, затем снова повторил, - но... так как мы лишены теперь римской властью права меча, и вы об этом знаете, я не могу вынести смертный приговор по этому делу. К тому же, Симон свидетельствует, что повторил чужие слова и только. Поэтому, я, судья Акиба, приговариваю Симона, сына Иосифа, к тридцати девяти ударам бича. Все! Считаю дело законченным.

Судья встал и направился к занавеси, отделяющей зал от заднего помещения.

- Судья Акиба! Судья Акиба! – выкрикивали законники ему вслед. – Почему ты не хочешь отвести его к римлянам и получить разрешение на смертный приговор?! Что мешает тебе сделать это? Ты покрываешь богохульника!

Не обращая никакого внимания на крики и не оборачиваясь, Акиба неспешно, с достоинством покинул зал суда. Тут же зашумела, загудела толпа, направляясь к выходу. Недовольны приговором были все – и обвинители и защитники.

- Хитрый Акиба, и нашим, и вашим! Как всегда, - сказал один из законников рядом с Исааком.

- Недолго, я думаю, ему теперь оставаться на подмостках и быть судьей, после такого решения, - ответил другой. – Вот увидите.

СЦЕНА 45. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СИНАГОГОЙ. ЭКС. ДЕНЬ.

Толпа продолжала спорить и на улице, дожидаясь, когда выведут Симона. Исаак, как во сне, ходил у входа, не зная куда идти. Он отошел в сторону, сел на землю, закрыл лицо руками. К нему подошел Марк. Стоял молча, затем тронул Исаака за плечо:

- Идем. Уже выводят...

Шесть стражников вывели Симона и, окружив его, повели за город к месту наказания. Впереди шел глашатай, объявляя:

-«Кто может сказать, что-либо в защиту этого человека, пусть придет и скажет».

Однако, никто не пытался ничего сказать, зная, что это абсолютно бесполезно и, по сути своей, всего лишь ритуал публичного наказания. За стражниками шла большая группа сопровождающих, в основном законники, много было и любопытных. Позади всех шли те, кто защищал Симона.

СЦЕНА 46. МЕСТО КАЗНИ. РАННИЙ ВЕЧЕР.

Когда вышли из Эфраимских ворот, толпа заметно поредела, остались только человек десять из саддукеев и человек пять-шесть сочувствующих. Рахиль вели под руки какие-то две женщины, возможно, соседки. За ними шел высокий крупный мужчина – брат Рахили, Рувим. Он тащил за собой тележку с циновкой и платом, чтобы забрать Симона после казни.

Марк и Исаак шли последними. Молчали. Остановились все возле столба, на краю рва со всяким мусором и нечистотами. Здесь и должна была происходить казнь. Споро и привычно стражники привязали руки Симона к столбу, разложив его на земле. Глашатай стоял рядом, дабы объявлять число ударов. Когда Симона обнажили, оставив одну набедренную повязку, стала видна его тщедушность, его слабое немолодое тело. Старший стражник взмахнул рукой, и тяжелая плеть опустилась на спину несчастного. Тут же ярко-красная кровавая полоса выступила на спине. Симон задрожал телом от жуткой боли, глухо заскулил, вероятно, стараясь заглушить свой крик. Сразу же новый удар обрушился на его спину. Исаак увидел, как задрожали, забились ноги Симона. Не выдержав этого зрелища, он отвернулся и отошел в сторону, сел на землю, раскачиваясь, закрыв уши руками. Но стоны, все более и более громкие доносились и сюда, вместе с хриплым голосом глашатая и хлесткими ударами.

СЦЕНА 47. ДОМ И ДВОР СИМОНА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Была уже почти ночь, когда тележка с лежащим на ней окровавленным телом достигла дома Симона. Рувим, Марк и Рахиль взяли за края плат, на котором лежал лицом вниз Симон и внесли его в горницу, положив на циновку. Симон тихо стонал, будто скулил. Рувим и Рахиль тяжело опустились на лавку рядом. Все молчали.

- **Идите, мы сами тут...** - тихо сказал, наконец, Рувим, обращаясь к Марку и Исааку. Исаак и Марк вышли со двора и тут же пропали в темноте.

СЦЕНА 48. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА СИМОНА. НОЧЬ.

Они молча дошли до конца улицы. Здесь дорога раздваивалась, Марку надо было в одну сторону, Исааку – в другую. Они остановились.

- **Марк, что будет теперь?** – спросил Исаак.

- **Не знаю.** Марк глядел куда-то в темноту, думая о чем-то своем.

- **Зачем он так? Зачем?** – голос Исаака дрогнул. - **Как же теперь он сможет жить... Как...**

- **А что, было бы лучше, если бы его отвели к римлянам и казнили?**

Исаак молчал, не зная, что ответить на этот невыносимо мучительный вопрос.

- **Иди домой,** - сказал Марк. Они повернулись и пошли каждый в свою сторону. Марк неожиданно оглянулся, окликнул Исаака: - **Исаак, ты завтра придешь?**

- **Приду. Конечно, приду.**

СЦЕНА 49. ДОРОГА В ВИФАНИЮ. УТРО. 13-е НИСАНА 30 года.

Толкая тележку, нагруженную постиранным бельем, Исаак поднимался на Елеонскую гору. Он дошел до поворота на вершине горы, оглянулся, окинул взглядом лежащий внизу город, перевел дыхание, затем развернув тележку двинулся вниз, по дороге к Вифании.

СЦЕНА 50. УЛИЦА В ВИФАНИИ. ЭКС. УТРО.

Двигаясь обычным своим путем Исаак вышел на улицу, где находился дом Лазаря. Сейчас здесь никого не было. Только трое детей, совсем малышня, стояли среди улицы напротив ворот и пытались заглянуть туда. Они подходили поближе, затем, словно испугавшись чего-то, отбегали назад со смехом, потом снова возвращались к воротам. Исаака это удивило и, проходя мимо дома Лазаря, он остановился и заглянул в ворота. Они были полуоткрыты и видна была большая часть двора. Никого там не было.

- **Увидел?** – спросил его один из малышей.

- **Что?** – не понял Исаак.

Но тут девочка, которая стояла ближе всех к воротам быстро замахала рукой, подзывая всех.

- **Вон, вон, смотрите, Лазарь...**

- **Разве это он?** – удивился один из мальчиков.

- **Лазарь, я тебе говорю,** – подтвердила девочка. – **Я знаю.**

Исаак увидел, как какой-то пожилой человек пересек двор. Больше ничего не происходило. Из ворот вышла служанка с кувшином, увидев детей, она плотно прикрыла за собой створки.

- **Ну, что стоите тут?** – прикрикнула она на детей и пошла по улице куда-то.

Исаак подхватил свою тележку и двинулся в другую сторону.

СЦЕНА 51. ДОМ РЕББЕКИ. УТРО.

Реббека, как обычно, раскладывала принесенное Исааком белье.

- **Ты что, не учишься сегодня?** – спросила она.

- **Нас отпустили на Пасху.**

- **Ну, все. Хорошо,** – она отложила последнюю вещь, отсчитала несколько монет, протянула Исааку.

- **Спасибо.** – Исаак взял монеты, спрятал их, но явно медлил, не торопясь уйти.

- **Тетя Реббека,** – начал он неуверенно, – **а у вас нет травы, чтобы от ран? Чтоб заживали...**

- **Что, поранился? Покажи.**

- **Нет, это не я. Не для меня... Для учителя.**

- **Учителя?** – удивилась Реббека и подошла к шкафчику, где хранились у нее травы.

- **Тут нужны листья,** – сказала она размышляя. – **У меня их сейчас нет. Хотя... Подожди.**

Она стала что-то искать, перекадывая мешочки.

- **Я еще спросить хотел,** – сказал Исаак. – **А как Иаков? Не было его?**

- **Нет, не было. Они вообще куда-то все ушли, ночуют у Лазаря.** Она подошла к Исааку.

- **Вот, возьми,** – протянула она несколько листьев. – **Больше дать не могу.**

- **Спасибо.** – Исаак взял листья, и секунду посомневавшись, достал монету и протянул ее Реббеке.
- **Ты что?** – удивилась она. Погладила по голове. - **Иди-иди. Будешь богатый, вернешь.**

СЦЕНА 52. ДОРОГА В ВИФАНИЮ. ЭКС. УТРО.

Исаак сидел на вершине Елеонской горы, как раз возле поворота, под деревьями, на своем любимом месте. Он достал и развернул тряпочку, в ней был хлеб и кусок сыра. Ел медленно, не торопясь. Отсюда, с вершины, открывался самый лучший вид на Иерусалим, удивительно красивый в эти утренние часы, действительно, одно из чудес света. Поднявшееся солнце отражалось в мраморных белых стенах верхнего яруса храма и он сверкал, ослепляя глаза белизной света. А внизу, по дороге шли и шли группами паломники, распевая псалмы. Легким порывом ветра донесло до слуха Исаака строчки из псалма «На реках Вавилонских». Исаак чуть улыбнулся, положил голову на колени и тихо произнес их вслух, повторяя: - **Если забуду тебе, Иерусалиме, забудь меня десница моя.** Исаак замолчал, задумался о чем-то, затем откинулся на спину, лег на землю и уставился взглядом в высокое голубое небо, такое чистое и уже повсеннему теплое. Он увидел бабочку рядом с собой. Исаак осторожно приподнялся, чтобы разглядеть ее, не спугнув. Но бабочка улетела. В тишине отчетливо слышны были звуки травы, листьев, той многообразной жизни, которой полна весенняя земля. Исаак улыбнулся чему-то, встал и пошел к дороге, ведущей к Иерусалиму.

СЦЕНА 53. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА СИМОНА. ДЕНЬ.

Исаак подошел к дому Симона и остановился в растерянности у ворот, словно раздумывая, входить или нет. Он постоял какое-то время, затем было уже двинулся от ворот, будто собираясь уходить, но потом все же вернулся и вошел во двор.

СЦЕНА 54. ДОМ И ДВОР РАББИ СИМОНА. ДЕНЬ.

Опираясь на палку, и тяжело переставляя ноги Симон ходил из угла в угол горницы, морщась при каждом шаге. Он чуть разгибал спину, останавливаясь, затем продолжал свое движение – похоже, оно помогало ему переносить боль.

- **Это хорошо, что ты пришел, Исаак. Очень хорошо,** - Симон тяжело вздохнул.
- **Я уже даже хотел послать за тобой кого-нибудь... Потому что...** - Симон помолчал, затем повторил снова, - **потому что, мне надо тебе объяснить кое-что. Я хочу, чтобы ты понял, что произошло вчера... и почему я так поступил. Ты сейчас ничего не говори. Не надо... Ты только слушай...** Симон внимательно посмотрел на Исаака, ожидая его реакции на свои слова, но тот сидел, опустив голову, и уставившись в пол. - **Вот, давай, исследуем,** - продолжил Симон. - **Я знаю, многие теперь скажут, что я отрекся от своих убеждений, что я предал Учителя Галилейского. И всякое такое... Но это не так. Во-первых, подумай, разве было бы лучше, если бы я сейчас уже лежал в гробнице? На радость законникам... Лучше? Ты уже почти взрослый, ты должен понимать – не все так просто в жизни: белое - черное... Не так...**

Иногда нужна хитрость, даже обман, чтобы выиграть сражение... Это первое... А теперь второе, и это самое главное, - Симон помолчал немного, затем продолжил. - Я вчера усомнился... В нем, в Учителе Галилейском. Я понял - он не Мессия... Потому, что Мессия - это что? Это сила, это власть, это царь. Разве царь позволит убивать своих подданных? Я тебе больше скажу, - Симон перешел на шепот, - я молился, ты не представляешь себе, как я молился вчера, когда тащили меня в синагогу на суд. Я обращался к Нему, я просил о помощи, о защите. И что? Он пришел? Он помог мне?... Какой же он Мессия после этого... Нет. Он просто учитель. Хороший, мудрый учитель. Такой же человек, как мы. Что ж... значит не время еще придти Мессии... Когда я это понял, то подумал: за что же я сейчас буду умирать? Кому я своей смертью сделаю лучше? Вот, что я подумал, потому и поступил так. Теперь ты понимаешь меня? Мне это очень важно, чтобы ты понял, потому что ты мой ученик, - Симон вздохнул и добавил тише, - мой лучший ученик...

Он стоял, внимательно вглядываясь в лицо Исаака.

- Ну, что ты молчишь? Теперь ты понимаешь, что я был прав?

Исаак молчал. Невозможно было понять, что он думает - его глаза все также были опущены в пол, казалось, он думает о чем-то другом. В горницу вошла Рахиль, в руках у нее была миска с теплой водой.

- Вот, Исаак принес тебе листья от ран. Очень помогает, - сказала она. - **Давай, приложу к спине.** Она поставила миску на стол и начала размачивать листья в воде.

- Я тогда пойду, рабби, - Исаак вдруг встал. - **Мне надо... Мать просила... купить к седеру.** Исаак, все так же не поднимая глаз, направился к выходу из горницы, но на пороге остановился, оглянулся. Рахиль и Симон недоуменно смотрели на него.

- Спасибо вам, рабби, за все... Вы так много сделали для меня... Я всегда буду вам благодарен за это... - Исаак набрал воздух и негромко добавил, - **но я... но я не буду больше к вам приходить, рабби...** Исаак повернулся и быстро пошел к воротам.

СЦЕНА 55. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. ДЕНЬ.

Как всегда перед Пасхой на площади перед храмом было настоящее столпотворение. К самому храму вообще было не подойти. Исаак с трудом пробирался со своей тележкой вдоль лавок - ему надо было купить горькие травы к пасхальному седеру и опресноков, а мать просила купить все это именно здесь, у храма. Вокруг Исаака тут и там двигались люди с тушами освященных ягнят на спине. Тут же в загонах, неподалеку, теснились еще живые овцы, в ожидании, когда их отберут для освящения и совершения заклания. Исаак, наконец, купил нужные ему травы, свежее испеченный опресночный хлеб и направился поскорее к выходу с площади. По привычке, толкаясь среди людей, Исаак смотрел по сторонам. Неожиданно он заметил Марка. Тот со своим дядей, похоже, выбирали ягненка.

- О, Шалом, Исаак, - обрадовался Марк. - **Покупаешь тут что-то?**

- Травы к седеру. Мать просила.

- **А я вот дяде помогаю**, - Марк кивнул в сторону Иосифа, изучающего овец в небольшом загоне.
- **Марк**, - позвал Иосиф.
- **Иду**, - быстро ответил Марк.
- **Ну, хорошо, я пойду**, - сказал Исаак и стал разворачивать свою тележку.
- **Да, Исаак**, - вдруг окликнул его Марк. – **Ты вот что, приходи сегодня попозже**, – и добавил тише: - **Видишь, мы даже еще ягненка не выбрали. А еще готовить все...**

СЦЕНА 56. ДОМ И ДВОР ИСААКА. ВЕЧЕР.

Исаак сидел в горнице на полу, возле своего шкафчика и длинным ножом аккуратно выковыривал засохшую глину, вынимая камень из стены дома. Камень уже поддавался и, совершив еще несколько движений, Исаак, наконец, достал его и опустил на пол. Он заглянул в нишу, открывшуюся в стене, проверил рукой – сухо ли там. Похоже, остался доволен. Тайник был готов. Исаак взял свитки со шкафчика и начал их аккуратно складывать в тайник. Он не заметил, как в горницу вошла его мать. Мириам стояла и молча смотрела на эти наивные ухищрения Исаака, прекрасно понимая, зачем он это делает и почему. Еще, вероятно, она понимала, к чему все это может привести в скором времени и потому, неожиданно для себя, она вдруг начала плакать, тихо и беззвучно. Исаак что-то почувствовал, оглянулся:

- **Мам, ты что? Что такое?**

- **Послушай меня, Исаак**, - она подошла поближе. – **Послушай... Мальчик мой... Все гораздо серьезнее, чем тебе кажется. Через год ты уже будешь взрослый... А со взрослыми как поступают? Ты видел? Видел, что они сделали с рабби Симоном? Я, я... не переживу, если с тобой что-то случится.**
- **Ничего не случится. Мам, перестань... Очень прошу тебя.**

Исаак встал и направился к выходу. Он вышел уже во двор и подошел к воротам, но тут неожиданно остановился, замялся, словно почувствовав, что как-то нехорошо будет, вот так ему сейчас уйти, ничего не сказав матери. Он постоял, подумал и вернулся в горницу. Мириам сидела на скамье, она казалась абсолютно спокойной, слез уже не было. Она посмотрела на Исаака, но как-то странно, будто не увидев его, и снова погрузилась в свои мысли. Исаак сел напротив, не зная, что сказать, с чего начать.

- **Скажи мне**, - Мириам посмотрела в глаза Исааку, - **этот молодой равви из Назарета... Он правда такой мудрый, как о нем говорят? Прочти мне что-нибудь из его изречений. Ты же записываешь их, я знаю...**

Исаак встал, намереваясь подойти к тайнику, затем почему-то передумал, вернулся, сел. Он закрыл глаза и начал тихонько раскачиваться, как делал всегда при молитве, или если заучивал наизусть что-то очень важное. Наконец, он вздохнул глубоко и начал читать тихо и торжественно, все так же, не открывая глаз:

- **Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо**

они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на погребение людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Исаак замолчал, открыл глаза. Мириам сидела какая-то притихшая, устремив взгляд куда-то в пространство, не замечая ничего вокруг, ошеломленная этими невиданными, удивительными словами.

- Еще он сказал как-то, - добавил негромко Исаак, - это мое любимое... «И ототрет Бог всякую слезу, и смерти уже не будет...» - И Исайя так говорил... - помолчав, сказал Исаак. - **Значит, правда. Будет все это.**

- Ох, если бы, если бы, - тихо вздохнула Мириам.

СЦЕНА 57. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА МАРКА. ПОЗНИЙ ВЕЧЕР.

Исаак подошел к дому Марка. Ворота были закрыты. Он постучал. Но никто ему не ответил. Он постучал сильнее. Снова тишина. Исаак растерянно отошел от ворот, собираясь уходить, но тут раздался негромкий скрип створки.

- Кто там? - раздался голос Роды. Исаак бегом подбежал к воротам. - **Это я, Исаак.**

Ворота чуть приоткрылись, сквозь щель выглянула Рода, но почему-то первым делом посмотрела на улицу за спиной Исаака, потом уже на него, причем смотрела как-то нерешительно, словно раздумывая - впускать его, или нет.

- **Сегодня...не надо ничего,** - наконец сказала она. - **Ты лучше завтра...**

- **Как завтра? Что завтра?** - возмутился Исаак ее непонятливости. - **Мне Марк сказал, чтоб я пришел сегодня.**

Но тут к воротам подошел Марк.

- **Марк!** - позвал Исаак. - **Скажи Роде, мы же договорились на сегодня.**

- **Пусть войдет,** - сказал Марк служанке и, обратившись к Исааку, добавил, приложив палец к губам: - **Только тихо, Исаак.**

СЦЕНА 58. ДОМ И ДВОР МАРКА. ЭКС-ИНТ. ПОЗНИЙ ВЕЧЕР.

Ничего не понимая, Исаак вошел во двор и направился следом за Марком в горницу на первом этаже, где обычно они занимались переписыванием.

- **Садись, пиши, но очень тихо. Не разговаривай,** - сказал Марк.

Он достал чистый пергамент, свитки, положил на стол перед Исааком.

- **А что случилось?** - шепотом спросил Исаак.

- **У нас Учитель, Назарянин. С учениками,** - Марк показал глазами наверх, на второй этаж, где была другая, большая горница. - **Он просил, чтобы никто не входил и не мешал им.**

- **А Иаков тоже там?** – почему-то спросил Исаак.

Марк кивнул. Он неслышно вышел из горницы, оставив Исаака одного. Исаак развернул свиток, который надо было переписать, но невольно глаза его устремлялись туда, к этой лестнице, ведущей на второй этаж. Он не выдержал, встал и подошел, дотронулся рукой до перил. Снизу виден был лишь край занавеси, закрывающей вход в горницу.

С другой стороны лестницы, рядом с прялкой, которую убрали, похоже, из верхней горницы, Исаак увидел двоих малышей, сестру и братика Марка. Они играли во что-то, подпрыгивая на циновках, беззвучно смеясь чему-то. Исаак еще раз посмотрел на занавесь, еще раз дотронулся до перил. Тогда девочка, вероятно, решив, что он собирается наверх, приблизилась к нему и тихо сказала:

- **Ты куда? Туда нельзя... Там Сын Бога,** - и погрозила пальчиком.

- **Нельзя, нельзя,** - поддакнул мальчик. - **И шуметь нельзя.**

Они снова начали прыгать, беззвучно смеясь, чему-то ужасно радуясь. Исаак вернулся к столу. Но писать все никак не мог начать, сидел, думал. Наконец, он снова развернул свиток, прочел текст, который должен был переписывать:

- **«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».**

Он провел рукою по пергаменту, намереваясь начать свою работу. Но тут в горницу вошла Рода, взяла за руки детей и повела их куда-то.

- **Рода,** - тихо позвал Исаак, - **а можно мне попить... Что-то мне...**

- **А вон, во дворе,** - ответила она. - **Возьми сам.**

Исаак вышел во двор. Было уже темно. Только наверху светилося окно горницы. Исааку даже показалось, что он различает движение теней в мигающем отсвете светильников. Исаак долго пил воду, все никак не мог напиться, заморожено глядя на это окно вверх, на колеблющиеся тени. Напившись, он направился в горницу, но не успел войти – раздался скрип, какой-то тихий звук, шаги. Исаак оглянулся. По другой лестнице, ведущей к верхней горнице со двора, спускался какой-то человек. В темноте нельзя было различить его лицо, только мелькнул у него на боку денежный ящик на ремне, обитый железом. Человек подошел к воротам, сдвинул засов и вышел на улицу. Рода тут же подбежала к воротам и закрыла их.

- **А кто это?** – спросил Исаак.

- **Не знаю,** - ответила она.

СЦЕНА 59. ДОМ И ДВОР МАРКА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Исаак сидел в горнице за столом, рядом с плошкой, в которой мигало пламя. Стараясь не ошибиться, сверяя помногу раз, он переписывал изречения. Но писать становилось все труднее. Он не мог понять – что с ним. Голова была тяжелой и клонилась к столу, лицо горело, а плечи дрожали от ночной прохлады. Вошел Марк, удивленно посмотрел на Исаака.

- **Ты все еще пишешь? Поздно уже. Иди домой.**

- **Нет, ничего. Я подожду,** - ответил Исаак, - **если Иаков выйдет...**

- **Ну, жди,** - улыбнулся Марк и снова ушел.

Исаак встал, чтобы еще раз попить воды, подошел медленно к выходу из горницы и неожиданно упал. - **Ой,** - вскрикнула Рода и подбежала к нему. -

Исаак? Что с тобой? Она чуть хлопнула его по щеке, но тут же отдернула руку и побежала звать хозяйку.

СЦЕНА 60. ДОМ И ДВОР МАРКА. НОЧЬ.

Когда Исаак пришел в себя, он увидел над собой взволнованные лица Марии, матери Марка и его дяди Иосифа. Повернув голову, он увидел, что лежит на циновке в какой-то другой комнате.

- **Да, он горит весь,** - сказала Мария. - **Рода, принеси схимлу, укрыть его надо.**

- **Ничего, я сейчас,** - разжал губы Исаак. - **Мне домой надо...**

- **Лежи, не вставай,** - строго сказала Мария. - **Сейчас мы тебя натрем жиром, к утру выздоровеешь. Останешься у нас. Ты спи, спи.**

Исаак хотел что-то еще сказать, но не смог, бессильно прикрыл глаза и тут же погрузился в горячий, болезненный сон – забытье.

СЦЕНА 61. УЛИЦА В ВИФАНИИ. ДЕНЬ.

Он почему-то увидел себя опять на той же улице в Вифании, возле ворот дома, где жил Лазарь. Яркое светило солнце, но небо было темным, почти черным, как перед грозой. Улица была совсем пуста – ни души. Ворота дома Лазаря были полуоткрыты и Исаак заглянул туда. Он чувствовал, что там кто-то стоит, прячась за воротами. Вначале Исаак увидел тень на земле от стоящей фигуры человека. Затем тень начала двигаться, и когда он поднял глаза, то увидел его, Лазаря. Совсем близко, невыносимо близко. Он смотрел на Исаака и улыбался. Но видно было, что Лазарь мертв, трупные пятна четко обозначились на лице и шее. Он был в распутившихся погребальных пеленах, будто только что вышел из гроба. Исаак резко отступил назад, но уперся спиной в ворота и поэтому никак не мог выйти на улицу, не мог сдвинуться с места. Он только слышал свое тяжелое дыхание. А Лазарь медленно приближался к нему, все так же улыбаясь застывшей, неживой улыбкой и даже уже протянул к нему руку. Исаак увидел эту ладонь, с большим темным пятном наверху, отпрянул и закричал.

СЦЕНА 62. ДОМ И ДВОР МАРКА.НОЧЬ - УТРО. 14-е НИСАНА 30 года.

Исаак вскинулся и открыл глаза. Он сел на циновке, отдышался, пытаясь скинуть с себя тяжелую одурь сна. Еще была ночь, но двор был освещен факелами. Они мелькали тут и там, какие-то люди толпились среди двора, о чем-то яростно споря, перебивая друг друга.

- **Куда ты хочешь идти? Тебя самого схватят, и других погубишь!** - доказывал кто-то.

- **Что же, сидеть тут и прятаться?** – настаивал другой.

- **Мы можем пойти и свидетельствовать!** – говорили какие-то женщины. - **Народ всех собрать и привести туда!**

- **Нас всех уже ищут,** - возражал еще кто-то. Факелы снова замелькали, и вся толпа двинулась через ворота на улицу, продолжая спорить. Исаак вскочил на ноги, быстро вышел во двор. Заметив Роду, подбежал к ней.

- **Что случилось, Рода? Кто эти люди? Где Марк? Где все?** - Рода шмыгала носом и вытирала слезы на своих щеках. Молчала. - **Рода, ты слышишь? Я же спросил тебя. Куда все пошли?**

- **Учителя Назарянина арестовали**, - наконец, сказала она. - **На суд повели... Марк там. Мария...Еще с ночи...** Рода подошла к Исааку поближе, потрогала ладонью его лоб.

- **Ох-хо-хо**, - покачала она головой, - **еще горячий.**

- **Иди ложись**, - приказала она Исааку. - **Не надо тебе туда ходить.**

- **Я пойду**, - возразил Исаак.

- **Тебе лежать надо**, - настаивала Рода. - **Не надо тебе никуда ходить. Плохо тебе будет.**

- **Исаак!** – еще раз сделала она попытку остановить его. Но он уже вышел на улицу.

СЦЕНА 63. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА КАЙЯФЫ. НОЧЬ – УТРО.

Вся улица возле дома первосвященника была запружена людьми. Было еще темно, небо лишь чуть посветлело на востоке. Исаак протискивался в толпе, пытаясь высмотреть Марка. Но все напрасно – трудно было кого-либо найти в этой толпе, фигуры и лица людей сливались в предрассветной мгле. Лавируя среди толпы, Исаак неожиданно очутился возле ворот дома первосвященника. Здесь образовался живой коридор, ведущий к воротам, по которому время от времени шли, по одному, важные архиереи, законники и другие члены синедриона. Вот и сейчас к входу в дом приближались двое высокопоставленных судей. Когда они оказались недалеко от Исаака, он увидел, что это были рабби Элиезер и законник Адда. Они постучали в ворота, придверница тут же открыла, пропуская их во двор. Через раскрытую створку Исаак заметил костры во дворе первосвященника, возле которых грелись какие-то люди. Было много стражников среди них. Неожиданно возле одного из костров началась какая-то ругань. Служанка тянула за руку какого-то мужчину.

- **Что ты пристала ко мне?** – возмущался мужчина, отмахиваясь от нее. - **Не знаю я этого человека.** - Но служанка не отставала, цепко хватала за руки мужчину, пытаясь заглядывать в лицо. - **Что ж я слепая? Что я запомнить не могу человека?**- злобно настаивала она, обращаясь к стоящим вокруг, словно призывая их в свидетели. - **Выйди-ка на свет сюда... А что? А пусть он лицо покажет. Почему он не хочет?**

Мужчина, наконец, не выдержал, резко оторвал от себя руки служанки и пошел быстро к выходу. Он вышел через ворота и тут же растворился в толпе, пройдя совсем рядом с Исааком. Ворота закрылись. Больше ничего не происходило. Все стояли и молча ждали. Где-то вдали трижды пропел петух. Некоторые стали уходить. Толпа поредела. Исаак тоже вышел из толпы, отошел в сторону. Неожиданно, он охнул, качнувшись, и сел на землю. Пот градом катился с его лица, но плечи дрожали от утреннего холода. Какие-то женщины тут же подошли к нему:

- **Что с тобой, мальчик? Смотри, он весь дрожит... Ты что, болен?**

- **Что ты сидишь здесь, на холоде?** – склонилась над ним одна из женщин, пытаясь помочь ему подняться. – **Иди-ка ты домой. А, ну, давай, вставай, вставай...**

- **Ничего, я сам.** - Исаак встал и, медленно ступая, пошел по улице в сторону своего дома.

- **Ну, как можно ребенка отпускать в таком виде?** – зашептали женщины у него за спиной. – **Я, например, всегда говорю: что бы ни случилось, а дети пусть дома сидят.**

- **Им только волю дай... Известно...**

Между тем Исаак дошел до конца улицы и свернул за угол в темный переулок, надеясь сократить себе путь. И тут он, неожиданно увидел того мужчину, который ругался со служанкой во дворе первосвященника. Мужчина плакал, странно как-то, совсем по-детски, вытирая огромным своим кулаком слезы на щеках. Заметив Исаака, он тут же смутился и, отвернувшись, быстро ушел, теряясь в полутьме.

СЦЕНА 64. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ИСААКА. ДЕНЬ.

Когда Исаак подошел к своему дому, солнце уже взошло. Было светло и почему-то очень жарко, или так показалось Исааку – пот градом катился с его лица. Он уже собрался войти в ворота, когда соседка испуганно окликнула его и подбежала к нему.

- **Исаак!** – закричала она. – **Где ты был?! Мать ищет тебя по всему городу. С ума сходит. Ты слышишь меня?**

- **Слышу,** - ответил он. – **А где, где она? Куда она пошла?**

- **Откуда я знаю... Где-то в городе. Может... Нет, не знаю.**

Исаак, ничего не говоря, тут же повернулся и быстро как мог, пошел по улице. В конце улицы он пересилил себя и побежал. Соседка недоуменно смотрела ему вслед.

СЦЕНА 65. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КНИГОХРАНИЛИЩЕМ. ДЕНЬ.

Он увидел себя на площади, но как он дошел сюда, он почему-то не мог вспомнить. Он поднялся на ступеньки и дернул тяжелую дверь входа. Но она была заперта, как и должно быть в день опресноков, в канун Пасхи. Исаак сел на ступеньки и тут же впал в забытие. Пришел он в себя только тогда, когда какая-то пожилая женщина тронула его за плечо:

- **Эй, что с тобой, мальчик?**

Исаак поднял на нее глаза, но ничего не ответил. Женщина по-своему поняла странность Исаака. Порывшись в корзине, она достала плоский опресночный хлеб, отломил кусок и протянула ему.

- **На, поешь немного...**

СЦЕНА 66. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. ДЕНЬ.

Исаак шел по шумной торговой улице, состоящей сплошь из различных лавок, среди толпы людей, спешащих успеть совершить последние покупки к Пасхе, до наступления субботы. На этой улице много было женщин. Исаак всматривался в лица, но все напрасно – матери нигде не было.

СЦЕНА 67. УЛИЦА ВОЗЛЕ ЭФРАИМСКИХ ВОРОТ. ДЕНЬ.

Исаак не помнил, как он оказался у Эфраимских ворот. Здесь почему-то было много конной римской стражи. Ничего хорошего это не сулило, и народ старался поскорее убраться от этого места. Какая-то большая группа возбужденно кричащих людей пыталась выйти из города через эти ворота, но конные их оттесняли, не давая пройти. Назревало явное столкновение, если ни того хуже, потому что начали раздаваться крики и засвистели римские бичи. Люди вокруг Исаака бросились почти бегом вверх по узкой улице, подальше от неприятностей. Невольно они увлекли за собой и Исаака, в ту часть города, которая была ему совсем не знакома.

СЦЕНА 68. ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ВОЗЛЕ ИСТОЧНИКА. ДЕНЬ.

Он пришел в себя возле источника, жадно поглощая холодную воду, струившуюся по камню. Напившись, Исаак двинулся в одну сторону от перекрестка, затем в другую, потом снова в прежнем направлении. Видно было, что он заблудился, и не знает, куда ему идти. Да и спросить было не у кого. Подумав, Исаак двинулся направо по узкой улице.

СЦЕНА 69. УЛИЦА ВОЗЛЕ РИМСКИХ КАЗАРМ. ЭКС. ДЕНЬ.

Исаак очутился на какой-то совершенно не знакомой ему улице. У ворот стояли нарядные молодые женщины и чего-то ждали. Они заметили Исаака, и теперь перемигиваясь и похохатывая, обсуждали что-то, глядя на него. Еще толком ничего не понимая, Исаак прошел первые ворота, вторые - и тут грянул смех. Смеялись все женщины, вся улица. Одна из женщин, вилля бедрами, подошла к нему и громко спросила:

- Эй, герой, а не рано ли еще тебе сюда приходить? А если родители узнают?

Ее слова вызвали новый взрыв смеха. Только теперь Исаак сообразил, что женщины эти – блудницы, а улица эта – именно та, о которой ему говорил Давид. Исаак растерялся, начал пятиться назад, но тут его выручила одна из женщин. Она подошла к нему, развернула его лицом к выходу с улицы и даже чуть подтолкнула его в спину.

- Иди, иди, нечего тебе здесь делать, - сказала она. И добавила, уже обращаясь к подругам: **- Хватит вам, чего смущаете ребенка.**

- Какой он ребенок, Саломея? Взрослый мужчина, - не унимались ее подруги, похохатывая.

Исаак, быстро как мог, шел к выходу с улицы и уже почти достиг перекрестка, когда путь ему преградила толпа, внезапно ввалившаяся в узкую улицу и заполонившая ее, словно поток от стены до стены. Впереди в центре шел огромный мужчина с кривым от шрама лицом, с крепкими, сильно волосатыми руками. Рядом были его приятели, такого же разбойного вида. Они несли большие кувшины вина и радостно улыбались.

- А мы к вам, в гости! – широко улыбаясь крикнул мужчина. **- Не ждали меня? А? Что, не ждали?!** - Он громко засмеялся. **- Ой, Варрава!** – удивленно выкрикнула одна из женщин. **- Смотрите! Варрава, живой! Глазам не верю!** -

Она подбежала к Варраве, желая обнять его, и он тут же с легкостью посадил ее на руку, как ребенка. Тут и все другие женщины бросились к нему.

Исаак, прижавшись к стене, пропустил мимо себя всю эту гурьбу веселящегося народа и вышел наконец-то на соседнюю улицу к перекрестку.

СЦЕНА 70. ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ВОЗЛЕ ИСТОЧНИКА. ДЕНЬ.

Исаак сидел на земле возле источника. Вода тихо струилась из расщелины в большом камне. Он подставлял ладони и пил без конца прохладную воду. Похоже, ему было совсем плохо, не было даже сил встать и идти дальше. Исааку показалось, что сидит он тут уже давно, так как небо над далекими холмами резко потемнело, предвещая грозу. Оно казалось уже почти черным и эта тьма медленно, но ощутимо приближалась к городу. Но желтое солнце все еще невыносимо било в глаза Исааку, беспощадно обжигая, как ему казалось, все вокруг. Судя по солнцу, был уже шестой час – середина дня, самое жаркое время. Напротив Исаака, неподалеку, трое работников чинили чьи-то большие ворота, заменяя в них доски. Огромные гвозди они вгоняли в тугое дерево перекладин. Этот стук, невыносимо громкий, как казалось Исааку, словно хлыстом бил ему в уши, стучал тупой пульсирующей болью в висках. Исаак понимал, что надо встать и идти дальше, он приподнимался, преодолевая одурь, но снова и снова садился на землю, не в силах двинуться с места. Непомерная тяжесть словно висела в раскаленном воздухе и не давала встать. Между тем, работники посмеивались между собой и поглядывали на Исаака с ухмылками. Теперь-то Исаак понимал, в чем тут дело. А дело было в том, что вышел-то он с «той самой улицы», и работники видели это. Поэтому все, что происходило сейчас с Исааком, они воспринимали соответственно, упражняясь в грубом своем остроумии. В какую-то минуту Исааку почему-то стало казаться, что он видит вблизи их смеющиеся, беспрестанно веселящиеся лица, их подмигивающие глаза, огромные гвозди, с хлестким стуком разрывающие хрустящую плоть дерева. Наконец, словно скинув с себя наваждение, невероятным усилием воли Исаак все-таки встал и, тяжело ступая, пошел вниз к Эфраимским воротам, подальше от этого ужасного места, так долго не отпускавшего его.

СЦЕНА 71. УЛИЦА ВОЗЛЕ ЭФРАИМСКИХ ВОРОТ. ДЕНЬ.

Возле Эфраимских ворот уже не было римской стражи. В город и из города двигались редкие повозки и прохожие. В основном, все направлялись в город. Лавки вдоль улицы уже начали закрываться. Все спешили закончить свои дела до захода солнца, до времени, когда зажгутся свечи Пасхального седера, совпадающего в этот год, удивительным образом, с празднованием субботы. Небо темнело на глазах, хотя еще была середина дня. Предгрозового ветер порывами гнал густую, серую пыль. Исаак остановился посреди улицы, постоял, подумал и двинулся почему-то не в сторону города, а к выходу из него, к воротам. И там, прямо в воротах, он столкнулся с большой группой высокопоставленных архиереев. Они гордо и неторопливо шествовали, переговариваясь между собой. Впереди шли стражники, отгоняя на край дороги повозки и прохожих. - **Расступись! Отойди в сторону!** – раздавались грубые выкрики тут и там.

Исаак вместе со всеми отошел на край дороги, пропуская процессию. Неожиданно среди архиереев он заметил рабби Элиезера. Тот оживленно доказывал что-то своему собеседнику и слова его, невольно, долетали до слуха Исаака.

- Он Илию звал, пророка, я вам точно могу сказать, - настаивал Элиезер. – Я как раз подошел ближе, когда Он вскрикнул...

- Да, нет, нет, уважаемый Элиезер, - не соглашался его собеседник, - Или, Или - вот что он произнес. Так и должно быть. Любой человек, когда молится, говорит: Боже мой, Боже мой... При чем тут Илия? Чего это ему было Илию призывать, не понимаю...

Исаак проводил взглядом процессию и быстро пошел по дороге, ведущей из города.

СЦЕНА 72. ДОРОГА К ГОЛГОФЕ. ДЕНЬ.

Пройдя совсем немного по дороге, Исаак увидел большую группу женщин. Их головы были покрыты траурными платками. Многие из них рыдали в голос, как плакальщицы. Подойдя ближе, Исаак увидел среди других Марию, мать Марка. Ее, рыдающую, обессилившую от горя вели под руки две другие женщины. Исаак подошел к ней. Мария узнала его, она протянула к нему руки и прижала его голову к себе.

- Не ходи туда, Исаак! Не надо тебе это видеть, - бормотала она. – Сироты мы теперь, мальчик мой. Все! Нет больше Учителя нашего... Не ходи... Нет его...

Мария не отпускала Исаака, продолжая прижимать его к себе и он, вместе со всеми, невольно, направился снова к городу, так и не дойдя до места казни.

СЦЕНА 73. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА ИСААКА. ДЕНЬ.

Когда Исаак свернул на свою улицу, приближаясь к дому, небо уже совсем потемнело, стало темно, как в сумерки и налетел вихрем сильный, почти ураганный ветер – хамсин. Пыль густой пеленой поднялась в воздух. Неожиданно земля под ногами Исаака качнулась и прямо рядом с ним, хрустнув, прошла зигзагообразная трещина по стене. Створка ворот соседнего дома соскочила с петель и с грохотом упала на землю.

СЦЕНА 74. ДВОР И ДОМ ИСААКА. ДЕНЬ.

Исаак, прикрывая глаза от пыльных вихрей, вошел в свой двор и тут же бросился к горнице.

- Мам, ты здесь? Мам! – выкрикивал он, перекрывая гул ветра, хотя было уже понятно, что в доме никого нет.

Исаак бессильно опустился на лавку, с безразличием посмотрел, как качнулись полки на стене и глиняные чашки упали на пол, разбившись. Небо озарилось белой, яркой ослепительной вспышкой, мощный гром прокатился совсем близко и долго, не затихая, умолкал вдалеке. Стало совсем темно. И тогда сразу, одновременно обрушился плотный густой ливень. Исаак встал, зачем-то поднял осколки чашек, положил их на стол. Снова сел на лавку, не зная, что предпринять. Он сидел и смотрел на стены, на предметы, с трудом различимые в темноте, словно не узнавал их. Вокруг было темное, холодное и чужое жилище,

место, которое покинула жизнь. Ветер продувал его насквозь, все было неживое, как показалось Исааку, мертвое, будто в гробнице. «Мерзость запустения» - вдруг вспомнились ему слова пророка. Горницу снова высветила яркая вспышка молнии, за ней другая, еще одна... В свете этих всполохов вдруг стало видно, как Исаак подошел к проему двери, секунду постоял, собираясь с духом, и решительно шагнул в потоки дождя.

СЦЕНА 75. ДОРОГА К ГОЛГОФЕ. ВЕЧЕР.

Он бежал по размокшей дороге, словно боясь не успеть, преодолевая ливень и резкие порывы ветра. Ноги его скользили по вязкой глине, он падал, вставал и снова бежал. Он взобрался по склону холма, цепляясь за травы, соскальзывая вниз и снова карабкаясь вверх. И тогда вдруг открылось перед ним через пелену дождя страшное место казни. Кресты были уже пусты – казненных сняли. Свисали веревки, раскачиваясь под ветром, валялся пустой кувшин возле центрального креста. Было настолько темно, что Исаак с трудом разглядел табличку-надпись над центральным крестом. Исаак повернулся, чтобы идти назад и тут неожиданно увидел, чуть поодаль, фигуру какого-то человека, то ли нищего, то ли безумного. Он стоял, опираясь на палку, седые волосы развивались под порывами ветра. Он, не отрываясь, смотрел на кресты и что-то бормотал не переставая. Лицо человека показалось Исааку знакомым. Он подошел ближе, и тогда увидел: это был рабби Симон.

- А-а, это ты, Исаак, - безразлично произнес Симон. – **Вот видишь...**

Он помолчал, но затем вдруг резко, почти отчаянно выкрикнул:

- **Нет! Он не Мессия! Не может этого быть! Не Мессия... не Мессия... не Мессия,** - повторял он, словно убеждая самого себя. – **Не может этого быть... Сказано: проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. Значит не Мессия он... не Мессия...**

Исаак медленно отступил назад и торопливо бросился вниз, с холма, подальше от этого страшного места и этой жуткой фигуры человека, потерявшего рассудок.

СЦЕНА 76. УЛИЦА ВОЗЛЕ ДОМА МАРКА. ВЕЧЕР.

Он подошел к дому Марка, когда уже закончился дождь и закатное, багровое солнце выглянуло из туч, освещая кровавым светом стены домов, кровли и улицу. Дело шло к ночи, и все ворота на улице были уже закрыты. Улица была абсолютно пуста, будто город был уже покинут людьми. Исаак постучал в ворота. Никто ему не ответил, но прислушавшись, Исаак четко различил какие-то негромкие голоса, какие-то звуки. Тогда он постучал снова и снова. И в отчаянии начал колотить в еще мокрое от дождя дерево створок.

- **Марк! – кричал он. – Это я, Исаак! Марк! Впусти меня...**

Ворота вдруг приоткрылись. Он увидел Роду, испуганно глядящую на него, большую группу мужчин и женщин в глубине двора и оттуда, от этой группы уже бежала к нему его мать, выкрикивая на бегу: - **Боже мой, Исаак! Я уже не знала, что думать. Где тебя искать... Я думала, я умру... Боже мой, Боже мой...** Она прижала его голову к себе и так стояла в воротах, причитая, приговаривая: - **Я думала, я умру...Боже мой.**

СЦЕНА 77. ДОМ МАРКА. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.

Исаак лежал в небольшой горнице на циновке. Придя в себя, он увидел над собой бородатое, очень доброе лицо какого-то человека. - **А вы кто?** – тихо спросил Исаак.

- **Я Иаков**, - также тихо ответил незнакомец и улыбнулся.

В глубине горницы Исаак увидел свою мать и Марию, мать Марка. Они оглянулись, вероятно, услышав голоса, чему-то улыбнулись. Мария подошла, поставила большой медный таз с водой рядом с циновкой, а Мириам принесла чистый плат и положила его рядом. Они не ушли и продолжали стоять, ожидая каких либо еще указаний от Иакова.

Между тем, Иаков закрыл глаза и стал бормотать какие-то молитвы, чуть раскачиваясь и раз от разу, проводя ладонью по своему лицу, словно снимая пот. Затем он открыл глаза, посмотрел на Исаака очень строго, очень серьезно и произнес:

- **Во имя Иисуса Мессии, Назарянина, исцелись!**

Иаков зачерпнул воду из таза и омыл ею лицо и голову Исаака. Снова он повторил:

- **Во имя Иисуса Мессии, Назарянина, исцелись!**

И в третий раз сделал то же самое. Потом осторожно платом вытер капли и воду вокруг лежащего и, улыбнувшись, сказал:

- **А теперь спи...**

Исаак даже не понял сам, как он погрузился тут же в глубокий исцеляющий сон, а мать, Мария и Иаков стали куда-то удаляться. И пропали.

СЦЕНА 78. ДВОР И ДОМ МАРКА. РАННЕЕ УТРО. 16-е НИСАНА 30 года.

Утром был сильный туман, такой плотный, что Исаак проснувшись и выйдя во двор с трудом смог различить лица людей, толпящихся в середине двора. Да и время было еще совсем раннее, солнце еще не восходило. Он вернулся в горницу, где горел в плошках огонь. Он удивился, увидев, что Мария, мать Марка, и другие женщины были в траурных одеяниях. Они о чем-то переговаривались, стоя у стола, отбирая травы и благовония, укладывая все это в холщевую ткань. Матери Исаака среди них не было.

- **Надо алоэ еще взять**, - донесся голос Марии.

- **Этот алоэ из Индии. Очень хороший. Его и возьмем**, - сказала одна из женщин.

- **А смиру?** – спросила другая.

- **Саломея принесла много. Хватит**, - ответила Мария.

Рода стояла у края стола, растирая какие-то травы. Исаак подошел к ней.

- **Выздоровел?** – не отвлекаясь от своей работы, спросила она.

- **Да, совсем выздоровел**, - ответил он.

- **Ну, и хорошо.**

- **А где моя мать?** – спросил Исаак.

- **Так она ушла домой. Еще вчера...**

- **Вчера?** – переспросил Исаак. - **А сейчас что?**

- **Что?** – не поняла Рода.

- **Утро или вечер?**

- **Утро, конечно.**

Исаак снова вышел во двор. Там все так же толпились люди. Теперь Исаак увидел, что в основном это были женщины. У некоторых из них видны были сосуды с благовониями. К Исааку подошел Марк.

- **Как ты?** – спросил он.

- **Все. Выздоровел.**

- **Пойдешь с нами поклониться Учителю? К гробнице?**

- **Пойду...Только,** - Исаак замялся.

- **Что?**

- **Разве можно сегодня?** – спросил он очень тихо, чтобы не услышали другие. – **Ведь сегодня суббота.**

- **Какая суббота,** - усмехнулся Марк. – **Субботу ты проспал. Весь день спал. Сегодня уже первый день недели.**

В это время женщины из горницы уже вышли во двор, и все направились к воротам.

- **Иосиф,** - позвала Мария, остановившись, – **так ты пойдешь с нами? Надо же камень отвалить.**

- **Я иду...Конечно. Уже иду.**

СЦЕНА 79. УЛИЦЫ ИЕРУСАЛИМА. РАННЕЕ УТРО.

Они шли в густом тумане, словно плыли в воде. Впереди шли женщины, за ними Иосиф, Марк и Исаак. Было еще очень рано, поэтому и людей на улицах не было, будто город вымер, растворившись в серой утренней полумгле.

СЦЕНА 80. ДОРОГА У ЭФРАИМСКИХ ВОРОТ. РАННЕЕ УТРО.

Они вышли из города и направились к деревьям, чернеющим на склоне, с другой стороны дороги.

- **Куда ты, Мария? Надо идти вдоль стены,** - донесся чей-то голос впереди.

- **Сюда, сюда... Я хорошо помню,** - ответила Мария.

Все двинулись по тропинке вверх, и она их очень скоро привела в сад.

СЦЕНА 81. САД ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО. РАННЕЕ УТРО.

Марк, Иосиф и Исаак чуть отстали от женщин, поэтому они не сразу увидели то, что происходило впереди, в глубине сада. А происходило там что-то непонятное. Несколько женщин, которые, похоже, пришли сюда раньше, что-то торопливо и испуганно объясняли подошедшим к ним Марии и ее спутникам.

- **Иосиф, Иосиф! Иди сюда. Быстрее!** – донесся испуганный голос Марии.

- **Мария Магдалина видела, я тебе говорю, и Мария Клеопова тоже! Видели они!** – доказывала одна из женщин, по имени Зелома.

- **О, Боже, Боже** – вскрикивали вновь пришедшие. Иосиф быстро пошел вперед.

- **Что случилось?** – спросил он.

- **Камень отвален у гробницы. Украли тело Учителя... Нет его,** - ответила одна из женщин.

- **Не украли. Нет. Я же говорю,** - настаивала Зелома. – **Видели Учителя живым. Он был здесь. Мария Магдалина видела...**

- **Как это может быть?** – опешил Иосиф и решительно направился вперед, в серую пелену тумана, туда, где должна была находиться гробница. Марк пошел было за ним, но Иосиф резко остановил его: - **Стой здесь!**

Женщины поутихли, только одна из них громко всхлипывала. Все смотрели в сторону Иосифа, удаляющегося в туман, с наивной надеждой, что он, вероятно, сумеет все объяснить, во всем разобраться. Похоже было, что сами женщины уже боялись подходить к гробнице. Вскоре Иосиф вернулся, подошел к женщинам, обескуражено пожал плечами:

- Пелены погребальные лежат...И плат...Их сняли. Ничего не понимаю. Если украли тело – зачем сняли пелены?

- Я же говорю, - настаивала Зелома, но уже очень тихо, будто боясь вспугнуть тишину. **- Мария Магдалина видела...** Но тут ее перебили выкрики. **- Вон, вон, смотрите... Петр идет.**

Между деревьями широкими шагами и размахивая руками, шел рослый сильный мужчина. За ним, чуть поотстав – другой, совсем почти юноша.

- Где? – коротко спросил Петр, приблизившись к женщинам.

- Там, вон... По тропинке, - раздались голоса.

- Иоанн! – позвал Петр.

Молодой тут же пошел следом за ним и оба исчезли в тумане. Все ждали молча. Через какое-то время Петр и Иоанн появились, продолжая о чем-то негромко спорить.

- Искать надо. Тело надо искать! – резко и решительно настаивал Петр. **- Все равно надо искать, что бы кто ни говорил.**

- Ты что, не слышал, что сказала тебе Магдалина? – возражал Иоанн.

- Магдалина от горя совсем обезумела, что ее слушать... Мало ли что ей почудилось.

- А Марии Клеоповой, что, тоже почудилось? - не отступал от своего Иоанн. Петр подошел к женщинам.

- Кто-нибудь из вас сообщил уже Иосифу Аримафейскому? – спросил он.

- Нет... нет... Никто. Не успели, - растерялись женщины.

- Действительно, это же его сад. Надо было его позвать сразу, - заметил кто-то.

- Так. Все. Я иду к Иосифу, - сказал Петр. **- Иоанн, ты со мной?** И обернувшись на ходу к женщинам, добавил:

- И сообщите Иакову, кто-нибудь. Он у Саломии в семье. Пусть приходит сюда.

Петр и Иоанн быстро направились к выходу из сада. За ними потянулись и все остальные. Исаак тоже двинулся было за ними, но остановился. Посмотрел на темную глубину, скрывающую гробницу, потом на тонкие деревья, светлеющий пологий склон, где был выход из сада и куда направились все. Какое-то время он так и стоял, поглядывая то туда, то сюда, раздумывая, не в силах принять решение, пока, наконец, голоса не пропали в тумане. В наступившей тишине не слышно было никаких звуков, только где-то вдали вспорхнула и улетела птица. И тогда Исаак медленно и осторожно направился в полутьму, к гробнице. Вначале он видел только серую пелену тумана и черные контуры деревьев. Затем впереди обозначился выступ скалы, а в нем – черная дыра входа в гробницу. Исаак замер, остановился, почему-то посмотрел назад, потом вперед, постоял и медленно приблизился ко входу. Рядом лежал большой камень, но почему-то лежал плоско, будто его толкнули изнутри, а не

отодвинули вбок по желобу, как обычно делается в гробницах. Исаак подошел совсем близко, и чуть наклонившись, заглянул вовнутрь. Он увидел там погребальные пелены. Они были размотаны, и один край их выступал из черноты входа наружу. Исаак присел на корточки и дотронулся рукой до края пелены. Он сразу же резко отдернул руку, словно от ожога, но потом снова дотронулся и даже провел рукой по тонкой материи. Раз, другой... И почему-то слезы сами собой беззвучно хлынули у него из глаз. Как бывает, наверно, у тех, кто теряет последнюю надежду, которой жил долгое время, и на которую уповал, как на единственное спасение. Исаак медленно отвел руку от пелены, поднялся с корточек, но все не мог никак оторвать взгляда от погребальной пелены, от плата, белеющего в глубине пещеры. Неожиданно словно какая-то тень легла сзади на камень скалы. Исаак каким-то десятым чувством ощутил, что сзади кто-то стоит. Он чуть повернул голову и тут же его взгляд уперся в материю длинного до земли хитона. Исаак замер и почувствовал, что почему-то он не может поднять глаза и посмотреть вверх. Хитон был совсем близко перед его лицом, а затем появилась рука. Ладонь тыльной своей стороной очень нежно, очень бережно провела по щеке Исаака, стирая слезу. Хитон тут же отступил от лица Исаака и неслышно двинулся куда-то вбок, в туман и полутьму сада. Исаак повернулся и, наконец, поднял глаза, чтобы разглядеть лицо незнакомца, но там уже виден был только размытый в тумане темный контур удаляющейся фигуры. Да и он через мгновение пропал, растворился.

СЦЕНА 82. ДОРОГА В ВИФАНИЮ. УТРО.

Исаак сидел на склоне Елеонской горы, у вершины, на своем любимом месте, откуда открывался прекрасный вид на святой город Иерусалим. Уже совсем рассвело, и солнечные лучи разогнали утренний туман. Исаак сидел, положив подбородок на колени, обхватив их руками. О чем-то он думал, сосредоточенно, напряженно. Но на лице его была улыбка. Какая-то не детская, взрослая уверенность чувствовалась в нем, как бывает у человека, который точно знает, что самое главное в его жизни уже свершилось. Внизу по дороге, ведущей от Иерусалима, двигались паломники, распевая псалмы, и легкий ветер доносил до слуха Исаака столь любимые им строчки:

«Если забуду тебе, Иерусалиме, забудь меня десница моя».

КОНЕЦ

GEDICHTE VON KZ-GEFANGENEN

(THERESIENSTADT, TREBLINKA, AUSCHWITZ)

Jisroel STERN

EIN WORT ÜBER MENSCHEN IN EINEM ALTEN BUCH

Obwohl es Frühling ist, fiel Schnee und Regen,
über die Säulen der Nacht ist wie eine Katze geklettert
die Trauer, und hockte erschreckend auf den Wegen.
Ich saß und hab in einem alten Buch geblättert.

Da hat ein Wort zu strahlen angefangen
in meiner Stub, ein stolzes Wort, obgleich ein alts,
aber ich bin dem Traum nicht entgegengegangen
mit einem silbernen Tablett, mit Brot und Salz.

Das Wort, es ward kein blitz, der mir den Schlaf zerbricht,
und in der Früh ist es nicht mir zukopf gesessen
mit Messern in den Augen: ein Strafergericht,
hat nicht wie Schwefel gebrannt in meinem bisschen Essen.

Ich habe mitgefrühlingt im tanzenden Tag,
geschrieben Freud mit meinem Stecken auf wärmenden Sand,
und in mein Frühstück troff mir nicht herein die Klag,
daß ein blutiger Jud hat gekratzt an der Wand,

schwer und blind wie eine Wolke, und findet nicht sein Haus,
als Gelächter sich kräuselt in den Haaren der Schläger,
als meine Gasse entläuft, schnell und klein wie eine Maus.
Und im Park stehn die Bäume wie die Büchsen der Jäger ...

Doch nicht vor Scham ward Morgen und Mittag rot.
Die goldne Sonne hat sich nicht verhüllt.
Und nicht in Sonne und Baum und nicht in mir hat gelobt
das Wort: „Der Mensch ist Gottes Ebenbild“...

СТИХИ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

(ТЕРЕЗИЕНСТАДТ, ТРЕБЛИНКА, ОСВЕНЦИМ)

Изроэль ШТЕРН*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА*

СЛОВО О ЛЮДЯХ В ОДНОЙ СТАРОЙ КНИГЕ

Ещё весна, но дождь идёт и сыплет снег,
и грусть с повадкой дикой кошки в ночь
прокралась, и тайком присела на ночлег.
Я книгу старую читал, сон прогоняя прочь.

Вдруг в комнате зажглись с сияньем жарким
древние слова – так просто, гордо и достойно,
но, я навстречу не пошёл с серебряным подносом ярким,
чтобы как друзей почтить их хлебосольно.

То слово молнией мне сон не разрушало,
и не осталось в голове в рассветный миг
оно у глаз моих ножами не сверкало:
истлевший в сере Суд в обед мой скудный не проник.

Дарил мне день весенний танец и тепло,
цветами радости песок лежал покрытый,
и рядом с трапезой моей отсутствовало зло,
где кровью истекал еврей почти убитый,

чёрнее тучи и слепой, он дом искал,
и поперхнулся смехом в кудрях хулигана:
ударив, тот мышью мимо окон пробежал.
Охотничьями ружьями стоят деревья странно ...

Ни день ни полдень стыдливой краской не залило
И золотое солнце тоже не прикрылось красной тогой.
ни солнце, ни деревья, ни меня не поразило
то Слово: «Человек подобен Богу» ...

Rachel H. KORN

MEIN LEIB

Ich bin noch wie ein Baum im Wald
zur Höhe gewendet mit allen Gliedern,
die Sehnsucht grünt aufs neu
mit jeder jungen Liebe –

Nur mein Schatten,
wie ein grauer
Flor, gewebt von dünnster Trauer,
nimmt schon von meiner Gestalt
das Maß
für die wartende Erd,
für das feuchte Gras.

Friert der Sommertag,
in Rahmen eingefast
von schwarzen Schatten,
und dunkler wird das Gras
zu meinen Füßen,
als hätt es eben kalt
ein erster Hauch von Herbst versehrt ...

Mein Schatten,
wie ein grauer
Flor, gewebt aus dünnster Trauer,
nimmt schon von meiner Gestalt
das Maß
und verschwistert mich
mit wartender Erd,
mit feuchtem Gras,
und in meinem Geblüt
hör ich weinen die Welt
und das nichtgeborene Lied.

1941

Рахель Х. КОРН

МОЁ ТЕЛО

Я ещё как дерево в лесу
тянусь ветвями к небу,
и тоска вновь зеленеет
с каждой молодой любовью –

Только моя тень,
похожая на серый
цветок, сотканный из тончайшей печали,
снимает с моего тела
мерку
для ждущей земли,
для влажной травы.

Мёрзнет летний день,
зажатый рамкой
из чёрных теней,
и темнеет трава
у моих ног,
словно заблудившаяся при
первом холодном дыхании осени ...

Моя тень,
похожая на серый
цветок, сотканный из тончайшей печали,
снимает с моего тела
мерку
чтобы смешать меня
с ждущей землёй,
с влажной травой,
и в моей крови
я слышу как мир плачет
о нерождённой песне.

1941

Pavel FRIEDMANN

DER SCHMETTERLING

Der letzte war's der aller allerletzte
der satt und bitter blendend grelle
vielleicht wenn eine Sonnenträne irgendwo auf weißem Stein erklingt
so war das Gelb und trug sich schwebend in die Höhe
er stieg gewiss gewiss wollt' küssen er dort meine letzte Welt
und sieben Wochen leb ich da gettoisiert
hier fanden mich die Meinen mich ruft der Löwenzahn
und auch der weiße Zweig im Hof auf der Kastanie
doch einen Schmetterling hab ich hier nicht gesehen
das war gewiss der allerletzte
denn Schmetterlinge leben nicht im Getto.

1942

DIE ANGST

Durch unser Getto zieht ein neuer Schrecken,
bedroht mit böser Krankheit groß und klein.
Man sieht den Tod die Sense vor sich strecken,
so lechzt nach Opfern er in arger Pein.

Den Vätern schlägt das Herz im Leib geschwinder,
voll Trauer hüll'n die Mütter ein ihr Haupt,
die Typhusotter würgt ihnen die Kinder zu Tod,
bevor sie es geglaubt.

Ich bin noch da, bin noch ein lebend Wesen,
indes die Freundin schon im Jenseits weilt, i
ch weiß nicht, ob's nicht besser wär' gewesen,
hätt mich der Tod mit ihr zugleich ereilt.

Nein, nein, mein Gott – wir woll'n doch leben,
du darfst nicht lichten unsre Reih'n,
wir woll'n nach bessrem Morgen streben,
es wird ja so viel Arbeit sein.

Павел ФРИДМАН

БАБОЧКА

Последняя из всех самых последних
она полнокровно горькой и яркой вспышкой
словно солнечная слеза, брызнувшая из белого камня
воспарила золотисто в высоту
всё выше, выше, желая поцеловать покидаемый мною мир
уже семь недель я живу в гетто
здесь я среди своих и окликает меня одуванчик
и белая ветка каштана во дворе
только бабочку я здесь не видел
та бабочка была самой последней
в гетто бабочки не живут

1942

СТРАХ

И в наше гетто страх нагрязнул снова
с болезнью страшной нам не избежать свиданья.
Косою острою взмахнула смерть сурово
и жаждет жертв, мучительных страданий.

Сердца отцов от боли рвут тела,
чернее ночи матерей одежда,
а смертный приговор вершит свои дела
и гасит свет слабеющей надежды.

Ещё я здесь, ещё на этом свете,
любимая моя разлучена со мной,
быть может лучше было б на рассвете
мне вместе с ней покинуть мир земной

Но нет, мой Бог, оставь нам жизни наши,
пусть не редет обречённых ряд,
мы верим в то, что Завтра будет краше
и каждый созидать вновь будет рад.

DIE MÜTZE

N.N. : Ghettowache

Eine kleine bedeutungslose Mütze, und doch ist sie hier in Theresienstadt von großer Bedeutung. Es genügt, auf die Straße hinauszutreten und alle Mützen zu beobachten, und dabei erkennt man stets etwas über ihre Besitzer. Eine hohe Schildmütze mit ein oder zwei gelben Streifen zeigt klar, dass ihr Besitzer ein Ghettowachmann ist, ein Hüter der Theresienstädter Ordnung. Auch Feuerwehrleute, die noch kein Feuer gelöscht haben und auch kaum löschen werden, erkennen wir an ihrem Käppi. Wenn ihr einem Mann mit weißer Mütze begegnet, schaut zu, seine Gunst zu erwerben, denn wisst, dass dieser zumeist dickliche Mann ein Koch ist. Wenn ihr seine Bekanntschaft macht, habt ihr die Garantie, nicht Hungers zu sterben. Ihr dürft jedoch den Koch nicht mit dem Leichenträger verwechseln, die sind ähnlich gekleidet. Und wenn ihr schließlich ein Wollmützchen mit einem Stubbelchen oben erblickt, dann wisst ihr gleich, dass sein ehrenwerter Besitzer ein Bewohner der Jugendkaserne I. ist. Unter diesem Mützchen verbirgt der Arme seine Platte, die ihm der grobe Friseur kurzgeschoren hat. Ein modisches Damenhütchen bedeckt die dreifarbigigen Haare eines jungen Fräuleins, einer Dame oder Oma. Vorne sind die Haare blond, in der Mitte schwarz und hinten schimmern die grauen durch.

Menschen, die mit einem Transport ankommen oder abfahren, haben auf dem Kopf eine bis fünfundzwanzig warme Mützen. Deutsche Juden wiederum zeichnet eine Vorliebe für besondere Schildmützen aus, wie sie von den Tschechen (mit Ausnahme Baron Münchhausens) nicht getragen werden.

Was ich hier schrieb, ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was über die Mützen in Theresienstadt erzählt werden könnte. Weil ich jedoch nicht mehr Platz habe, schließe ich.

ШАПКА

N.N. : Охрана гетто

Самая обыкновенная фуражка здесь, в Терезиенштадте, имеет большое значение. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на фуражки, чтобы кое-что узнать об их владельцах. Высокая фуражка с козырьком с одной или двумя жёлтыми полосами ясно показывает, что её владелец служит в гетто охранником, он страж порядка в Терезиенштадте. Также по кепкам мы узнаём пожарников, которые никаких пожаров не тушили и никогда не будут тушить. Если вам встретился мужчина в белой шапочке, и откровенно проявляет к вам интерес, наверняка этот, чаще всего полный мужчина, является поваром. Если он хочет с вами познакомиться, у вас есть гарантия, что от голода вы не умрёте. Только не перепутайте его с работником морга, потому что одеждой они похожи. И если, наконец, мелькнёт шерстяная шапочка с домиком вверху, знайте, что её уважаемый владелец обитает в юношеской казарме И. Под этой шапочкой бедняга прячет свою лысину, которую ему коротко обстриг грубый парикмахер. Модная дамская шляпка покрывает трёхцветные волосы юной девушки, или дамы или бабушки: спереди волосы блондинки, в середине они чёрные, а сзади торчат седые.

Люди, которые приезжают или отъезжают с очередным транспортом, одевают на голову двадцать пять тёплых шапок. Немецких евреев отличает особая любовь к фуражкам, которые чехи (за исключением барона Мюнхгаузена) не носят.

То, что я написал, есть только малая часть того, что можно рассказать о шапках в Терезиенштадте. Поскольку у меня нет больше места, я заканчиваю.

Yvan GOLL**MOND****I**

Wie unerbittlich aber schweldest du
kleiner Modistinnen einsames Herz
und polternder Klaviere Himmelssehnsucht.

Wie unerbittlich streutest du dein Leuchten
in dunkelnde und fröstelnde Alkoven
und hinters Gitter der Gefangenen.

Aus der entbrannten Hölle ihres Herzens
schrien die Menschen und verzweifelten
und rissen sich die Brust im Irrsinn auf
und starben dran, daß du so schön gewesen.

II

Und als du plötzlich, wie ein wunder Vogel,
vom Himmel flattertest und deine Flammen
in roten Federn niederfallen ließest:

Wie gräßlich fuhr dein Strahl über die Erde!
Die Tiere hatten Phosphor in den Augen,
die Häuser brannten ab wie Scheiterhaufen.

Die Menschen, die um dunkle Plätze irrten,
Apachen und Kokotten und Gendarmen,
sie glaubten wie Indianer an dein Sterben
und feierten den Tod in dieser Nacht.

III

Wie sollten wir dich anders denn verstehn,
o roter Mund, der sündig sich verzerrte;
wir Schmach tenden, auf stummer Erde hockend!

Иван ГОЛЛЬ*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ЛУНА****I**

Как же безжалостно ты врываешься
в одинокое сердце маленькой модистки
и в грохочущие рояли небесной тоски.

Как упрямо проникает твой свет
в мрачное, промозглое жильё
и за решётки узников

Из выгоревшего ада их сердец
отчаяния рвутся крики,
чтоб разорваться от безумия в груди,
и умереть от красоты твоей.

II

И вдруг когда ты, словно чудо-птица,
в небе вспорхнёшь и твой огонь
низвергнется весь в красных перьях:

Проносится ужасный луч твой над землёй!
Зажжётся фосфор у зверей в глазах,
жилища вспыхнут как погребальные костры.

Люди попрячутся в тёмных углах,
апахи и кокотки и жандармы,
они поверят как индейцы в смерть твою
и будут праздновать её всю ночь.

III

Можем ли мы тебя иначе понять,
о красная Луна, кривляка, грешница;
мы истомились, прижатые к немой земле.

Kalt in Mansarden warfst du dein Gemecker,
und über die verstummten Krankensäle
ließest du goldne Lerchen zwitschern.

Wir alle standen an die Welt gekreuzigt
und mußten dich mit unsern Augen schau'n,
und mußten an den Schmerz und an das Sterben glauben
und mußten doch noch immer weiter hoffen!

IV

Und eines Nachts troff Blut auf unser Antlitz:
Dein Blut, zu unsres Krieges Blut gemischt,
rann um die Erde wie ein runder Ring.

Verwundete, tiefkniend bei Kartätschen,
aufschäumten ihre Lippen von dem Roten,
und Sterbende ersoffen an dem Trank.

Es war kein Heil im Himmel noch auf Erden:
Wir mußten unsre Häupter tief vergraben,
wir mußten unsre Lieben tief verschütten,
und klagten, daß wir eher nicht gestorben.

V

Doch da, als Tänzer und geschminkte Maske,
befreitest du die Gräber. Säulen barsten,
der Marmor klirrte, Kränze lösten sich.

Aus deinem Schwelen gläsern stieg ein Christ,
und blau bemalte, blecherne Marien
erstrahlten mitten in Geranientöpfen.

O Tänzer, der die Toten all erlöste,
indessen wir in Schutt und Schmerz und Schlaf
hinschnarchten und ein Glück verschmähten:
Die Toten lebten und wir waren tot.

Ты бросаешь в мансарды своё леденящее брюзжание,
и над онемевшими больничными палатами
заставляешь щебетать золотых жаворонков.

Мы все в этом мире распяты,
и должны не сводить с тебя наших глаз,
и должны поклоняться боли и смерти,
и должны при этом надежду не терять!

IV

Но однажды ночью упадёт кровь на наши лица:
твоя кровь смешавшись с кровью наших войн,
обовьёт всю землю неразрывным кольцом.

Израненные, на коленях под картечью,
с багровой красной пеной на губах,
сполна испили этого напитка смертные.

Ещё не успокоилось ни небо ни земля:
должны мы были наших командиров хоронить,
должны мы были закапывать могилы наших любимых,
и сожалели, что не умерли мы тоже.

V

Тогда ты там, паяцем в пёстрой маске,
опустошала могилы, рушила колонны,
мрамор крошила, венки уничтожала.

Из вихря твоего восстал Христос,
и голубым раскрашенные, оловянные Марии,
в вазах с гераниями воссияли.

О танцовщица, что предала забвению всех мёртвых,
в то время как мы в пепел, в боль и в летаргию
пренебрегая счастьем, погрузились:
мёртвые жили, а мы стали мёртвыми.

REISE INS ELEND

Wie aber schmerzt die Menscheneinsamkeit,
wenn Landschaften mit gleichem Leid wie du sich von dir wenden
und in sich selbst versinken, dir so fremd!
Wenn klein ein Bahnhof dich in kalten Regen stößt,
ein Güterwagen leer und ohne Zukunft dich anbettelt.
Da kriecht ein fahler Gaul auf dunklem Acker,
oh, wenn der wüßte, daß du existierst
und du ihn liebst, ihm würden Flügel blau zum Himmel wachsen.
Manchmal schaut Wasser auf zu dir mit großen Augen,
und weil es nicht dein Lächeln sah,
fällt freudlos es und schal in sich zurück.
So läßt du alles dort allein. Es reißt dein Schicksal dich dahin.
Die alte Bucklige am Damm wird ewig nach dir blicken,
untröstlich steht das schreiende Plakat am schiefen Giebel.
So läßt du alles dort allein in unerfüllter Liebesdemut
und weißt es doch, daß, Einsamer, dich eine Stadt erwartet,
in der du weinen wirst die lange Nacht im billigen Hotel.

СТРАНСТВИЯ ГОРЕМЫКИ

Как одинокость болью душу ранит,
когда природа, как и ты в тоске, совсем не смотрит на тебя,
в себя погружена, совсем тебе чужда!
Когда затерянный вокзал тебя в холодный дождь толкнёт,
и грузовой вагон, что едет в никуда, тебя не подберёт.
Там где-то кляча старая плетётся в тёмном поле,
о если б она знала, что ты есть, и что тобой любима,
на крыльях голубых она б вспорхнула к небу.
Так иногда волна посмотрит на тебя открытыми глазами,
и не увидев на твоём лице улыбки, безрадостно
отхлынет вновь, чтобы в себя поглубже запахнуть.
Всё это дело рук твоих. Судьбу свою ты огорчаешь.
Горбун на дамбе будет вечно на тебя глядеть:
плакат в отчаянии зайдётся на покосившемся фронте.
Всё это дело рук твоих в страдании любви неразделённой
так знай же, одиночка, что город тебя ждёт,
где ты в дешёвеньком отеле всю ночь проплачешь напролёт.

Борис ХАЗАНОВ

К СЕВЕРУ ОТ БУДУЩЕГО: ХАЙДЕГГЕР И ЦЕЛАН

«Хайдеггер – это долгая история. Муки и катастрофы целого столетия породили эту философию... Из философских соображений он слелался на какое-то время революционером-националсоциалистом, но философия помогла ему и отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна, совращения духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии... Он и в самом деле был очень “немецким”, не меньше, чем герой Манна композитор Адриан Леверкюн. История жизни и мысли Хайдеггера – это ещё один вариант легенды о докторе Фаусте. В ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и говокоужительная бездонность немецкого пути в философии... Политическое головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того “учителя из Германии”, голубоглазого арийца, о котором говорит Целан».

Это – цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского, писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Шиллере, Ницше, Хайдеггере, о раннем и позднем немецком романтизме сделали автора известным во многих странах.

Слово Meister означает учитель; другие значения – мастеровой-умелец, выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкант-маэстро; глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец для подражания. Hekhenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) – что-то вроде бригадира над ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского намекает на знаменитую «Фугу смерти» Пауля Целана.

Opus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный главный труд «Бытие и время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в 20-х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней студенткой Фрейбургского университета и будущим философом и социологом, автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.

То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы ребёнка. Почему то, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? Что значит – быть? Последний вопрос распадается на два. Первый: что мы имеем в виду, говоря – я есмь, я существую; и второй: в чём смысл

моего существования? Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира. Между тем наша жизнь, бытиё «вот здесь», не может быть только предметом внешнего рассмотрения, об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Бытиё – это мы сами, и, в отличие от «объектов», мы никогда не бываем кем-то или чем-то готовым и окончательным. Бытиё человека включает бесчисленные возможности самоосуществления. Но я своё бытиё не выбрал; меня не спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от себя. Мы – это то, чем мы становимся.

Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте – смерть. Время постоянно что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.

Во временности, в том, что бытиё «временится», заключён двойной вызов: время открывает перед бытиём всё новые возможности, и время превращает его в бытиё-к-смерти. Время – это и есть смысл бытия. Вопросание смысла есть «ситуация страха». Анализу страха – экзистенциальной тревоги – посвящён 40-й параграф «Бытия и времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера.

Страх (die Angst, в переводе В. Библихина – «ужас») нужно отличать от боязни, испуга (die Furcht). Если боязнь – это страх перед конкретной опасностью, то страх в собственном смысле, в том, что подразумевает под этим словом философ, есть нечто безграничное, безотчётный страх перед миром как таковым. Мир зияет чёрной бездной. «Страх – это откровение перед лицом Ничто». Это также опыт погружения в трансцендентное, похожий на религиозный опыт общения с Богом. Но общаться не с кем – Бога нет. Поставим на этом точку.

Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая форма бытия включает в себе известный риск: принаравливаясь к другим, я теряю себя. Я становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я – это «люди». («Не видите, что ли, – говорили в России пытающемуся протолкнуться в очереди, – здесь люди стоят!»). Теперь я уже «кто-то», ман Хайдеггера. Фразы «man sagt», «man schreibt» передаются по-русски безличной формой глагола: говорят, пишут... Но и ман состоит из таких же поддельных людей, у которых вместо лиц вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа устремлён на близкое будущее. Тоталитарное общество уже на пороге.

Вот краткая хроника: дело происходит во Фрейбурге, в старинном, славном университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего бывшего учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого мая вступает в националсоциалистическую партию, 20 мая подписывает приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в

присутствии партийных бонз, министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает студентов и учёных коллег служить делу национальной революции. Всё это сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский переворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер словно под властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской Академии и военно-спортивного стана бойскаутов, – костры, патрули, проверки, вынос знамени под барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а завтра – целый мир». С помпой, в коротких штанах и гетрах, ректор Хайдеггер принимает рапорт некоего доцента, который руководит экзерцициями студентов с деревянными ружьями. Готовится реформа университета, где по примеру всей страны должен быть введён принцип «вождизма».

Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не читал и не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало помалу не то чтобы образумился, но как-то остыл. Политика приелась, административные обязанности обрыдли. Начались трения с партийными инстанциями, интриги коллег. Через год после назначения ректором Хайдеггер подал в отставку.

После войны у него начались неприятности. Философ, внутренне давно порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история опьянения и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не был исключением. Он просто был самым знаменитым из писателей, мыслителей, интеллигентов, поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он этого не сделал. Почему? Из гордости? Или оттого, что считал своё грехопадение невольным, искренним, в каком-то смысле даже логичным?

Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её сожгли бы в печах. Через много лет она посетила философа и его жену в Шварцвальде. После этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Арендт принадлежит следующее высказывание об учителе из Германии:

«Буря, пронизывающая мысль Хайдеггера подобно тому ветру, который тысячелетия спустя всё ещё веет на нас со страниц Платона, родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто свершившееся и совершенное – то, что возвращается, как всё совершенное, к глубинам прошлого».

В июле 1967 года Пауль Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением увидел свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не видел перед собой такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер. Целан основательно знал философию Хайдеггера, ощущал магнетизм его мысли. Принадлежавший ему экземпляр «Бытия и времени» испещрён пометками. Помнил он и то, что произошло с Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так это то, что 78-летний философ обошёл заблаговременно книжные магазины города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.

Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII веке. О чём они там беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались одно стихотворение и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное слово...». Надеялся ли гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда же, наконец, знаменитый философ произнесёт своё слово в осуждение Голокауста? Хайдеггер промолчал – и распрощался с Целаном.

Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком известной и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу общим местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и неотвязных воспоминаний о лагерях смерти.

*Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
пьём и пьём*

*и роет могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
он отдаёт нам приказ и играет и приглашает сплясать*

*Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
пьём и пьём*

*некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
твои пепельные волосы Суламифь*

*мы роём могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату
а вы запевайте кричит и играет
выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше
плясали*

*Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями
Он зовёт играет всё слаще смерть
смерть наставница из Германии
он зовёт
и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу
в могилу над облаками где лежать не так тесно*

*Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии
пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
псов натравил на нас подарил нам
в воздушных пространствах могилу
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
твои золотые волосы Маргарита
твои пеплом одетые волосы Суламифь*

Перевод, который я решаюсь здесь поместить, далеко не передаёт пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого стихотворения; всё же попробуем просто понять, о чём оно.

Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на конгениальных переложениях Целана; он замечательно переводил и других русских поэтов: Лермонтова, Цветаеву, Есенина), мы встречаем здесь то, что принято называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов, содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до конца. Стихотворение – сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.

«Фуга смерти», с её расшатанным синтаксисом (не зря она печатается без знаков препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как fuga: голоса подхватывают одну и ту же музыкальную фразу.

Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но, кажется, их ждёт другое: сожженные в печах, невесомым дымом поднимутся они в облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой – воспоминания детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки. Лагерь – это немецкая школа, обречённые на смерть евреи – ученики. (Воспитание – постоянная тема классической немецкой литературы). Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса, пишущий по вечерам нежные письма невесте и играющий на скрипке, – это педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигде нельзя научиться, смерть – учитель из Германии. Сквозь всю ткань стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, – и Суламифь, возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь она сама станет пеплом.

Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября 1920 года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой войны была коронной землёй Австро-венгерской империи, затем отошла к Румынии, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семьях круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий. Вторым родным языком был румынский (Целан окончил в своём городе лицей имени великого князя Михая), кроме того, как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал английский, древнееврейский, позднее учился итальянскому и португальскому.

Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г. он приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось остаться в Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились: теперь он увлечён романской филологией. В июне следующего года в Буковину вступает Красная Армия, и на один год подданные румынского короля становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и румынские войска. Седьмого июля 1941 года в город прибывает эсэсовское оперативное формирование – Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер, подруга Целана, находит убежище для семьи – маленькую румынскую фабрику; хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что опасность преувеличена.

Целан прибегает домой – матери и отца уже нет, они были отправлены в лагерь. Там они и погибли.

Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой лагерь и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в сорок девятом году, поселяется в Париже. Здесь он женился на художнице Жизель Лестранж.

Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные по-немецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Йон Карайон включил их в антологию современной лирики, вышедшую в Бухаресте после войны. Тогда и возник псевдоним «Целан» – анаграмма фамилии Анчель. Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была издана плохо, впоследствии автор включил большую часть стихотворений цикла (в том числе «Фугу смерти») в сборник «Мак и память». Мак, из которого добывается опиум, – это символ забытья; память борется с жаждой забвения. Вот отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод Вл. Топорова):

*Вдруг молния губы сведёт – приоткроется пропасть,
где сломанной скрипки звучанье,
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:
прекрасный тростник, запой!*

Любимая, ты ведь тростник,

*мы шумим над тобою, как ливни,
вино бесподобное ты – и глубокими чашами пьём,
челнок на полях твоё сердце, но выплывает в ночи
кувшин синевы,*

ты склоняешься к нам: засыпаем...

В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них «От порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот дыхания», «Нити солнца», «Насильственный свет». Нелегко перевести самые заголовки этих тонких книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений могут дать представление о сложности адекватного переложения:

*На реках к северу от будущего
я забрасываю сеть, которую ты,*

*медля, отягощаешь
теньями, что написали камни.*

*Не у моих губ ищи свои уста,
не за воротами – чужестранца,
не в глазах – слёзы.
Семью ночами выше странствует красное к красному,
семью сердцами глубже рука стучится в ворота,
семью розами позже журчит фонтан.*

*Солнца из нитей
над серо-чёрной пустыней.
Мысль высотой
с дерево
перебирает звуки света: есть ещё
песни, чтоб петь
по ту сторону людей.*

Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер, Т.С. Элиот. В 1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную литературную награду в Германии, он произнёс по этому поводу речь, ставшую знаменитой, – благодарный материал для академических словопрений. С годами язык Целана становился всё концентрированней, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность часто ставила читателей в тупик, музыка становилась семантикой, и можно сказать, что его поздняя поэзия уже почти недоступна для перевода на другой язык. В одном стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено выражение *zwei Mundvoll Schweigen*. По аналогии со словом *Handvoll* (горсть) образовано *Mundvoll*, «пригоршня рта». Две пригоршни молчания, два рта, полных молчания. Невозможность выразить полноту чувства заставляет влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Целана – проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение коронный тезис Хайдеггера: Язык – дом бытия. Может быть, язык – это крематорий бытия?

Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо Леви, как Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фуги смерти» бросился с парижского моста в Сену.

Пауль ЦЕЛАН*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ФУГА СМЕРТИ**

Рассвета черные молоки мы пьем их вечерами
Мы пьем их в полдень и пьем их утром и ночью пьем их
Мы пьем и пьем
Мы в воздухе роем могилу где можно свободно улечься
Мужчина живущий в доме играет со змеями и пишет
Он пишет когда темнеет в Германии твои золотые волосы Маргарита
Он пишет и перед домом его сверкают звёзды и на свист его мчатся псы
Он свистом сгоняет евреев и заставляет рыть могилу в земле
Он велит нам играть музыку к танцам

Рассвета черные молоки мы пьем вас ночью
Мы пьем вас утром и в полдень и вечером пьем вас
Мы пьем и пьем
Мужчина живущий в доме играет со змеями и пишет
Он пишет как только стемнеет в Германии твои золотые волосы Маргарита
Твой пепел волос Суламифь мы в воздухе роем могилу где можно свободно улечься
Он кричит одним глубже копайте другим же чтобы играли и пели
Он срывает оковы с ремня он качается пьяным глазом следя
Чтоб поглубже втыкали лопаты одни а другие веселей чтоб играли

Рассвета черные молоки мы пьем вас ночью
Мы пьем вас в полдень и утром и вечером пьем вас
Мы пьем и пьем
Мужчина живёт в доме из твоих золотых волос Маргарита
Из пепла твоих волос Суламифь он играет со змеями
Он Смерти велит чтоб играла нежней Смерть ведь немецкий Маэстро
Он скрипкам велит помрачнее звучать чтоб взлетели вы в воздух как дым
И тогда в облаках вас могила свободная ждёт

Рассвета черные молоки мы пьем вас ночью
Мы пьем вас в полдень Смерть ведь немецкий Маэстро
Мы пьем вас вечером и утром мы пьем и пьем
Смерть ведь немецкий Маэстро его глаза пьяны
Он выстрелит метко и пулей свинцовой убьёт
Мужчина живёт в доме из твоих золотых волос Маргарита
Он натравит на нас псов и подарит могилу на небе
Он играет со змеями и снятся ему немецкий маэстро Смерть
Твои золотые волосы Маргарита
Твой пепел волос Суламифь

Пауль ЦЕЛАН*Перевод Романа ВАЙНЕРА***ФУГА СМЕРТИ**

Чернь молока рани мы пьем вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем по ночам
все пьем мы и пьем мы
мы в воздухе роем могилу где не тесно лежат
Вон тот живёт в доме играет змеями пишет
он в сумерки пишет всё в дом свой твой золотой волос Маргарита
он пишет из дома выходит и звёзды сверкают он псов своих свистом зовёт
свистом гонит вперёд жидов велит он им копать могилу
он велит нам наигрывать танец

Чернь молока рани мы пьем тебя в ночь
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами
все пьем мы и пьем мы
Вон тот живёт в доме играет змеями пишет
он в сумерки пишет всё в дом свой твой золотой волос Маргарита
Твой пепельный волос Суламифь мы в воздухе роем могилу где не тесно лежат
Кричит он этим рыть землю поглубже другим же играть и петь
Хватает свой ствол размахивает глаза его голубые
поглубже копать надо этим а другим продолжать играть танец

Чернь молока рани мы пьем тебя в ночь
мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем вечерами
все пьем мы и пьем мы
вон тот живёт в доме твой золотой волос Маргарита
твой пепельный волос Суламифь играет змеями
Кричит играть слаще смерть ведь смерть это мастер немец точный
кричит играть мрачней скрипкам и взлететь вам дымом в небеса
и в облаках вам могила где не тесно лежат

Чернь молока рани мы пьем тебя в ночь
мы пьем тебя в полдень ведь смерть это мастер немец точный
мы пьем вечерами и с утра всё пьем мы и пьем мы
ведь смерть это мастер немец точный его глаз голубой
убьёт тебя пулей свинцовой точно бьёт на убой
вон тот живёт в доме твой золотой волос Маргарита
он псов натравливает на нас и дарит нам гроб в небесах
играет змеями мечта его смерть он ведь мастер немец точный
твой золотой волос Маргарита
твой пепельный волос Суламифь

Константин КЕДРОВ

Я достиг тишины
обогнавшей меня навсегда
Я достиг тишины
потерявшей меня в тишине
Я вошёл в обескровленный сад
в обезглавленный лес
Никаких расстояний
Всё во всём
Даже времени нет
Шаг за шагом отмеривал я не длину
И ещё я вчера был сегодня в себе
и ни видел себя
Обозначу словами:
я был но меня уже нет
Или так:
я был есть
но меня ещё нет
в то же время уже
и скорее всего навсегда
где нигде
или правильней всюду
я достиг тишины говорящей
и крика молчанья

Два шага
отделяют тебя
от Бога
Один шаг –
мало
Два шага –
много

Konstantin KEDROW*Übersetzung Ilja SAMOILENKO*

Ich habe die Stille erreicht
die überholt mich für immer
Ich habe die Stille erreicht
die mich in der Stille verlor
Ich ging in den unblutigen Garten
in enthaupten Wald
Es gibt keine Entfernungen
Alles ist in allem
Sogar es gibt keine Zeit
Schritt für Schritt habe ich die Unlänge gemessen
Und noch gestern war ich heute in mich
und habe mich nicht gesehen
Und zwar mit dem Wort:
ich war aber jetzt bin ich mehr
Oder so:
ich war gewesen
aber bin noch nicht da
gleichzeitig ist
und wahrscheinlich für immer
wo nirgendwo
oder richtiger: überall
habe ich die sprechende Stille erreicht
und Schreien den Schweigen

Zwei Schritte
trennen dich
von Gott.
Ein Schritt –
zu wenig.
Zwei Schritte –
zu viel.

- - -

Ты как морское дно
я твой океан
Я – океан из слёз
Ты морское дно
Можно уплыть туда
Где нас рядом нет
Но нельзя уплыть туда
Где мы вместе есть

- - -

кто изгнан из судьбы
тому открыто всё
тому открыто всё
кто сам открыт
Но знает он
что все совсем не все
как на Сократе
говорит санскрит

- - -

кто видит мир
сквозь призму
первых слёз
тому открыто
всё что видя
слёзы
а слёзы
видят
всё
что
видят
слёзы
все что видят
тому открыто
кто видит мир
сквозь призму первых слёз

- - -

Du als ein Meeresboden
ich bin dein Ozean
Ein Ozean von Tränen
Du bist ein Meeresboden
Man kann dort hinschwimmen
wo wir nicht sind
aber man kann nicht dort hinschwimmen
wo wir alle sind

- - -

die aus dem Schicksal vertrieben werden
offen für alles
offen für alles
wer sich selbst offen ist
Aber er weiß,
dass alles nicht alles ist
wie Sanskrit
durch Sokrates gesprochen wird

- - -

Wer die Welt sieht
durch das Prisma
der ersten Tränen
dem ist offen
alles, was
die Tränen
sehen
und die Tränen
sehen alles,
was
die Tränen sehen
allen die sehen
ist offen
wer die Welt sieht
durch das Prisma der ersten Tränen

завтра нас не будет
и тогда ощутив пустоту
нас мгновенно заметят

когда отсутствие заметно
оно бессмертно
только погасшее солнце можно увидеть
только прошлое можно вспомнить
только будущее можно предчувствовать
только настоящее незаметно

АРМСТРОНГ

Слеза слезает
По трубе
Слеза в трубе
Труба в слезе

ОДИССЕЙ И НАВСИКАЯ

1.

Бродяга рифма по лесам надежды
уже давно блуждает без меня
блуждающего где-то без тебя
но ищущего в лабиринте нежном
еще одной любви
чьи нежные одежды
спадают складками
как волны у Гомера
уносят берег из-под Навсикаи
выбрасывая глыбу Одиссей
запутавшегося в сетях из волн

2.

Из набежавших волн я выстроил поэму
где каждая строка уходит из-под ног
иль норовит нырнуть под Навсикаю
уйдя в песок
целующий стопу стиха
бегущей Навсикаи
где все следы
все рифмы —
все на Ка

morgen wenn wir nicht mehr am Leben sein werden
dann werden sie, die Leere fühlend,
sofort unsere Abwesenheit bemerken
wenn die Abwesenheit bemerkbar ist
ist sie unsterblich
nur die gelöschte Sonne zu sehen ist möglich
nur an die Vergangenheit kann man sich erinnern
nur die Zukunft kann man voraussehen
nur die Derzeitigkeit ist unmerklich

ARMSTRONG

Eine Träne fließt
durch die Trompete
eine Träne in der Trompete
die Trompete in den Tränen

ODYSSEUS UND NAUSIKAA

1.

Landstreicher Reim ist durch die Wälder der Hoffnung
schon lange gewandert ohne mich
welcher irgendwo wandert ohne Dich,
aber auf der Suche im zärtlichen Labyrinth
nach noch einer Liebe
deren zarte Kleider
Falten werfen
wie Wellen bei Homer
die das Ufer unter Nausikaa wegspülen,
einen Klumpen von Odysseus werfend
im Netz der Wellen verstrickt

2.

Aus den herangestürmten Wellen baute ich ein Poème
wo jede Zeile unter den Füßen wegfließt
oder versucht unter Nausikaa zu tauchen
versinkend im Sand
der die Sohle der gerannten Nausikaa küsst
wo alle Spuren
Reime sind –
alle mit Ka beginnend

3.
Все Ка идут как воины с мечами
поднятыми в честь юной Навсикаи
чтоб оградить пространство для любви

4.
Оно огромное как берег моря
и может быть оно огромней моря
поскольку гром очерчивает море
и море вдруг становится О-громным
В нем Одиссей всю жизнь искал себя
но находил циклопа и сирену

5.
Все камни что метал в него циклоп
давным-давно уже волнами стали
а волны под ступнями Навсикаи —
они всего лишь только поцелуи
привязанного к мачте Одиссея
оглохшего от пения сирен

6.
Итак начнем
Я выброшен на берег
но берег — это гром
а море — тишина

7.
Вот море тишины для Одиссея
Вот рифмы на все Ка для Навсикаи
Гомер огромен
Море бесконечно
Любовь всемирна
Тишина интимна
Вот разговор Улисса с Навсикаей

8.
Гром — тишина
Гром — тишина
Потом
Гром — тишина
Тишина — гром
Гром — тишина
Тишина — гром

3.

Alle Ka sind Krieger mit Schwertern
die erhoben sind zu Ehren der jungen Nausikaa
Um den Raum für die Liebe schützend zu umzäunen

4.

Er ist riesig, wie die Küsten
und kann größer als ein See sein
weil der Donner Meer skizziert
und das Meer plötzlich Rieeee – sig geworden ist
In ihm hat Odyssey sein ganzes Leben sich selbst gesucht
aber fand nur Zyklopen und Sirenen

5.

Alle Steine die der Zyklop auf ihn geworfen hatte
sind schon lange lange zu Wellen geworden
und die Wellen unter den Füßen Nausikaas -
sind lediglich Küsse
von Odysseus, der an den Mast gebunden
durch den Gesang der Sirenen ertaubt ist

6.

Also fangen wir an
ich wurde an Land gespült
aber das Ufer – ist Donner
und das Meer – Schweigen

7.

Da ist das Meer der Stille für die Odyssee
Da sind Reime auf Ka für Nausikai
Homer ist riesig
Das Meer unendlich
Die Liebe universell
Die Stille intim
Das war das Gespräch von Odysseus mit Nausikaa

8.

Der Donner – Schweigen
Der Donner – Schweigen
Dann
Der Donner – Schweigen
Die Stille – Donner
Der Donner – Schweigen
Die Stille – Donner

Hilde DOMIN

FREMDER

28. Oktober 1960, 7:00 Uhr

Vor mir wird aufgebaut,
hinter mir abgeräumt,
die Bühne aus sehr dauerhaften
Häusern, Straßen, Bäumen.
Minuten, ehe ich komme,
ein Platz, Stühle, ein Tisch.
Man bringt mir Kaffee,
ich spreche die Sprache des Kellners.
Ich falle aus der Luft,
ich gehe in Luft auf.
Damit keiner es merkt
nehm ich ein Taxi,
Stunden entfernt
baut man ein Schlafzimmer auf
in einem lauten Hotel.
Niemand wartet am Zug.
Ich ziehe um mich
das kleine schon dünne Tuch
deiner Liebe,
mein einziges Kleid.
Ich gehe im Licht
eines fernen
längst erloschenen
Lächelns.

Хильда ДОМИН*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ЧУЖОЙ**

28. октября 1960, время 7:00

Передо мной будет разложено,
позади меня будет убрано,
сцена из древних
домов, улиц, деревьев.
В минуте ходьбы
площадь, стул, стол.
Приносят мне кофе,
я говорю на языке официанта.
Я выпадаю из воздуха,
я взлетаю в воздух.
Тайно от всех
я беру такси,
Через час готова спальня
в одном известном отеле.
Никто не ждёт поезда.
Я накидываю на себя
маленький истончённый платок
твоей любви,
мою единственную одежду.
Я иду на свет
далёкой
давно погасшей
улыбки.

INSELMITTAG

Wir sind Fremde
von Insel zu Insel.
Aber am Mittag, wenn uns das Meer
bis ins Bett steigt
und die Vergangenheit
wie Kielwasser
an unsern Fersen abläuft
und das tote Meerkraut am Strand
zu goldenen Bäumen wird,
dann hält uns kein Netz
der Erinnerung mehr,
wir gleiten
hinaus,
und die abgesteckten
Meerstraßen der Fischer
und die Tiefenkarten
gelten nicht
für uns.

VOGEL KLAGE

Ein Vogel ohne Füße ist die Klage,
kein Ast, keine Hand, kein Nest.

Ein Vogel der sich wundfliegt
im Engen,
ein Vogel der sich verliert
im Weiten,
ein Vogel der ertrinkt
im Meer.
Ein Vogel
der ein Vogel ist,
der ein Stein ist,
der schreit.

Ein stummer Vogel,
den niemand hört.

ОСТРОВ ПОЛДЕНЬ

Мы чужие друг для друга –
острова.
Но в полдень, когда море
заливает кровать,
и прошлое,
как вода у корабельного кия,
омывает наши пятки,
и мёртвые морские водоросли на берегу
превращаются в золотые деревья,
тогда больше никакая сеть
воспоминаний нас не удержит,
мы вспархиваем
наружу,
и тогда размеченные
морские пути рыбаков
и глубинные карты
для нас
не указ.

ПТИЦА ПЛАЧА

Птица без ног это плач,
ни ветки, ни руки, ни гнезда.

Летающая птица ранящая себя
в тесноте,
птица теряющая себя
в просторах,
птица, тонущая
в море.
птица
которая только птица,
только камень,
который
кричит.

Немая Птица,
которую никто не слышит.

GRAUE ZEITEN

Es muß aufgehoben werden
als komme es aus grauen Zeiten

Menschen wie wir wir unter ihnen
fuhren auf Schiffen hin und her
Und konnten nirgends landen

Menschen wie wir wir unter ihnen
durften nicht bleiben
und konnten nicht gehen

Menschen wie wir wir unter ihnen
grüßten unsere Freunde nicht
und wurden nicht begrüßt

Menschen wie wir wir unter ihnen
standen an fremden Küsten
um Verzeihung bittend daß es uns gab

Menschen wie wir wir unter ihnen
wurden bewahrt

Menschen wie wir wir unter ihnen
Menschen wie ihr ihr unter ihnen
jeder

kann ausgezogen werden
und nackt gemacht
die nackten Menschenpuppen

nackter als Tierleiber
unter den Kleidern
der Ijeib der Opfer

Ausgezogen
die noch morgens die Schalen um sich haben
weiße Körper

Glück hatte wer nur
gestoßen wurde
von Pol zu Pol

Ich spreche von den grauen Zeiten
als ich jünger war als ihr jetzt

СЕРЫЕ ВРЕМЕНА

Это должно прекратиться
как пришедшее из серых времён

Люди как мы мы среди них
плывут на кораблях туда и обратно
и не могут никуда приплыть

Люди как мы мы среди них
не могли остаться
и не могли уйти

Люди как мы мы среди них
не приветствовали наших друзей
и не получали приветствий

Люди как мы мы среди них
находились на чужбине
прося прощения за то что это нам дано

Люди как мы мы среди них
были хранимы

Люди как мы мы среди них
люди как вы вы среди них
каждый

может быть раздет
и стать голым
голой человеческой куклой

Снявшие
еще утром кожуру становятся
белым туловищем

Везло только тем
кого заталкивали
последним

Я говорю о серых временах
когда я была моложе чем вы сейчас

Николай ШАМС

* * *

Когда, по мановению пера,
Отряхивают снег, то не перечат
Традиции ... Послушная вчера,
Дверь, побледнев, не подалась навстречу.
Куда ж назад? — по улочке пустой,
Темно сомкнувшей вежды до рассвета,
И даже снег, притихший, под стопой,
Мятущемуся не подаст совета ...

В кавернах гнезд, гнездо вороньих свар,
Еще вчера, вечер, — участлив с вами,
Неизлечимой ленью залит парк,
Предпочитая не делиться снами,
И — лжет окно, ведь, невесом, вослед
Еще ошеломленному, без меры,
Вздых, прищемлен ладонью, на стекле
Плодит, в подтеках памяти, химеры ...

Что ж старше этой сирости? — кольцо
На безымянном. В порицаньях зыбких,
Пусть отдохнет сумбурное лицо
От вымученной, скомканной улыбки.
Что вечности — приватная напасть? –
Ведь ничего, по сути, не изменим
Тем, что, упав и плача, не припасть
К точеным, обесточенным коленям.

Где ждут — обнять? Припасть щекой? Понять?
В какую пропасть ни отверста память,
Жизнь, что там ни пищи, не исчерпать
Слезам, как любимую — стихами.
Сутулясь, воплощенная беда,
Так за плечи себя же обнимают,
Что, обмирая, поздняя звезда
Свою ж, в парсеках, зоркость прокликает.

Nikolai SCHAMS*Übersetzung Ilja SAMOILENKO*

Wenn in der Welle einer Feder,
Sie den Schnee schütteln, dann widerspricht man
nicht der Tradition ... Gestern gehorsam, ist die gleiche
Tür, plötzlich blass geworden, und beugte sich nicht mehr vor.
Wohin zurück? – auf die leere Straße, die mit geschlossenen Augen
Dunkelheit behält bis vor der Morgendämmerung,
und sogar Schnee, der unter den Füßen
des Verlorenen gedämpft ist, kein Rat wird vor ihm liegen ...

In den Kavernen der Nester, ist das Nest der Raaben Streiten,
Noch gestern, am Abend – der so sympathisch mit Ihnen war,
und der Waldpark mit unheilbarer Faulheit begossen wurde
bevorzugten sie es Niemandem keinen Träumen zu vertrauen,
Und – das Fenster lügt, weil fassungslose Seufzer schwerelos ist,
und mit der Handfläche auf das Glas so stark gepresst,
im Speicher das Verschmieren der Chimären befruchtet ...

Was ist älter als diese Einsamkeit? – der Ring
am Ringfinger. Im unsicheren Tadel
Lassen Sie Ruhe an den Verwirrungen Gesicht
vom quälenden, zerknitterten Lächeln.
Was geht der Ewigkeit an – Privates Missverständnis? -
Immerhin werden wir nichts in der Tat ändern
damit, nach einem Sturz und Tränen, wir nicht runter
an wunderschöne und enterregte Knie fallen und schmusen.

Wo warten wir auf eine Umarmung? Wange zu Wange? Auf Verstehen?
In welcher einen Abgrund keine Speicher abzulenken
Das Leben, egal wie es Quietscht, ist nicht möglich zu erschöpfen
Mit Tränen, wie Verliebte – mit Gedichten.
Bückend, verkörperte Schwierigkeit,
Die die eigene Schultern umarmen,
Das Herz anhalten, den letzten Himmelstern
Ihre in Parsec verfluchte Wachsamkeit

Итак, в недоумении, едва от потрясения,
выстуженный бдением
Той улочки, не помнящей родства,
Соседствующей, к ужасу, с забвением.
«Затолканная толками» зима,
Обидами обязывая, длится,
Палима междометьями, и тьма
Пылает в проливном лице Улисса ...

* * *

Морем умытая, и в мелочах не склонна
Жизнь моя – лгать. Притязующее – лукавить
И донимать опекой, все, что не ты, - никто, но –
В шпильках, твоя философия от «Climat», ведь

Так утверждает холодное дуновение
Острых духов в складках платьев, доступных летним
Пристальным токам эфира. Одно мгновение,
Светом обдав, насыщает всю жизнь. Последним

Крошится мир, заключенный в хрустальной призме,
Дышит, распадный, духами – к любви и боли,
Ведь обоняние суть откровенье жизни
О философии поздних страстей, не боле ...

* * *

Низки дожди и холода близки,
Тем искусимей женщина, в раздумье
Печально обрывая лепестки
Бездумных увлечений. Новолунье

Опережает, как ни прекословь,
Ваш вздор к нему ... У финиша в природе,
Чему нас учит, уходя, любовь? –
Тому, что, окрыляя, не уходит,

Как и тому, что оклику в ответ
Ни оклика, и новолунья в тучке....
А что душа? – когда любимой нет,
Она, что называется, в отлучке.

Also, verwirren wir und stehen unter Schock
von der eisigen Mahnwache der unbekannten Straßen,
die an Verwandtschaft nicht erinnern,
und angrenzend an das Grauen, in Vergessenheit geraten ist.
Der Winter – "ein ständiger Geruch getümmelter Gerüche",
Beleidigungen dauernd verpflichtet,
verbrennt er von Interjektionen,
und glüht die Finsternis in das strömende Gesicht von Ulysses ...

* * *

Mein Leben gewaschen vom Meer neigt nicht in Kleinigkeiten
zu lügen. Alltägliche Ansprüche triffst du mit Schlau ,
alles, was nicht du ist, ist Niemand dann, aber
in deine Haarnadeln, ist deine Philosophie von "Climat" versteckt, denn

das behauptet der kalte Hauch von deinem
scharfen Parfum in den Kleiderfalten, die für die sommerlichen
stetigen Strömungen verfügbar sind. Für nur einen Moment
nimmt das Licht teil, mein Leben erfüllend. Als letztes

zerbröckelt die Welt , die in einem Kristallprisma atmet,
und zerbrechend mit dem Parfum – nach Liebe und Schmerz strebt,
weil der Geruchssinn die Essenz der Lebensoffenbarung ist, von
Philosophie der späten Leidenschaften, nicht mehr ...

* * *

Je tiefer die Regen sind und je näher der Frost
desto verführerischer ist die Frau beim Nachdenken,
traurig die Blütenblätter der leichtsinnigen Launen
herunterreißend. Der Neumond

rückt vor, kein Zweck deinen Unsinn
mit ihm zu erörtern ... Was lehrt uns schlussendlich
die Liebe wenn sie fortgeht? -
Es heißt sie geht nicht Flügel verleihend

und es gibt keine Antwort zurück
keinen Ruf und keinen Neumond in Wolken
Was ist mit der Seele? – Wenn die Geliebte gegangen ist
ist sie, angeblich, vorläufig abwesend

* * *

Солнечно. Теплится в песке волны – канцона,
Гравий сгребая под голову, как подушку.
Так же как небо легко узнает в лицо нас,
Я узнаю в лицо любую ракушку.

Море многоголосо, как полуденный форум.
Жар обнимает меня. На ладони мерцанье
Влажной ракушки. Приветствую эту форму,
Что воспитала втайне свое содержанье!

Так не о том же пекусь ли я, эклектик
Вещей природы? Достало б душе свободы,
Чтобы училась взгляду – не у диалектик
Пыльных теорий, а у парадоксов природы.

Зреет канцона в прибое. Слепит окончность
Да-ального мыса. Я долго гляжу с подушки,
Как непреклонно ввинчивается в Вечность
Неприхотливый, слепой завиток ракушки.

* * *

Sonnig. Wärme im Sand der Wellen – Canzona,
Kies unter den Kopf schaufelnd, wie ein Kopfkissen.
So wie der Himmel leicht unsere Gesichter erkennt,
kenne ich jede Muschel.

Das Meer ist polyphon, wie ein meridianes Forum.
Die Hitze umarmt mich. Auf meiner Handfläche ist das Flimmern
einer nassen Muschel. Ich begrüße diese Form
die heimlich ihren Inhalt erzogen hat.

Oder bin ich um die falsche Sache besorgt, als solcher Eklektiker
der heiligen Natur? wenn es nur genügend Freiheit für meine Seele gäbe, das
Gefühl nicht aus der Dialektik von staubigen Theorien, sondern aus den
Paradoxen der Natur heraus zu lernen.

Canzona reift in der Brandung der Wellen. Blendend die Spitze
des fe-e-e-rnen Kaps. Seit langem beobachte ich von meinem Kopfkissen aus,
wie unnachgiebig anspruchslos und blind sich
die Spirale der Muschel in die Ewigkeit verschraubt .

* * *

Бессонница ... В плену иносказаний,
 под крики чаек, прячущих испод,
Выстрадиваясь из чужих страданий,
 угрюм рапсод – парадоксальный плод

Растерянной любви. Из-под панамы –
 навстречу взгляд. Оглядываясь на
Пролог, не объяснить природой драмы
 ловушек бытия. Оглушена

Луной, спит занавеска ... спят в зловещем
 молчании часы... на кухне злей
Ворчанье в кране... Мудрость жизни – в вещем,
 живом непослушании вещей,

Помалу обретающих ухватки
 могучих мойр, играющих судьбой,
Чтоб имяреку, чьи устои шатки,
 не оказаться, всхлипнув, под собой,

А – разрешиться комариным писком ...,
 так с отрицаньем сводят счеты, ведь
В постель наверняка ложатся с риском
 наутро не проснуться, дабы впредь

Не засыпать. Из твоего же теста,
 с горизонтальной немочью на «ты»,
Протягивает муза из контекста
 бессонницы скандальные плоды,

Что, по исходу, то сладки, то терпки.
 Рапсод, лелея комплексы свои,
Пленен плакучей пластикой Евтерпы,
 подсвеченной дыханьем флейты ... И

Полуночью, чьи призраки зловещи,
 лицом уткнувшись в жесткий сгиб руки,
Он, слившись с ним, неотличим от вещи,
 прочитанному выше вопреки ...

Хмур, человека обступает хор
Лепных химер ... Промозглый, от лица
Кровоточащих хроник, Хельсинор –
Узилище страстей. В Тени отца,

И горизонт срывается на крик,
Штормит, и, взгляд из-под слепых ресниц,
В вас вздрагивает, побледнев, двойник –
Подранок .., горький пересмешник .., принц ...

На вес и вкус, как и во время оно,
Заледневший бронзовый обол,
Ознобно хрустнув на зубах Харона...

И – жалкий мир за нею. Невесом,
Борей с пустым, безрадостным лицом,
В миазмах задыхаясь, точно рыба,
Несет ладью с промозглым мертвецом
Над ледяной окапиной Транссиба.

Внезапной тишиной оглушена,
Во непорочной жесткости нежна,
Не Веста, достоверная невеста,
Но, в мужестве замужества, – жена

Не выдаст миру плачущего жеста,
Истошней углубленная в своё –
Дом, дети, кропотливое шитьё...
Из-под платка понурый, серый волос,
Поверенные верности её –
Взор долу, повседневный траур, голос

Отшельницы. Харон минувшим хвор,
О чем вещает, по Эсхилу, хор,
И ей, с палящей кровью по аортам,
Уж тем невыносимее измор
Трех измерений, что ладью – в четвертом

Несет по облакам. Из зева – сушь,
Горячим ртом к ней припадает глушь,
Зашмыганная галками ненастья ...
Хватаясь,

сонмы отлетевших душ
Нас метят синяками на запястьях.

Блаженные, куда их ни направь,
Пространство преодолевают вплавь
И, в прошлое – незрячими очами,
Мистически осваивают явь,
Надсадными сминаемую снами ...

Небрит.., в осенних оспинах... Ему,
Ловящему любую частность чутко,
С судьбою разминувшись, одному –
Невыносимо и, что внове, жутко.
Так, обречен успеху, далеко
Зашел он, устремленный, в приращенье
Привязанностей, множимых легко,
Что нет ему возврата. В утешенье

Всего, чем, защемлен тщетою, жил,
Смакуя в прошлом каждую подробность
Альковных схваток, – блеющий зоил
Сердечную поет нерасторопность ...
Его, в еще задавленных слезах,
Лицо – надрывный слепок со слепого,
В тяжелых складках, времени .., в шагах –
Усталость обезволенного .., слово

Не исцеляет, как и век назад,
И рай, его ж прелестницами предан, –
Давно перелицован небом в ад.
Не потому ль, захлебываясь бредом,
Иначе – пустословьем, что всего
Паскуднее, по примиренью мнимом,
Жизнь знала только *любящим* его,
Но никогда, кремневая, – *любимым*?

И за полночь, простерт, в молчанье, вдоль
Безлюбия чужого, к изобилью
Рацей, он убаюкивает боль,
Надсадно обернувшуюся былью.
Жизнь бьет его, паскуда, – не добьет,
Плодя, в текущих подлостях, обиды,
Покуда, в искупленье, не пошлет
Смерть Филемона у колен Бавкиды ...

* * *

В «*Овидиевых тристиях*» творим,
Классически суров, могучей кладки,
Из вечности окуклившийся Рим,
Запахиваясь в каменные складки,

Вмурован в мир ...

Шибяющий огнем,
В кремневую брусчатку, словно бурей,
Вбит, в мелосе металла, мерный гром
Орлами обитаемых центурий,

Чьи устремленья перспективу рвут, –
Пока, несом к предательству толпою
Убийц, смертельней – спрут, brutальный Брут,
С кинжалом под крошечною полою.

В крови гиперборея растворим,
Рим, обряженный в вечную порфиру, –
Грядущего застрельщик...

Третий Рим,
Не снявший грима схимника и миру

Явивший куполов густую зернь, –
Тучнее: здесь, отлучена от неба,
Как и у Колизея, – злее чернь,
Неисцелимо алчущая «хлеба

И зрелищ!». Разминувшись на мосту
С ней, с Мессалиной, не пеняй ей: узы
Незримого родства – здесь крепче ... У
нее – взгляд деклассированной музыки,

Свежо приобнажающей резцы...
Жизнь каплет древним млеком на страницы,
Спеленутая в вечные сосцы
Отвесно бдящей, пристальной волчицы,

Чей желторотый Рим – апофеоз
Роскошной возмужалости. Признаться,
В акустике его метаморфоз
Есть с вечностью кому перекликаться ...

* * *

В Париже снег. В поре свет инобытия.,
Недостижимостью взгляд мытаря слеза,
Все выше золотой лирический кораблик,
Летающий над тобой, Лютеция моя.

Словно простиран, свеж, как зов иных пространств,
В Париже снег. Куда как прихотлив пасьянс
Его на площадях, и обливает вечность
Декабрьский фаянс в прожилках Иль де-Франс.

Снег бел, простите мне трюизм, как молоко,
Но в этой фразе, there, так видно далеко,
Где, в роскоши лепнин, тем барственной барокко,
Чем прихотливей снег в кудрявом рококо.

В Париже снег... И, лишь для радости и нег,
Лирический гибрид, жизнь убыстряет бег,
Прохожих торопя. Но, тянущийся мыслью
К проспектам проливым, неистощимей снег.

* * *

В ангине, обрывая диалог
С зимой, погрязшей в лужах,
погружаясь
В условное тепло, весна – залог
Заложенного носа. Сокрушаясь
О всплесках жара в колющей крови,
Какая бы вдали ни панорама,
Пора бы внять, что, в скепсисе, любви
Наследует, уже вселяясь, драма,

И – благо, что не фарс, пока, легко
Уже несомо там, за океаном,
Контральто – на контракте, оттого
Поскуливает скука ... В окаянном
Забвении, диктующем своё,
В филиппиках со дна души, что в боли,
В немилости у милостей её,
Хандра не отпускает, дрябнет воля

К надсадной жизни, чья неправота
Прогоркла, и не обратит вопроса
К надежде, что в потере разлита,
И нет печальной истине износа
С её убийственной простотой.
Ваш каждый день, язвящий быстротечность,
Подсвечен прозорливой слепотой
Гомера, опекающего вечность,

Накапливаясь по мазку ... Зато,
Средь мерзостей, в которых только дна нет,
Да хоть рваните жизнью, вам никто
Руки, вжимаясь в сумрак, не протянет.
И ростепель в душе, в конце концов,
И мрак ее, рядящийся весною,
И горечь – выливаются в лицо
Героя, утаенного собою ...

Rainer Maria RILKE**DER PANTHER**

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein.

6.11.1902, Paris

Райнер Мария РИЛЬКЕ*Übersetzung / Перевод Ильи САМОЙЛЕНКО***ПАНТЕРА**

От мерного хождения вдоль прутьев
рассеяно скользит её усталый взгляд,
и кажется, что тысячи стальных лоскутьев
скрывают за решёткой мир, где пустота и яд.

Упругой мягкой поступью шагов единых,
по маленькому кругу движется она,
словно танцует в честь той неизменной середины,
где негибаемая воля в сон погружена.

Во вспыхнувшем зрачке лишь иногда
неслышно прежний мир сверкнёт,
и свежая волна окатит, проберёт до дна –
до сердца, и ускользя, вновь покой вернёт.

*Übersetzung / Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ПАНТЕРА**

Блуждая, взгляд её в мелькании прутьев
Устал, их видеть у неё нет больше сил.
И бесконечность прутьев стала сутью,
А растворённый в них ей мир уже не мил

В подстилке мягкой шаг тяжёлый тонет,
Её движение в тесном малом круге,
Как танцем силу сжало, молча стонет
Она в его объятьях сильных и упругих.

И пленнице порой как выход за пределы
Откроется глазок, картину внутрь впуская,
Что вмиг пронзит измученное тело,
Оставшись в сердце отголоском рая.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

1911

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская была тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь.

9—19 марта 1937

Osip MANDELSTAM*Übersetzung Ilja SAMOILENKO*

O Himmel, Himmel, du kommst im Traum!
Es kann nicht sein, du wurdest blind,
wie ein weißes Blatt niederbrannte den Tagraum:
ein wenig Rauch, und ein wenig Asche übrig sind.

1911

- - -

Was tun – habe ich mich im Himmel verlaufen?
Jener dem es nahe – antworte.
Neun Athletische Dantesche Kreise hoch raufen,
Es war leichter Sie – klingen lassen im Orte.

Nicht möglich mich vom Leben zu trennen –
träumt es zu töten und gleich streicheln danach,
dass geschlagen die Ohren und die Augen brennen –
florentinische Wehmut – im Kopf und im Dach.

Legten sie nicht, bloß nicht legten,
Scharf-zärtlichen Lorbeer auf die Schläfen,
Eher mein Herz in Stückchen zerfetze
von dunkel blauen klingenden Treffen.

Und wenn ich ausgedient habe, dann sterbe,
treuer Freund von den Lebenden allen,
soll mir höher und breiter wie klingendes Erbe
des Himmels Echo in die Brust reinfallen.

9—19 März 1937

Àxel SANJOSÉ

SIEBZEHN HAIKU

Diesig erwacht hier
und ohne Halt das Wetter,
wir Ungestorbnen.

so tief reißt unser
Wissen Wunden,
Wahnsinne.

Wer sprach soeben oder ehemdem:
das Gezwitscher der Vöglein
meint jeden Morgen.

zage Gabe Welt,
ich nähme dich gerne so,
so vorgestaltet, erste Herbstsonne,

der vorbeifahrende Zug
ist nicht zu sehen.
Nicht zu erinnern.

Wird alles
einst verfallen,
glänzt es jetzt doch arg:

Dieses Gartentor
ist immerzu verschlossen,
liegt aber am Weg

und nicht zu leugnen,
einig schwarz nisten Krähen
im helldunklen Park.

Das Blatt, die Wolken,
der Herbst ist bald vorüber.
Die Wolken, das Blatt.

Wenig bleibt. Wenig
von uns, von den
Versuchen, Berührungen fast.

Аксель САНХОЗЕ*Свободный перевод Ильи САМОЙЛЕНКО***СЕМНАДЦАТЬ ХОККУ**

В неведении туманном
приходим мы в этот мир
бессмертными,

запрятав в плаче
грядущие наши прозрения,
безумия и раны.

И утро входит плавно в нас
не только щебетаньем птиц
и первыми лучами солнца,

но и промчавшимся
вдали
локомотивом,

чтобы тотчас
призраком исчезнуть
из памяти.

Вот так повсюду и везде:
что ослепляет и блестит –
тускнеет без следа.

Пути-дорожки
в сад блаженный
закрыты воротами навсегда,

и только свет
слегка дрожит
в вороньих черных гнёздах.

И облака, и листья,
так осень исчезает.
И листья, облака ...

Почти что ничего
не остаётся в мире

от наших робких прикосновений.
Das Fenster fliegt zu.
Alles wird statisch. Schwindel.
Vages Gedenken.

Dieses Blatt Papier
ist kaum beschrieben worden,
kam ein später Gast?

Die Pfützen glänzen
morgens so rot
wie abends,

ein Kind springt hinein,
neugierig verlässt die junge Katze das Haus
(und kehrt nicht zurück),

der Verkehr staut sich
vor der defekten Ampel,
alte Route West,

Hupen, Sirenen,
der Abend streut die Lichter
auf die wehe Stadt.

Die Tiefebene
wird im Schwarz bald verschwinden.
Einkehrt Ruhe

В летящих окнах голову кружит
осколками воспоминаний
статичный мир.

Нежданный поздний гость? –
И вот почти нетронутым остался
бумаги лист.

Отсвечивают красным огнём
и вечером и утром
лужи.

Ребёнок норовит туда
котёнком любопытным прыгнуть.
Покинувшему дом – возврата нет.

Наш светофор забарахлил:
заказан
путь на запад –

затоплен город
трауром сирен
и хаосом гудков.

Но вскоре пропадёт, растает
всё во мгле,
и возвратится к нам покой.

AUS EINER ALCHIMIE

Denn Kerzen brennen ab,
und Mauern werden überwuchert,
denn selbst der Stein,
sorgsam gemeißelt,
verliert die Wörter nach und nach,
denn nicht nur Chrysanthemen welken,
nein, auch die Tanne fällt der Wind,
und der haucht später aus
am Abend unter Sternenschimmer.
Denn Tierkreiszeichen ändern sich
wie Dünen überm Strand,
und was die Erde barg,
funkelt nur Jahr und Tag,
und, ach, der Augenblick, der nie verweilt,
wird durch die Dauer abgeschafft.

Das Gebüsch, ich nannt' es Welt,
taucht nun den Rand in feuchten Dämmer,
die Zeit wird dichter, zäh und leicht
wie Träume.

Im Gras glänzt nackter jetzt ein Leib,
und süßlich legt sich Stille aufs Gemüt.
Das Licht surrt leiser, summt,
bebt lautlos in den Ohren.

Sag nicht: Hier sind Magnolien.

Sieh, die Farben kehr'n zurück,
das Rauschen. Espen. Die Krähen
karren die ersten Fuhren Herbst heran,
die Leere ist noch warm.

АЛХИМИЯ

Потому что свечи обгорели,
и стены проросли,
потому что даже камень,
тщательно заточенный,
теряет слова постепенно,
потому что не только хризантемы увядают,
нет, даже ели падают от ветра,
и выдыхает позже
вечер под звездным зонтом.
Потому что знаки зодиака меняются
как дюны на пляже,
и то, что земля утаила,
сверкает только год и один день,
и, ах, мгновенье, которое и так никогда не задерживается,
отменено из-за продолжительности.

Кустарник, как я назвал тот мир,
выныривает из влажной темноты,
время становится плотным, тягучим и легким,
как сны.

Трава сверкает наготою,
прямо на виду сладко оседает покой.
Свет тихо гудит, жужжит,
дрожит беззвучно в ушах.

Не говорят: вот магнолии.

смотри, цвета возвращаются назад.
Шорохи. Осины.
Воронье карканье вещает о наступлении осени.
Пустота еще теплая.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР**ПТИЦЫ**

Вавилонской башни вчерашние архитекторы и строители расползаются
по щелям, спасаясь от камнепада. Но подобное зрелище, как говорится, на
большого удивителя: оглушительная пантомима, трагическая клоунада...

Между тем,

как ни в чём не бывало, летают птицы, и трава зеленеет, и льётся дождь, и
земля вертится, и когда поглядишь, оглянувшись, из отдаленья,
удивительно — разве что прежнее удивленье.

Потому что задним умом, то есть мыслью попятной, проясняется именно
то, что было всего непонятней; например,

что в стремлении к власти,
когда и властвовать нечем,—

диалектика противоречий:

что лечим,
то и калечим.

А для жизни и смерти

не надо ни повода,

ни предлога,

ибо нет ничего относительней, чем подведение итога ... Между тем,

как ни в чём не бывало, земля вертится, и трава желтеет, и сыплется снег,
и летают птицы. И на этом пути, который не нами начат, соблазнительно
впереди то ли брезжит, то ли маячит

совершенное мироустройство,

где никто никому не перечит,

где сомненья

решаются просто:

орёл или решка?

чёт или нечет?

Ну, а ежели кто

по причине строптивого норова

не согласен,

тому — на безрыбьи — с морской травой сети ... Такова пестрота

реализма, кроме которого, как Шагал говорил, ничего не бывает на свете ...

Vadim PERELMUTER*Übersetzung Axel SANJOSÉ***FÖGEL**

Gestrigen Architekten und Bauherren Turm zu Babel, kriechen weg auf Schlitzten, um den Steinschlag zu entgehen. Aber solch ein Anblick, - wie man sagt, - nur für einen großen Liebhaber wäre: ohrenbetäubend Pantomime, tragische Clownerie...

Inzwischen,

als ob nichts geschehen wäre, fliegen Vögel, und das Gras ist grüner wird, und es regnet, und die Erde dreht, und wenn wir sehen, auf der Suche aus der Ferne zurück, verwunderlich ist wohl nur ehemalige Erstaunen.

Weil Nachhinein, und zwar in zurückkehrenden Gedanken, ausgerechnet das deutlich wird, was es früher nicht verständlich war; zum Beispiel:

dass in dem Streben nach Macht,

sogar wenn es nichts zu herrschen –

dialektischen Widersprüche sind:

was wir behandeln, gleich verletzen.

Und für die Leben und Tod,

braucht man weder einen Grund, noch keine Vorwand, denn es gibt nichts zu Relatives als ein Bilanz ziehen... Inzwischen

als ob nichts geschehen wäre, die Erde bewegt, und das Gras wird gelb, und streute den Schnee, und die Vögel fliegen. Und auf dem Weg, der nicht wir begonnen haben, vor uns verführerisch entweder schimmert,

oder undeutlich scheint perfekte Weltordnung,

wo niemand zu niemandem widerspricht,

bei Zweifeln ist einfach:

Kopf oder Zahl?

ungerade oder gerade?

Nun, wenn jemand,

wegen einer krummen Charakter

nicht einverstanden ist,

der bleibt – beim Fischmangel – mit dem Unkraut in Netz ... So ist der Vielfalt des Realismus, zusätzlich zu der, - wie Chagall, sagte, - nichts in der Welt passiert ...

Нури БУРНАШ**ШАМБАЛА**

Мы, жители Шамбалы, тайной страны,
мельчаем в панельных ашрамах, но сны
нас делают выше;

мы сами себе не рабы, не цари,
а царь наш – Сучандра, как мы говорим,
пока он не слышит.

В часы медитаций уйдя далеко,
брахманы постигли, что нет ничего
прекрасней свободы -
и, видя с мигалкой кортеж колесниц,
мы так же по-прежнему падаем ниц -
но дерзко и гордо.

Им, неприкасаемым, чернь застит взор.
Надсадно Сансары скрипит колесо,
вращаясь на месте.
Репризой не вытянуть старый сюжет,
ведь ставит до боли родной шамбалет
наш шамбалетмейстер.

Давно уже черви проели закон -
одну кама-сутру мы помним с пелен,
зато досканально.

Когда же нас ночью теснит пустота,
целительный чай отверзает врата
и гонит печаль, но
едва ли поможет священный отвар,
когда на заборе поверх старых мантр
лишь новые мантры.

Утрачено все искусство письма:
искусственным мозгом забиты дома
по самые чакры.

Луч солнечный редко доходит сюда
и часто такие стоят холода,
что ёжятся йоги.

К нам путь переменчив и скользок, как ложь,
а если случайно ты нас и найдешь –
не вспомнишь дороги.

Для любого народа,
кем бы ни был народ,
нет страшнее исхода,
чем подобный исход.
Пусть нужда и скитания,
пусть сума и тюрьма,
но позорнее Каина
нет на свете клейма.
Но бессрочен День Судный
там, где в связке одной –
коллективный преступник,
коллективный герой.

... Фронт катился на Запад. Чуть дымился Сиваш.
Моря майского запах бил в морщинистый кряж.
Зарастили цветами раны древней земли.
Мир приходит! ... За нами рано утром пришли.
Лейтенант разговоры городить не привык.
«Четверть часа на сборы. За углом грузовик».
Едем. Настежь сараи. Кухонь брошенных дым.
«Мама, нас расстреляют?» «Сталин добрый, джаным!
Станешь взрослым мужчиной – и поймешь, что к чему».
Дождь на крыше кабины танцевал хайтарму.
«Мама, тайну открой мне. Что нас ждет впереди?»
«Нас посадят в вагоны. Я погибну в пути.
Не дадут тебе, милый, схоронить свою мать.
У меня нет могилы. Чего нет – не отнять.
Усеин, верь мне в главном: ты пройдешь этот ад.
Будет поезд – товарным. Будет голод и смрад.
До узбекской деревни доберешься живой.
Станешь ты крепче кремня. Станешь сильный и злой.
Ты познаешь презренье равнодушной толпы,
но тебя на колени не поставят рабы.
Твой отец бился с немцем среди партизан.
Сторожит его сердце Малахов курган.
И за то местный опер – похмельная мразь –
будет плеткой на хлопок тебя выгонять.
Будет боль нестерпима, но Аллах милосерд.
Ты – татарин из Крыма. Это – главный ответ.
И, какой бы каратель ни кричал о грехах, помни:
ты не предатель и народ твой – не враг.
Ты умеешь учиться и работать, мой сын.

Трудных лет вереница пролетит, Усеин!
И ты станешь однажды аксакалом седым,
и твой внук тебе скажет: «дед, поехали в Крым!».
Ты приедешь, услышишь, как родная земля
шепчет так, словно дышит, – «бисмилля... бисмилля».
И тогда неугодных не сдерживай слез.
Пусть идет, как сегодня, всепрощающий дождь».

Тонко-тонко, тихо-тихо
у окна строчит пичуга;
зверь паук плетет интригу;
спит беспечная округа.
Зарастают паутиной
звезд бессмысленные гроздья;
гости в комнате гостиной
завелись и не уходят.
Над столом парит спиртное
и окурок в грязной чашке;
чей-то муж с ничьей женою
мне расскажут на ночь сказку,
увлекательную повесть
о живых и тех, кто помер, –
вот ведь как бывает! –
то есть,
обо всем на свете, кроме.
Будет он шутить нескладно,
а она смотреть устало.
Грянет полночь и кантата
для нетрезвого вокала.
После будет гость неправ, но
буду я великодушен.
А потом я стану плавным
и засну под теплым душем.
И дождя аплодисменты
шелестеть начнут негромко
да пружины петь за стенкой –
тихо-тихо. Тонко-тонко.

Не мучься. Трави свой любительский слог,
созвучья мусоль до зевоты –
еще есть молчания полный глоток
в пустыне ревущих глоток.

Еще есть приятель, коллекционер
небритых писательских скальпов,
который в твой свежерожденный шедевр
воткнет свой изысканный скальпель,
взяв за хер Мазоха. Ведь нам, воробьям,
без пушки и ужин не нужен,
иначе на вечных рефлексий канкан
не хватит вокруг мулен-ружей.

Кружась на скрижалях меж мертвых имен
плескайся и хрюкай, как боров:
ты, грубый тавтолог и плеоназон,
не бойся повторов повторов.

Держись, развлекая глаголами мозг,
подальше от чувства и мысли.

Не мучься. Железная дева сапог
испанского гранда не чистит.

Необъяснимое желание вернуться в Дрезден,
в котором ни разу, и даже проездом, –
видимо, закономерная функция
от наличия мух и твоего отсутствия.

В этой странной, забытой богами обители,
где скрип двери – как выстрел в ночи без глушителя,
сорняком прорастает тягучая мука
ожидания шороха, шелеста, звука,
что готов уже неотвратимо раздаться
и отмерить молчание, словно лекарство.

За отсутствием свежей газеты вечерней
можно перечитать хит-парад поручений
и, уверив себя, что обед неизбежен,
съесть, почти не жуя, горсть забытых черешен.

Только так, растворяясь как пыль в интерьере,
ты почувешь хребтом острый запах потери
и услышишь, как в небе, незрим и небрит,
курс на Дрезден берет одинокий москит.

... И тогда мы уснем. Мы работали так,
что стаканы хрустели в замерзших ладонях,
но за право курить фимиама натошак
это – жалкая мзда в нефтегазовой зоне.
В октябре рубль особенно шумно шуршал
и валился ничком, одинок и печален
но напомнил Единственный телеканал,
что отныне во всем виноват этот парень.
Сухарей, слава богу, хватает в стране.
А поблизости – голод и лютая злоба:
там, на сбрендившей Жидобандеровщине,
картопляник втроем доедают укропы –
и завидуют нам. И во тьме щерят пасть.
Но Смотрящий велик и по-прежнему страшен.
Он не даст разорвать беззащитный Донбасс.
Или что там? Неважно. А важно, что – наше.
Мы за уголь – горой, мы за малых – всегда,
пусть старуха-геропа сучит костылями,
Русь не дрогнет, а если случится беда,
будет ясно, что снова вредит этот парень.
Или вовсе другой? Нам бы хлеб мимо рта
часом не пронести – что за пайка без хлеба?
Где-то кран не закрыт и сочится вода.
Утекают мозги сквозь духовные скрепы.
Но, пока есть портреты с линялых знамен
пока мы не забыли, чем надо гордиться,
не нарушат наш патриотический сон
перестрелки на финско-китайской границе.

ЗАКАТ

Пока не оборзели барракуды,
уж не пора ли нам на баррикады?
Хотя закат сегодня просто чудо,
как, впрочем, все волшебные закаты.
Взгляни, мой друг, какое нынче море!
В нем кто-то постоянно ест кого-то.
А на поверхности – ни торжества, ни горя.
Лишь волны как свидетели охоты.
К чему нам бой, что мы с тобою можем?
Обозреватель варвару не ровня.
Недавно, говорят, мы были больше.
Теперь мы меньше. Но зато духовней.
С таким возвышенным менталитетом
в бессмысленной толпе погибнуть скучно.
Пусть дураки становятся обедом.
Их столько здесь, что хватит и на ужин.
А барракуда, что нам барракуда?
Нам не ее - кита бояться надо!
Поэтому живи себе покуда.
Да и смешон планктон на баррикадах ...

Сергей БИРЮКОВ**ПОЛЕТ ДИНОЗАВРА**

по наблюдениям ученых
голодные мыши живут дольше

так и запишем

но оказывается динозавры летали
по наблюдениям ученых

ученые все записали
на веб-камеры

и могли бы показать

но голодные динозавры
не желающие жить как мыши
под наблюдением ученых
съели оных
копии послали прикрепленным файлом

таким образом
упорядоченная система
неожиданно трансформировалась
в хаос
что по определению Пригожина
позволило выйти на новый виток

динозавр спланировал
неудачно
клюнул носом в песок

ученые признали свою вину
косвенную но все равно

кто пил цикуту
кто вино

все умерли
никого нет

динозавры в поиске
иных планет

Sergej BIRJUKOV*Übersetzung* **Maxim SCHUHMACHER****FLUG DES DINOSAURIERS**

nach Beobachtung der Wissenschaftler
leben hungrige Mäuse länger

genau so schreiben wir es auf

es erweist sich aber dass Dinosaurier flogen
nach Beobachtung der Wissenschaftler

die Wissenschaftler haben alles aufgezeichnet
auf Webkameras

und hätten es zeigen können

aber hungrige Dinosaurier
die nicht wie die Mäuse leben wollten
unter Beobachtung der Wissenschaftler
aßen eben diese auf
die Kopien schickten sie als Dateianhang ab

auf diese Weise
transformierte sich plötzlich
das geordnete System
ins Chaos
was nach Prigožins Definition
einen neuen Abschnitt einläutete

der Dinosaurier glitt hinab
unglücklich
pickte mit der Nase in den Sand
die Wissenschaftler gestanden ihre Schuld
die indirekte dabei

tranken manche Cicurta
die anderen Wein

nicht einer da
sind alle abgetreten

die Dinosaurier auf der Suche
nach anderen Planeten

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ

по мнению ученых
обезьяны понимают
концепцию смерти

если другие обезьяны
им ее объясняют
доходчиво

например играют
в то что умирают

ПРОДОЛЖЕНИЕ СНА

невозможно запомнить но все-таки
хотя бы в обрывках
запоминается продолжение
сна

почему-то неизвестное место
что-то вроде классной комнаты
где рюкзаки и сумки свалены
брошены кое-как

несколько знакомых лиц
но неточно определяемых
то ли он то ли похожий на
она или похожая на нее
словно ты приехал неизвестно
откуда приехала она неизвестно
полный неясностей и недомолвок
разговор

огоньки сигарет щелканье зажигалок
обратная последовательность действий
ты отвечаешь предвидя вопрос
почесываешь переносицу
после получения известий
собственно нет даже слов
ну так полусловья
фрагменты речи
опустошение
продолжение сна
видимость бесконеч

KONZEPTUELLES

nach Meinung der Wissenschaftler
verstehen Affen
das Konzept des Todes

wenn andere Affen
es ihnen erklären
einleuchtend

indem sie zum Beispiel
den Tod vorspielen

DIE FORTSETZUNG DES TRAUMS

unmöglich es sich zu merken aber dennoch
wenigstens in Bruchstücken
erhält sich die Fortsetzung
des Traums
aus irgendeinem Grund ein unbekannter Ort
etwas einem Klassenraum ähnelndes
wo Rucksäcke und Taschen auf einem Haufen
nachlässig hingeworfen
einige bekannte Gesichter
aber nicht genau erkennbar
entweder er oder nur so aussehend wie
sie oder so aussehend wie sie
als ob du angekommen bist doch unklar
woher sie gekommen ist scheint unklar
ein mit Unklarheiten und Unausgesprochenem gefülltes
Gespräch
Zigarettenfeuer Feuerzeugklicken
entgegengesetzte Abfolge der Handlungen
du antwortest die Frage vorausahnend
sich an der Nasenwurzel kratzend
nach dem Erhalt der Nachrichten
gibt es eigentlich keine Worte
nur so Halbwörter
Fragmente der Rede
Verwüstung
Fortsetzung des Traums
Sicht der Unendl

В ДОМЕ МАГРИТТА *(Rue Esseghemstraat 135, Brussels (Jette))*
Филипу Меерсману

улитка впилась в чрево Олимпии
вечность и невозможность
трансперсональность
но
завиток боли Жоржет
Ренэ Магритт пишет на кухне
вскипает кофе
трубка сопит
человек без лица
изображает шкаф
легкое перевоплощение
вещного мира
еще секунда
и улица
пустится
вдогонку
ТЕТРАЭДР
и орех раскололся
открыв тетраэдр
и внезапно открылось
познание
и четыре немыслимых
плоскости
своей красотой
восходили к вершине
и в каждой
был отсвет познания
и тень истекала
из точки X
в точку Y
с завершением в Z
но продолжалось и после
невидимым ростом вращеньем – по
Z-Y-X
словно связь хромосом
словно тайна касаний
молекул
словно сфера груди
драгоценно
преломляющей свет

IN MARGRITTS HAUS *(Rue Esseghestraat 135, Brussels (Jette)
an Philip Meersman*

die Schnecke saugte sich fest am Leib Olympias
Ewigkeit und Unmöglichkeit
Transpersonalität
aber
Georgettes Windung des Schmerzes
malt René Magritte auf der Küche
der Kaffee kocht auf
die Pfeife schnaubt
ein Mensch ohne Gesicht
ahmt einen Schrank nach
eine leichte Umformung
der dinglichen Welt
eine Sekunde mehr
und die Straße
setzt nach
hinterher

TETRAEDER

und die Nuss zerbrach
den Tetraeder enthüllend
und unerwartet enthüllte sich
die Erkenntnis
und vier unvorstellbare
Ebenen
stiegen mit ihrer Schönheit
hinauf zur Spitze
und in jeder
war ein Widerschein der Erkenntnis
und der Schatten verlief
vom Punkt X
zum Punkt Y
mit der Vollendung in Z
doch es ging auch danach weiter
mit einer unsichtbaren Steigung Drehung – über
Z-Y-X
gleichsam einer Chromosomenverbindung
gleichsam einem Berührungsgeheimnis
der Moleküle
gleichsam einer Brustsphäre
die edel
das Licht brach

ВСПОМИНАЯ ...

вспоминаю как Гена Айги
сигарету прикуривал
и взмахивал спичкой
продолжая мысль
огнем
и снова огнем и пеплом
повторяя движение
слова
и прерывая движение
и повторяя
и вторя себе — малевичианцу
говоря как будто
что квадрат — это путь
и в облаке дыма
будто сжигал пути отступленья
сохраняя остойчивость
и за окном
листва шевелилась
как в деревне
русской или чувашской
и чайник на плитке
не умолкал
сопровождая пением
наши голоса
такая точность
была в этом движении
руки
и многоточия
долго не гасли ...

SICH ERINNERND ...

ich erinnere mich wie Gena Aigi
eine Zigarette anzündete
und mit dem Streichholz schwang
den Gedanken fortführend
mit Feuer
und wieder mit Feuer und Asche
die Bewegung des Wortes
wiederholend
und die Bewegung unterbrechend
und wiederholend
und sich beistimmend — dem Malewitschianer
sprechend als ob
das Quadrat – sei der Weg
und in der Rauchwolke
als verbrenne er die Pfade der Fluchtwege
die Stabilität beibehaltend
und hinter dem Fenster
bewegte sich das Laub
wie auf dem Dorfe
dem russischen oder tschuwaschischen
und der Wasserkocher auf dem Herd
verstummt nicht
mit dem Gesang unsere Stimmen
begleitend
eine solche Genauigkeit
lag in dieser Bewegung
der Hand
und die Gedankenpunkte
erloschen lange nicht ...

Елена КАЦЮБА

ДИВАН

Друзья
Игры
Влюбленность
Амбиции
Надежды

ШКАФ

Вдруг приснится
шкаф из времени детства
однажды
полный одежды
плотно забитый
всем позабытым
мамины платья
до которых я доросла
обогнала
и выросла из подростка
любимая юбка
цвета неба в облачной дымке
белые пуговицы до подола
«мужчинам некогда» называлась юбка —
шутка
не очень понятная мне тогда
а дальше
платица мини
каждое — чудо сшитое за один вечер
яркие разные
тетки в троллейбусе: «Безобразие!»
пальто сиреневого цвета на одной пуговице
размером с блюдец
«осторожно, двери закрываются!»
смыкаются дубовые двери
шкаф ушел по маршруту вверх
следующая остановка —
обновка

Jelena KAZJUBAÜbersetzung **Sergei TENJATNIKOW****SOFA**

Freunde
Spiele
Verliebtheit
Ehrgeiz
Hoffnungen

SCHRANK

Plötzlich träume ich
von dem Schrank aus meiner Kindheit
einst voll Kleidung
dicht gefüllt
mit völlig vergessenem Zeug
Mamas Kleider
aus denen ich herausgewachsen bin
überholte
und ich wuchs aus einem Teenager
der Lieblingsrock
himmelblau umflort
weiße Knöpfe bis zum Saum
"Männer haben keine Zeit" hieß der Rock -
ein Scherz
den ich damals nicht verstehen konnte
und weiter
Minikleidchen
jedes einzelne war ein Wunderwerk
genäht an einem Abend
allerlei und bunt
Tanten im Bus: "Schweinerie!"
der fliederfarbene Mantel mit einem Knopf
so groß wie eine Untertasse
"Vorsicht, Türen schließen!"
die Eichentüren schließen sich
der Schrank fährt weiter
nächste Haltestelle -
Shoppingmeile

КОМОД

в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи
в этом ящике лежат нужные вещи

в ящике этом лежат нужные вещи
лежат в ящике этом нужные вещи
нужные вещи в этом ящике лежат
вещи нужные лежат в ящике этом

в этом ящице желат нужные щевы
в томэ ящике лежат жунные вещи
в этом щикея жатле ныенуж вище
в мэот яишке елжат нунжные ищев

МЕТАМОРФОЗЫ

Вот станет небо землей, а земля морем;
вот станут камни птицами, а птицы нами —
что тогда изменится в мире?
Мы не знаем.

По моей руке проползет муравей, на тебя похожий;
вот бабочка вроде меня мелькнет у твоего виска —
я сразу узнаю тебя всей кожей,
а ты угадаешь меня в трепете крыльев мотылька.

Вот я почувствую себя деревом —
вскину вверх руки, листвою шелестя и звеня.
Но догадается ли это дерево,
что оно — я?

СВЕЧА СТРАХА

Свеча боится темноты
Чем больше страх свечи — тем ярче свет
Чем ярче свет — тем жизнь свечи короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх
Чем страх сильнее — тем ярче свет свечи
Чем ярче свет — тем жизнь короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх...
... ?

KOMMODE

in dieser Schublade liegen nützliche Sachen
in dieser Schublade liegen nützliche Sachen
in dieser Schublade liegen nützliche Sachen
in dieser Schublade liegen nützliche Sachen

in Schublade dieser liegen nützliche Sachen
liegen nützliche Sachen in dieser Schublade
nützliche Sachen in dieser Schublade liegen
Sachen nützliche liegen in Schublade dieser

in dieser Schulbade geilen nützliche Chasen
in deiser Schublade liegen ztünliche Sachen
in dieser Ubladesch gelien chenützli Sencha
in seride Schaldube eilgen nültziche Nechas

METAMORPHOSEN

Da wird der Himmel zu Erde, und die Erde zu Meer;
da werden die Steine zu Vögeln, und die Vögel zu Menschen –
was verändert sich in der Welt?

Wir wissen es nicht.

Über meine Hand krabbelt eine Ameise, dir ganz ähnlich;
da flattert ein Schmetterling mir ähnlich an deiner Schläfe vorbei –
ich erkenne dich sofort mit meiner ganzen Haut,
und du mich in dem Zappeln eines Falters.

Da fühle ich mich wie ein Baum –
die Arme in die Höhe, das Laub rauschend und tönend.
Wird der Baum aber erahnen,
dass er ich sei.

KERZE DER ANGST

Die Kerze hat Angst vor Dunkelheit
Je größer die Angst der Kerze ist desto heller ist das Licht
Je heller das Licht ist desto kürzer ist das Leben der Kerze
Je kürzer das Leben ist desto stärker ist die Angst
Je stärker die Angst ist desto heller ist das Licht
Je heller das Licht ist desto kürzer ist das Leben
Je kürzer das Leben ist desto größer ist die Angst...
...?

АНГЕЛ МОРЯ

Ангел моря корабль накрыл крылом
Море свернулось ракушкой вокруг корабля
Аквамариновое нутро мерцает кристаллами соли
словно в созвездья играют вода и солнце
ангелу нравится эта игрушка

Ангел моря склонился над кораблем
моря фрагмент очертил взглядом
крыльями вырезал раму из горизонта
в небо поднимал картину
... и вспомнил о чем-то другом

Ангелов память короче вздоха
Путь корабля ограничен рамой навечно

* * *

Чтение — это постепенное уничтожение текста
отдельно взятым человеком
в отдельно взятый отрезок времени

* * *

Синяя бутылка
Красный кувшин
Зеленый стакан

Глоток синего света
Глоток красного света
Глоток зеленого света

Синий голос
Красный смех
Зеленый крик

Д Ы Х А Н И Е
П Р О З Р А Ч Н О

ENGEL DES MEERES

Der Engel des Meeres deckte ein Schiff mit dem Flügel zu
Das Meer wickelte sich wie eine Muschel um das Schiff
Aquamarienes Inneres schimmert mit Salzkristallen
als ob Wasser und Sonne Sternbild spielen
Dem Engel gefällt dieses Spielzeug

Der Engel des Meeres beugte sich über das Schiff
riess ein Meeresfragment mit dem Blick um
schnitt einen Rahmen aus dem Horizont mithilfe der Flügel aus
hob das Gemälde in den Himmel
... und besann sich auf etwas anderes

Das Gedächtnis der Engel ist kürzer als ein Seufzer
Die Reise des Schiffs ist durch den Rahmen begrenzt auf ewig

* * *

Das Lesen ist die allmähliche Vernichtung des Textes
durch einen einzelnen Menschen
in einem bestimmten Zeitabschnitt

* * *

Eine blaue Flasche
Ein roter Krug
Ein grünes Glas

Ein Schluck des blauen Lichts
Ein Schluck des roten Lichts
Ein Schluck des grünen Lichts

Die blaue Stimme
Das rote Lachen
Der grüne Schrei

Der A T E M
ist K L A R

Gerhard BACHLEITNER

PRAELUDIUM MORTIS e-Moll

Adagio tranquillo

Weißer Hauch
auf grauem Wasser
stiller See als
Ende des Lebens
verflüssigte Zeit
seit dem ersten Schrei,
der letzte Seufzer
Tau aus Trauer
gelöst im Gewesenen.

Allegro aperto

Kein Fährmann fährt
kein Todesengel führt
kein Gott ruft
kein Unhold droht
kein Gericht, zu richten
Verwaste und Opfer,
Dein Urteil hast du
selbst gesprochen,
siehst es jetzt vor dir,
hast seinerzeit
es nicht gehört,
als du dein Leben
hättest führen können.

Герхард БАХЛАЙТНЕР*Scherzo fantastico*

Aus leeren Augenhöhlen
deines Totenschädels
wirfst du Blicke
in den Himmel,
der nicht oben,
sondern einstmals ist.
Ein schöner Kopf
verhieß sich dir,
der Eltern Liebe
hat den Weg gesäumt
bis an des Alters Abhang,
Geist, Gesetz und Gunst
der hohen Kunst
erhellen dir das Dasein
schwinden über deinem Wegsein.

Andante morendo al fine

Frost zieht herauf
in dein Bewußtsein
eist die Erinnerung,
vergletschert deine Seele.
Vergeblich sehnst du dich
nach Licht und Wasser,
wie das ausgebrannte Weltall
Wasserstoff entbehrt,
Verzehrt sind Zeit
und Raum
und Energie,
Gestalt zerstreut,
Gedächtnis tot.

30.11.09

EXIL

Im Meer
fremdgeborener Wörter
verliert die eigne Sprache
ihre Ungestalt
und wächst aus einer Alge auf
zum Baum mit Früchten.
Geburt von Land
und Licht
durch Wurzeln
und Reifen.

Jedes Wort
ist das letzte,
Mauer und Grab,
vergeblich und kostbar,
leuchtet es reiner,
je dunkler es wohnt.

Der Blick der Liebenden
begegnet ihresgleichen,
bricht sich
an der Furcht,
die Sprache heißt.
Im Weinen eines Kindes
fließt die Wahrheit
aller Worte.

Der Wind,
der durch die Zweige fährt,
spricht nicht griechisch.
In allen Sprachen
flirrt der abendliche Eros
der Zikaden.

Wellen am Ufer
reden Wechsel
und schäumen Dauer
auf den Sand.
Von überall
gleichweit entfernt
zerbersten Sterne.

Heimat ist,
worauf wir treten
und wonach wir schauen.

В море
чужих слов
родной язык теряет
свое безволие
и поднимается из водоросли
в дерево с плодами.
Зарождение материка
и света маяка
укоренением
и вызревaniem

Каждое слово –
последнее,
напрасно и бесценно,
плотина и могила,
светится тем яснее,
чем темнее живет.

Влюбленный взгляд
встречается с подобным,
и разбивается
о страх,
чье имя речь.
В плаче ребенка
течет правда
всех слов.

Ветер,
сквозящий в ветвях,
не знает греческий.
Во всех наречиях
мерцает вечерний эрос
цикад.

Волны прибоя
наговаривают перебои
и вспенивают постоянство
на песке.
Отовсюду
равноудаленные,
трескаются звезды.

Родина это то,
что мы топчем
не отрывая глаз.

Лев ШЕСТОВ

Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит ... Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли не сегодня-завтра вернутся в Афины: Сократ сейчас же готов разговаривать, доказывать... Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ по поводу записанных Платоном диалогов своих заметил: «Сколько этот юноша налгал на меня». Но ведь все источники согласно показывают, что месяц после своего осуждения Сократ провёл в непрерывных беседах со своими учениками и друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно не дадут ... Самая лучшая смерть — это та, которая почитается самой худшей: когда никого нет при человеке — умереть далеко на чужбине, в больнице, что называется, как собака под забором. По крайней мере, в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передаёт его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребёнок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться? Ложный стыд!

Нравственные люди — самые мстительные люди, свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утончённое орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презируют и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, то есть чтоб вместе с ними все восстали на осуждённого ими, чтоб даже собственная совесть осуждённого была на их стороне, только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворёнными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам.

Мы глумимся и смеёмся над человеком не потому, он смешон, а потому, что нам нужно развлечься, посмеяться. Так же негодуем мы не потому, что тот или иной поступок возмутителен, а потому, что нам нужно дать исход накопившемуся чувству. Из этого, конечно, менее всего следует, что мы должны быть всегда равными и спокойными. Горе тому, кто вздумал на земле осуществлять идеал справедливости ...

Lew SCHESTOW*Übersetzung Ilja SAMOILENKO*

Wie schwer fällt es doch, Platos Berichte von den Unterredungen, die Sokrates vor seinem Tode gehabt hatte, zu lesen. Seine Tage, seine Stunden sind schon gezählt, er aber redet und redet und redet ... Kriton kommt im frühesten Morgengrauen zu ihm und teilt ihm mit, die geweihten Schiffe würden wenn nicht heute, so morgen nach Athen zurückkehren: Sokrates ist sofort bereit, sich zu unterhalten, zu beweisen... Allerdings ist es nicht nötig, Plato unbedingt Glauben zu schenken. Es wird überliefert, Sokrates habe, aus Anlass der durch Plato vorgenommenen Niederschrift seiner Dialoge, geäußert: „Wieviel hat dieser Jüngling über mich zusammengelogen“. Aber alle Quellen stimmen darin überein, dass Sokrates den Monat nach seiner Verurteilung in ununterbrochenen Gesprächen mit seinen Schülern und Freunden zugebracht habe. Das bedeutet es also: geliebt sein und Schüler haben! Man läßt einen nicht einmal ruhig sterben ... Der beste Tod ist wohl der, den man gewöhnlich als den schlechtesten zu bezeichnen pflegt: wenn niemand beim Menschen ist, fern - in der Fremde sterben, in einem Spital – wie man sagt – wie ein Hund hinterm Zaun verrecken. Wenigstens braucht man dann in den letzten Augenblicken des Lebens nicht zu heucheln, zu unterweisen, sondern kann still sein, sich auf das furchtbarste, vielleicht aber auch gewaltigste Ereignis vorbereiten. Auch Pascal hat, wie seine Schwester berichtet, viel von seinem Tod gesprochen, Musset aber weinte wie ein Kind. Vielleicht haben Sokrates und Pascal darum soviel gesprochen, weil sie sich fürchteten, in Schluchzen auszubrechen? Eine falsche Scham!

Moralische Menschen – die rachsüchtigsten Menschen von allen, ihre Sittenhaftigkeit, wird als die beste und raffinierteste Waffe der Rache verwendet. Sie geben sich nicht damit zufrieden, nur zu verachten und ihre Nachbarschaft zu verurteilen, sie wollen, dass ihre Überzeugung universell und verpflichtend sei, das heißt, dass zusammen mit ihnen alle verurteilen, so dass auch das eigene Gewissen des Sträflings selbst auf ihrer Seite sei, nur dann, fühlen sie sich recht zufrieden und ruhig. Neben der Moral, gibt es nichts auf der Welt, was zu solch brillanten Ergebnissen führen kann.

Wir spotten und lachen über einen Mann nicht, weil er lustig ist, sondern weil wir Spaß brauchen, Lachen. Gleichermaßen empören wir uns nicht weil diese oder jene Handlung empörend ist, sondern weil wir das eingeschlossene Gefühl herauslassen (müssen. Dies bedeutet natürlich am allerwenigsten, dass wir immer glatt und ruhig sein sollten. Wehe dem, der daran denkt auf der Erde das Ideal der Gerechtigkeit zu verwirklichen ...

Фарисей в евангельской притче исполнил всё, что от него требовала религия, — он соблюдал посты, отдавал десятину и так далее. Вправе ли был он радоваться своему благочестию и презирать преступного мытаря? Все думают, что вправе, и Фарисей так думал. Суд Христа был для него величайшей неожиданностью. У него совесть была чиста, он ни перед другим не притворялся святым, он верил сам в свою святость. И вдруг он оказывается виноватым, и как виноватым. Но если совесть совестливого человека не помогает нам отличить добро от зла, то как уберечься от преступления? И что значит кантовский нравственный закон, который утешал его так же, как и звездное небо? Кант прожил свою жизнь в глубоком душевном мире и встретил смерть спокойно, в сознании, что он ни перед кем ни в чём не виноват. Но если бы вновь пришёл Христос, Он, может быть, осудил его за праведность. Ибо Фарисей, повторяю, был праведным — если только чистота намерений, соединённая с готовностью честно исполнить всё, что считаешь долгом, есть праведность.

Писатель взвинчивает себя, чтобы дойти до состояния экстаза: иначе он не берётся за перо. Но экстаз не всякий умеет отличать от других, менее возвышенных видов душевного подъёма. И так как писателю почти всегда нужно сочинять, то он обыкновенно не имеет терпения долго выжидать и при первых признаках одушевления начинает изливаться. Оттого-то так часто под именем экстаза преподносятся нам дешёвые и ничем не замечательные душевные настроения. Особенно легко смешивают с экстазом тот очень распространённый вид весеннего ликования, для которого наш язык изобрёл известный меткий эпитет. И, в конце концов, телячий восторг встречает у публики более радушный приём, чем истинное вдохновение и глубокий экстаз. Понятней — и ближе.

Мы думаем особенно напряжённо в трудные минуты жизни — пишем же лишь тогда, когда нам больше нечего делать. Так что писатель только в том случае может сообщить нам что-либо интересное или значительное, когда он воспроизводит прошлое. Когда нам нужно думать, нам, к сожалению, не до писания. Оттого-то все книги, в конце концов являются только слабым откликом пережитого.

Быть непоправимо несчастным — постыдно. Непоправимо несчастный человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый человек осуждён быть непоправимо несчастным, то, стало быть, последнее слово философии — одиночество.

Der Pharisäer im Gleichnis des Evangeliums erfüllt alles, was von ihm von der Religion verlangt wurde, – er hielt sich an das Fasten, gab “den Zehnten” für die Steuer ab und so weiter. Ob ihn das aber berechtigte, sich über seine Frömmigkeit zu freuen und den Zöllner als Verbrecher zu verachten? Alle denken, er hätte dieses Recht, und der Pharisäer selbst dachte genauso. Christus Urteil war für ihn die größte Überraschung. Sein Gewissen war rein, er gab nicht vor anderen vor heilig zu sein, er glaubte mit an seine Heiligkeit. Plötzlich erweist er sich als selbst schuldig, und wie schuldig. Aber wenn das Gewissen eines gewissenhaften Menschen uns keine Hilfe ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden, wie soll man sich vor Verbrechen schützen? Und was bedeutet Kants Moralgesetz, das ihn ebenso wie der Sternenhimmel getröstet hat? Kant lebte sein Leben in tiefem Frieden mit der Welt und traf den Tod ruhig und mit dem Bewusstsein, dass er vor niemandem und nichts schuldig sei. Aber wenn Christus wieder käme, hätte er ihn, möglicherweise, für Gerechtigkeit verurteilt. Denn der Pharisäer, ich wiederhole, es war gerecht - vorausgesetzt die Reinheit der Absicht verbunden mit der Bereitwilligkeit alles ehrlich auszuführen, als Pflicht angesehen, ist Gerechtigkeit.

Der Schriftsteller bläst sich auf, um den Zustand der Ekstase zu erreichen: andernfalls würde er nicht zum Stift greifen. Aber nicht jeder ist in der Lage Ekstase von anderen, weniger erhabenen Arten der Inspiration zu unterscheiden. Und da man als Schriftsteller fast immer schreiben muss, hat er in der Regel keine Geduld für langes Warten und beginnt bei ersten Anzeichen der Inspiration sich zu ergießen. Deshalb werden uns so oft unter dem Namen der Ekstase billige seelische Gefühle und nicht weiter bemerkenswerte geistige Stimmungen präsentiert. Besonders leicht mit Ekstase vermischt ist die so gängige Art des Frühlingsjubels, für den unsere Sprache den bekannten, treffenden Epitheton erfunden hat. Und letztlich trifft "sich wie ein Schnitzel zu freuen" in der Öffentlichkeit auf ein herzlicheres Willkommen, als wahre Inspiration und tiefe Ekstase. Es ist klar - und näher.

Wir denken, besonders intensiv in den schwierigen Momenten des Lebens – aber schreiben nur, wenn wir nichts anderes mehr zu tun haben. So, dass der Schriftsteller nur dann etwas Interessantes oder Signifikantes sagen kann, wenn er die Vergangenheit wiedergibt. Wenn wir denken müssen, geht es uns leider erst nicht um das Schreiben. Deshalb sind alle Bücher letztendlich nur ein schwaches Echo der Erlebnisse.

Hoffnungslos unglücklich zu sein – das ist beschämend. Der hoffnungslos unglückliche Mensch ist des Schutzes der Gesetze der Erde beraubt. Jede Verbindung zwischen ihm und der Gesellschaft bricht für immer ab. Und weil jeder Mensch früher oder später dazu verurteilt ist, hoffnungslos unglücklich zu sein, deshalb ist das letzte Wort der Philosophie – die Einsamkeit.

Философы ужасно любят называть свои суждения истинами, ибо в таком чине они становятся общеобязательными. Но каждый философ сам выдумывает свои истины. Это значит: он хочет, чтобы его ученики обманывались по выдуманному им способу, право же обманываться на свой манер он оставляет за одним собой. Почему? Почему не предоставить каждому человеку права обманываться, как ему вздумается?

Когда Ксантиппа облила помоями Сократа, вернувшегося с занятий философией, он, по преданию, сказал: «После бури всегда бывает дождь». Не достойнее ли истины (не мудреца, а истины) было бы сказать: познаявшись философией, всё равно чувствуешь себя облитым помоями, и Ксантиппа дала только внешнее выражение тому, что происходило в душе Сократа. Символы не всегда бывают красивы.

Страх смерти объясняется исключительно чувством самосохранения. Но тогда он должен был бы исчезать у стариков и больных, которым было бы свойственно встречать смерть равнодушно. Между тем, ужас перед смертью свойствен всем живым существам. Не значит ли это, что ужас имеет ещё какой-нибудь смысл? И что там, где он не может оберечь живое существо от грозящей гибели, он всё же нужен и целесообразен? И что естественнонаучная точка зрения и на этот раз, как почти всегда, останавливается на полпути, не доведя до того конца, к которому она обещала привести человеческий ум?

Моральное негодование есть лишь более утончённая форма древней мести. Когда-то гнев разговаривал кинжалами, теперь достаточно слов. И счастлив тот, кто хочет и любит казнить своего обидчика, для кого отмщённая обида перестаёт быть обидой. Оттого мораль, пришедшая на смену кровавой расправе, ещё не скоро потеряет свою привлекательность. Но ведь есть обиды, и глубокие, незабываемые обиды, наносимые не людьми, а законами природы. Как с ними справиться? Тут ни кинжал, ни негодующее слово ничего не поделают. И для того, кто столкнулся с законами природы, мораль временно или навсегда уходит на второй план.

Фатализм пугает людей — особенно в той своей форме, которая считает возможным ко всему, что происходит, происходило и будет происходить, говорить: да будет так. Как оправдывать действительность, когда в ней столько ужасов? Но *amor fati* не обозначает вечного мира с действительностью. Это только перемирие на более или менее продолжительный срок. Нужно время, чтоб изучить силы и намерения противника: под личиной дружбы старая вражда продолжает жить и готовится страшная месть.

Philosophen bezeichnen ihre Überlegungen schrecklich gern als Wahrheiten, weil sie in einem solchen Rang allgemein verbindlich werden. Aber jeder Philosoph erfindet seine eigene Wahrheit. Das heißt: er will dass seine Schüler in den von ihnen erfundenen Methoden getäuscht werden. Das Recht selbst gleichermaßen in seinem Weg getäuscht zu sein, lässt er hinter sich. Warum? Wieso nicht jeder Person das Recht zur Verfügung stellen, zu täuschen, wie er will?

Als Xanthippe Sokrates, als dieser nach dem Studium der Philosophie zurückkehrte, den Nachtopf über den Kopf goss, soll Sokrates gesagt haben: "Nach dem Sturm kommt immer Regen". Wäre es der Wahrheit nicht würdiger (nicht eines weisen Mannes, sondern der Wahrheit) zu sagen: selbst nach dem Philosophiestudium da man sich sowieso von Schlamm durchnässt fühlt, hat Xanthippe nur das äußerlich zum Ausdruck gebracht, was in der Seele des Sokrates geschieht. Die Symbole sind nicht immer schön.

Die Angst vor dem Tod erklärt sich ausschließlich aus einem Gefühl der Selbsterhaltung heraus. Aber dann würde sie bei älteren Menschen und Kranken verschwinden, die dazu neigen würden den Tod mit Gleichgültigkeit zu empfangen. Indessen ist der Schrecken vor dem Tod charakteristisch für alle Lebewesen. Bedeutet das nicht, dass das Grauen noch einigen Sinn hat? Und dass es da, wo es ein Lebewesen nicht vor dem drohenden Tod bewahren kann, immer noch notwendig und zweckmäßig ist? Und dass die naturwissenschaftliche Ansicht dieses Mal, wie fast immer, auf halbem Wege stockt, einen zu dem Schluss zu geleiten, zu dem sie versprochen hatte: den menschlichen Geist zu führen?

Moralische Entrüstung ist nur eine subtilere Form der altertümlichen Rache. Früher sprach die Wut durch Dolche, nun genügen Worte. Und glücklich ist der, der es will und liebt seinen Missetäter hinzurichten, damit nach der Straftat der Groll aufhört. Weil die Moral, die das Massaker ersetzt, nicht bald ihren Reiz verliert. Aber es gibt tiefe Beleidigungen, unvergessliche Beleidigungen, nicht von Menschen zugefügt, sondern von den Gesetzen der Natur. Wie mit ihnen fertig werden? Hiergegen kann weder ein Dolch noch ein entrüstetes Wort etwas tun. Und für die Person, die mit den Gesetzen der Natur kollidiert, tritt die Moral, vorübergehend oder dauerhaft in den Hintergrund.

Der Fatalismus schreckt die Menschen – vor allem in der ihm eigenen Form, die für alles, was er für möglich hält, dass es passiert, passiert ist und passieren wird, sagt: amen (so soll es sein). Wie die Wirklichkeit beschönigen, wenn ihr so viel Grauen innewohnt? Aber amor fati bedeutet nicht, den ewigen Frieden mit der Wirklichkeit. Dies ist nur ein Waffenstillstand für einen längeren oder kürzeren Zeitraum. Es braucht Zeit, die Kraft und die Absichten des Feindes zu untersuchen: in der Gestalt der Freundschaft lebt die alte Fehde weiter und eine schreckliche Rache vorbereitet sich vor.

Anton RÖHR

HARTMUT ROSAS SOZIOLOGIE DER WELTBEZIEHUNGEN

Wir sparen ständig Zeit. Trotzdem haben wir immer weniger davon. Warum eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Soziologe Hartmut Rosa und argumentiert dafür, dass es hier nicht (nur) um mangelndes Zeitmanagement Einzelner, sondern um ein gesellschaftliches Phänomen geht, dessen strukturelle Ursachen uns nicht nur durch die Gegend hetzen lassen, sondern auch gelingendes Leben systematisch erschweren.

Eigentlich wollte ich diesen Artikel schon gestern einreichen. Heute ist nun schon ein Tag nach der Abgabe, aber er ist immer noch nicht fertig. Dabei hätte ich heute auch eine Vorlesung gehabt, hätte einen Seminartext vorbereiten sollen, wollte auch noch Sport machen, Klavierspielen, Zeitung lesen, die Sonne genießen, und heute Abend habe ich auch noch eine Verabredung mit Freunden, die ich wohl absagen muss. Aber das gilt nicht nur für heute: Ständig bin immer knapp an irgendeiner Deadline oder schon darüber hinaus, bin zu spät dran und kann mir dementsprechend für das, was ich tue, selten ausreichend Zeit nehmen. Dabei greife ich bereits – um Zeit zu sparen – auf zahlreiche praktische technische Helferlein zurück. Z.B. wäscht während ich hier an meinem Laptop sitze, im Bad eine Maschine meine Wäsche und eine weitere in der Küche macht mir den Kaffee, den ich brauchen werde, um aus diesem Artikel heute Nacht noch etwas Brauchbares zu formen... Immerhin habe ich den Verdacht, dass ausschließlich ich allein für mein Zeitproblem verantwortlich bin, erfolgreich abgelegt, seit ich mich mit der Arbeit des Soziologen Hartmut Rosa auseinandersetze. Für ihn ist die Zeitknappheit des modernen Subjektes vor allem die Folge eines sozialen Beschleunigungsprozesses, den unsere Gesellschaft seit dem Eintreten in die Moderne vollzieht und der im Folgenden vorgestellt werden soll. Zentral ist dabei v.a. der Einfluss sozialer Beschleunigung auf das In-der-Welt-sein moderner Subjekte den Rosa in seiner im März 2016 erschienenen Monografie mit dem Titel „*Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehungen*“ erstmals umfassend herzustellen versucht. Zuvor ist jedoch zu klären: Was ist eigentlich soziale Beschleunigung? Dafür beginnt man am Besten mit Rosas Definition der Moderne.

Beschleunigung als Phänomen der Moderne

Entgegen von Konzepten der Philosophie und Kulturwissenschaften, die unter Moderne oft, ein auf Selbstbestimmung und Erkenntnis zielendes normatives Projekt verstehen oder anderen (v.a. historischen) Disziplinen, die aufgrund der zahlreichen unter diesem Begriff kulminierten teils widersprüchlichen Tendenzen, den Begriff *der* Moderne ganz aufgeben wollen, versucht Rosa

möglichst wertfrei und sparsam eine strukturelle Einheitstendenz moderner Gesellschaften herauszuarbeiten, die er folgendermaßen fasst: „*Die Sozialformation der Moderne ist strukturell dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag*“ (Rosa 2016: 518). Dynamische Stabilisierung meint dabei, dass sich moderne Gesellschaften steigern und verändern müssen, nicht um etwa auf äußere Einflüsse zu reagieren, sondern um ihren Status Quo zu erhalten. Das sieht man am eindrucklichsten im auf Wachstum ausgerichteten Bereich der Wirtschaft, in dem bereits Jahre, in denen genauso viel erwirtschaftet wurde wie im Jahr zuvor, als „Krisenjahre“ diagnostiziert werden. Steigende Wachstumszahlen beziehen sich hingegen stets auf das Jahr zuvor, woraus sich insgesamt kein stetiges, sondern ein – von Rosa als Eskalationstendenz identifiziertes – exponentielles Wachstum ergibt. Doch auch jenseits der kapitalistischen Wirtschaftsordnung findet Rosa Indizien für einen eskalativen Steigerungszwang moderner Gesellschaften: z.B. in der Wissenschaft, wo der Name bereits auf eine Steigerung des Wissens hinweist oder in der modernen Kunst, wo es lediglich die Innovationsleistung ist, die Anerkennung erfährt (und nicht die bloße Nachahmung der Natur oder alter Meister, wie es in vormodernen Zeiten durchaus üblich war). Die Konsequenz: Wir produzieren, konsumieren und distribuieren viel mehr Güter, sind wesentlich stärker vernetzt, und haben wesentlich mehr Optionen als die Menschen noch vor hundert Jahren und müssen all das auch weiterhin steigern, damit unsere Gesellschaft so bleiben kann wie sie ist. Allerdings – und darauf macht Rosa aufmerksam – gibt es (mindestens) eine Größe in diesem Steigerungsspiel, die sich nicht steigern lässt und so zunehmend zur knappsten Ressource moderner Gesellschaften wird: die Zeit respektive die 24 Stunden am Tag oder 365 Tage im Jahr, die sich nicht vermehren, sondern nur verdichten lassen. Die gewaltige Steigerungsleistung einer modernen Gesellschaft wird also nicht nur durch die permanente Ausweitung kapitalistischer Verwertungslogik in immer wieder neue Lebensbereiche und durch eine voranschreitende Disziplinierung, Vernetzung und Aktivierung der Gesellschaftsmitglieder, sondern auch durch Zeitverdichtung bzw. Effizienzsteigerung ermöglicht, die Rosa unter dem Phänomen der Beschleunigung – als „*Mengenwachstum pro Zeiteinheit*“ (Rosa 2005: 256) – fasst. Dieses fächert sich bei ihm in drei Dimensionen auf, die sich zugleich in einer Art Feedbackzirkel verstärken: Zu Beginn steht die *Technische Beschleunigung*, d.h. die Erhöhung der Transport-, Kommunikations- und Produktions-geschwindigkeiten durch technische Innovationen, die Zeit verdichten. Die technische Beschleunigung erzeugt und verändert dabei soziale Praktiken sowie Kommunikations- und Lebensformen, woraus sich ein sozialer Wandel ergibt, dessen Veränderungsrate (aufgrund der Eskalationslogik der Steigerungsmoderne) selbst steigt. Diese *Beschleunigung des sozialen Wandels* hat wiederum die Folge, dass die Welt (so wie wir sie kennen) sich immer schneller ändert und so die Stabilität der Hintergrundbedingungen unseres Handelns sinkt. Um mit dem

sozialen Wandel mitzuhalten bzw. nicht vom Rest der Gesellschaft „abgehängt“ zu werden, vollziehen nun Kollektive wie Individuen eine Anpassungsbewegung, die Rosa als *Beschleunigung des Lebenstempos* bezeichnet: D.h. wir versuchen schneller zu handeln, mehr in der gleichen Zeit zu erledigen, Multitasking zu betreiben und kürzere Pausen zu machen, in denen wir uns effizienter zu entspannen versuchen. Die darüber freigesetzten Zeitressourcen fallen jedoch schnell wieder der Steigerungslogik zum Opfer, weswegen Zeit trotz großer technischer und wissenschaftlicher Fortschrittsleistungen in der Moderne zu einem immer knapperen Gut wird. Dementsprechend dauert fast alles immer schon zu lange, sind wir immer schon zu spät und tendenziell gibt es immer etwas, was wir statt dem, was wir gerade tun, eigentlich tun könnten oder müssten.

Warum aber halsen wir uns dieses Programm auf? Da der Wettbewerb die vorherrschende Allokationsmethode ist, mithilfe derer Güter aber auch Chancen, Privilegien, Positionen, Anerkennung und Status in der modernen Gesellschaft verteilt werden, und die Konkurrenz nicht schläft, heißt das für Individuen, wie Unternehmen und auch ganze Länder: Wer sich nicht steigern will oder kann, bleibt in seiner Güterausstattung, aber auch in seinem sozialen Status etc., nicht stehen, sondern fällt zurück. Doch es ist nicht nur die Angst, die als Motor der Beschleunigung fungiert, sondern Beschleunigung ist darüber hinaus auch attraktiv; verspricht sie uns doch ein größeres Maß an Optionen, Weltreichweite und damit ein selbstbestimmteres Leben. Dabei deutet sich in der Konfrontation von Steigerungszwang und Autonomieversprechen bereits ein Widerspruch an, der im Folgenden als einer von Rosas drei zentralen Kritikpunkten an der modernen Steigerungslogik ausgeführt werden soll.

Konsequenzen der Beschleunigung Bei aller Kritik, die nun folgt, ist zu betonen, dass Langsamkeit oder Rezession für Rosa keinen Selbstzweck darstellt. Kein Mensch will einen langsamen Notarzt oder eine langsame Internetverbindung. Dennoch stellt für Rosa gerade die prinzipielle Unabgeschlossenheit in der Steigerungslogik in mehrerlei Hinsichten ein Problem dar: Der *erste* Kritikpunkt betrifft dabei den (erwähnten) Widerspruch zwischen dem modernen Versprechen von Autonomie als einer Überwindung „von Armut und Knappheit, Krankheit“ etc. durch „widrige Naturumstände“ aber auch durch kulturelle Normen „auferlegten Einschränkungen“ (Rosa 2013, 114) und dem strukturellen Steigerungszwang, der der Moderne ebenfalls zutiefst eingeschrieben ist. In der Moderne ist und bleibt die zentrale Aufgabe moderner Individuen, Unternehmen und Länder, ihre Konkurrenzfähigkeit zu erhalten, um beim Steigerungsspiel im Rennen und in Zeiten beschleunigten sozialen Wandels flexibel zu bleiben. Auf diese Weise saugt die Steigerungslogik die gewonnenen Freiräume zur selbstbestimmten politischen wie privaten Lebensgestaltung, spätestens in Zeiten niedriger Steigerungsraten, wieder auf. Dann fließen fast alle politischen Energien in die Erhaltung der

Standortattraktivität, die Förderung von Wettbewerb und Innovationen, und in die Aktivierung ungenutzter (humaner) Ressourcen, um internationalen Vergleich nicht zurückzufallen; Unternehmen versuchen ihre Leistungsfähigkeit (durch Prozessoptimierung, internen Wettbewerb, etc.) aber auch ihre Flexibilität permanent zu steigern, um in einer beschleunigten Welt weiterhin wachsen bzw. Gewinne produzieren zu können; und Individuen sind gezwungen nach und nach alle Lebensbereiche der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit unterwerfen: Familie und Freunde werden so zunehmend zu sozialem, Gesundheit und Fitness zu körperlichem, Bildung und Erziehung zu kulturellem Kapital etc., das es permanent zu halten bzw. (idealerweise) zu vermehren gilt. Wir nehmen uns also zwar als freie und verantwortungsvolle Entscheidungsträger wahr, von wirklich autonomer Lebensgestaltung kann (zumindest aus dieser Perspektive) aber nicht die Rede sein.

Außerdem kommt es *zweitens* zu Dysfunktionalitäten an den Schnittpunkten, an denen Schnelles und Langsames – bzw. stärker Beschleunigungsfähiges und weniger Beschleunigungsfähiges – aufeinandertreffen, die Rosa als Phänomene der „Desynchronisation“ bezeichnet. Als ein solches Desynchronisationsphänomen lässt sich z.B. die wachsende Umweltverschmutzung und -zerstörung verstehen, wo der schnell steigende Ressourcenhunger und die Abfallproduktion moderner Gesellschaft auf die langsameren Rekreationszyklen der Natur treffen. Rosa sieht jedoch nicht nur die „Umweltkrise“, sondern alle modernen Krisenerscheinungen – d.h. auch die Wirtschaftskrise, das Auseinandergehen der sozialen Schere, der massive Anstieg von Burnout- und Depressionserkrankungen und die von Rosa als „Demokratiekrise“ gedeuteten Kombination aus Politikverdrossenheit, Wutbürgertum, und den enormen Zuwachsraten für rechte Parteien – als Desynchronisationsphänomene, die das Funktionieren des gesamtgesellschaftlichen (Welt-)Gefüges bzw. deren Steigerungsfähigkeit (und damit ihre eigenen Strukturen) gefährden.

Beschleunigung und Entfremdung

Rosas dritter Kritikpunkt umfasst gewissermaßen die ersten zwei und hat sich dementsprechend in den letzten Jahren zu seinem Hauptthema entwickelt. Ausgangspunkt ist dabei die These, dass die soziale Beschleunigung systematisch die (zunächst existenzielle und emotionale aber auch die kognitiv-propositionale) Beziehung der Subjekte zu Raum und Zeit, zur menschlichen wie nicht-menschlichen Umwelt, und auch zu sich selbst bzw. ihren Handlungen, Körpern und psychischen Dispositionen verändert, wobei der unabschließbare Steigerungszwang (früher oder später) zu Pathologien führt, die Rosa unter dem Begriff der „Entfremdung“ fasst. Dabei referiert auf Rahel Jaeggi und ihr gleichnamiges Werk aus dem Jahre 2005, in dem sie den Begriff möglichst formal als „Beziehung der Beziehungslosigkeit“ (Jaeggi 2005: 19) bestimmt. Entfremdung bezeichnet für Rosa einen Beziehungsverlust zwischen Selbst und Welt, der sich zunächst als unmittelbare Folge einer

Desynchronisation zwischen der steigenden Geschwindigkeit des sozialen Wandels und der langsameren psychischen Eigengeschwindigkeit des Menschen interpretieren lässt. Die Folge davon ist nicht, dass Menschen nicht mehr effizient agieren, instrumentell mit Dingen hantieren oder Informationen an andere weitervermitteln könnten (hierbei hilft eine entfremdete Weltbeziehung sogar), sondern es ihnen zunehmend verwehrt bleibt, sich Welt *anzuverwandeln* bzw. mit ihr in eine wechselseitige, antwortende Beziehung zu treten. Mit diesen Anverwandungsverhältnissen und der damit einhergehenden Erfahrung einer tragenden und antwortenden Welt, die er unter dem Begriff *Resonanz* fasst, beschäftigt sich Rosa nun erstmals umfassend in seinem neuen gleichnamigen Buch. Neben der ausführlichen (ausschließlich deskriptiven) Bestimmung des Menschen als psychisches und physisches Beziehungswesen, findet sich darin auch eine Bestimmung, aus der das normative-kritische Potential seiner Theorie erwächst. Rosas These ist nämlich, „dass menschliches Leben (zumindest momenthaft) dort gelingt, wo Subjekte konstitutive Resonanzverfahren machen“ (Rosa 2012: 10). Rosas umfassende Bestimmung solcher Erfahrungen, sowie deren Voraussetzungen und Verbindung zu anderen philosophischen und sozialwissenschaftlichen Konzepten zeigt dabei, wenn man im Rahmen einer Kritik der Resonanzverhältnisse, Lebensqualität nicht ausschließlich anhand von Ressourcen- und Optionsreichtum bemisst, sondern auch die Qualität und Stabilität der Weltbeziehungen in den Blick nimmt, so weist die moderne Gesellschaft gewaltige Defizite auf, die sich nur mithilfe konzertierter politischer Veränderungs- und kultureller Neuorientierungsprozesse, in denen die Aufhebung des Steigerungszwangs bei gleichzeitiger Erhaltung von Demokratie, Freiheit und Pluralismus oberstes Ziel sein muss, beheben lassen.

Fazit

Mit seiner Kritik der Resonanzverhältnisse liefert Rosa eine in der Tradition der kritischen Theorie stehende scharfsinnige und mitreißende Analyse unserer modernen Gesellschaft. Allerdings wird die stark normative Kraft, die von seiner formalen Bestimmung gelingenden Lebens ausgeht und die Monomanie mit der er Autoren, Traditionen und Begriffe in seinem System zu fassen versucht, so manchem Experten vermutlich sauer aufsteigen. Auch wird Rosa sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass seine Analyse nicht moderne Gesellschaft an sich betrifft, sondern nur die Probleme des gehobenen westlichen Mittelstandes, dem er selber angehört, gesellschaftstheoretisch reformuliert. Schließlich wird er sich als naiven Romantiker und Schreibtisch-Weltverbesserer beschimpfen lassen müssen, der die knallharte Realität, aber auch die Komplexität unserer globalisierten Weltkennt. Ob diese Kritikpunkte tatsächlich zutreffen oder nicht, darüber mag sich diese stark verknappte Darstellung von Rosas Thesen kein Urteil erlauben, allerdings kann ich (auch in Zeiten allgemeiner Zeitknappheit) jedem eine Auseinandersetzung mit Rosas Thesen uneingeschränkt empfehlen.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСКИ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

Фрагменты

... Жорж Санд и Шопен не смогли поселиться в Пальма-де-Майорка, где хотели, ибо невенчаны были.

Монахи Вальдемосского монастыря оказались куда более толерантными, приютили их у себя.

Быть может, тогда ещё не было забыто, что Бог есть Любовь ...

В расплавленной жаром Равенне – нечто вроде *репетиции оркестра*, который явственно намерен исполнить «По прочтении Данте» (часть первая – АД) ...

В отличие от своих друзей-художников, никогда не *болел* Италией. Разве что — Флоренцией, до коей так пока и не добрался. Боттичелли остался одним из немногих непеременичиво-любимых. В Пинакотеке — лишь одна его картина, но зато — гениальная «Pieta» с *безбородым Иисусом*.

Семейка Медичи – первая, понявшая, что художника *дешевле* досыта кормить и поощрять, нежели властно и свысока понуждать к обслуживанию своих вкусов. И потому мрачноватый, мягко говоря, *семейный портрет* Медичи вытеснен — в сознании потомков — из итальянской истории времен Ренессанса и сохранился в истории культуры совсем иным — сотворённым художниками, коим Медичи *покровительствовали*.

И всё-таки – как в лучшем, по-моему, стихотворении Алигер: «Флоренция, тоска моя, Тоскана, Как холодно, как пусто. Как темно... Как будто из тяжёлого стакана Пью старое тяжёлое вино ...»

Это *тяжёлое вино* – дорогого стоит ...

Данте выбирает в «проводники» Вергилия: последний великий поэт античности, пред-христианской эпохи, водит «кругами» первого великого поэта христианской культуры — и Ренессанса. Сомневаюсь в случайности такого выбора.

Вероятно, в новом, то бишь близком к нашему времени резонней было бы выбрать в *проводящие* не Вергилия, но Гомера, слепого, ведущего *по кругам* внутренним зрением ...

По прочтении Мандельштама.

Из нынешних писчих способен ли кто, при здоровом уме и таланте, учить итальянский — и только за то, что им разговаривал Данте?..

Забавно было бы собрать представительную коллекцию — загадочных русских лингвистических транскрипций. Ну, для начала: Вавилон, Колумб, Кордова, Гренада, Париж, Рим, мрамор etc. А заодно — и всякого рода *приращений*, вроде: трам-way, авто-bus etc ...

Испания ... Всё ожидажно, но оттого нимало не хуже.

Гранада, Кордова, Севилья, Сьерра Невада, Гвадалквивир и прочее.

... «Ночной зефир струит эфир» ...

При первом же взгляде на реку становится ясно, что автор её в глаза не видел, не говоря уже о том, что ночи там – по части «эфира» – не очень-то: днём – летом – в Кордове – за плюс сорок.

Ровно то же у него было и с Брентой.

Ходасевич, как увидел её, расстроился: «Брента, рыжая речонка»...

В Севилье, само собой, – памятник Дон Гуану.

«На серебряных цезурах, На цезурах золотых Я вам пел о нежных дурах, О любовницах моих» ...

В табачной фабрике, где работала Кармен, теперь... университет; ворота, у коих герой подстерегал её после работы, – кованая решётка трехметровой высоты, такова же и ограда, а дом – четыре этажа псевдобарокко... Глядя на эту роскошь, вдруг соображаешь, что и табак, заморский пришелец, во времена Кармен ещё был роскошью.

Кабы сочинял прозу или пьесы, измыслил бы что-нибудь вроде встречи Кармен с Дон Гуаном ...

Впрочем, памятник Кармен тоже есть, только не у «фабрики», а напротив оперного театра, благодаря двум фанцузам, и неподалеку от Арены – у ней ведь «новый роман» – с тореро, вот Хосе её – как тёлку – и закалывает: куда же без Фрейда теперь!..

Нету лишь никаких следов, быть может, самого знаменитого «севильца» — Фигаро. Что не испанцем порождён — роли не играет: Мериме и Бизе — тоже не андалузцы. Видимо, вытеснен Дон Гуаном, он ведь — одна из ипостасей оного, Дон Гуан, *образумившийся* на полпути к Командору...

Это не рассуждение — вслушивание в Моцарта, в переключку музыкальную *бретёра с цирюльником*.

К тому же в моцартовские времена Австрия ещё не забыла пору Веласкеса, когда и в Вене, и в Мадриде на престолах восседали Габсбурги.

Вечером одна из частей «фламенко» исполнялась под первую часть сороковой симфонии Моцарта ...

«Сквозь чугунные перила Ножку дивную продень»... – сквозь перила эти, что в Кордове, что в Севилье вполне сохранившиеся, можно только кончиками пальцев пошевелить. Но мантильи продаются на каждом шагу... А клише «цыганская гитара» возникло не иначе, как из созвучия: *Gitana* – *Guitarra* (кстати, с первым ассоциируются и любимые французами сигареты: «*Gitane*») ...

В Кордове – в пору мавританства – «иноверцы» (христиане и евреи) должны были платить налог (сие обыкновение сохранилось в европейских странах с «основной» религией доныне, в Германии, например, так); чтобы этого не делать, многие христиане... переходили в мусульманство.

Там же, на родине Маймонида, был университет, десять тысяч студентов в год, это в Средневековье-то! Преподавали на трёх языках: арабский, иврит, латынь. Тут же — памятники великим ученым, в университете преподававшим.

Когда мавров и евреев выгнали, всё это рухнуло ...

А в самой большой мечети Европы, где могло бы, не теснясь, разместиться тогдашнее население Парижа, за три века *после мавров* был возведен католический храм.

Король Карл V, осмотрев его в 1526 году, сказал досадливо: «Что ж, раньше у меня было, чего не было ни у кого, зато теперь есть то, что есть у всех» ...

Памятник Сервантесу – погрудный: верно, для того, чтобы не изображать его одноруким. Чем не соцреализм!..

Они жили не очень долго и умерли в один день — двадцать третьего апреля 1616 года.

Сервантес и Шекспир.

Гениальные биографы двух рыцарей печального образа — южной Европы и северной.

История культуры подчас рифмуется и таким вот образом.

... Две тысячи восьмой. Четыреста пятьдесят лет Баварской государственной библиотеке. Выставка — «Культурный космос Ренессанса».

Перевод Евангелия на арабский (XIV-XV вв.); первый перевод Корана на немецкий (примерно тогда же); Четвероевангелие на армянском; гигантский, в четверть зала глобус — еще без Америки etc.

У меня это аукнулось с поездкой по Испании.

... Изгнание — разрушение великой арабской культуры, благодаря которой, в частности, сохранилось изрядное количество античных текстов. Разрушение уже непоправимое, корыстно отшвырнувшее на тысячелетие вспять один из самых культурных народов той поры ...

На излете Ренессанса, когда Баварской библиотеке было около ста лет, в России — «просвещённая монархия» Ивана IV, страна открыта послам Возрождения, по Европе бродят фантастические слухи о библиотеке русского царя; потом — болезнь, опричнина, исчезновение библиотеки, превращение Ивана IV в Грозного.

Мрак ...

Шанс упущен.

... Ну, а русское средневековье, оно для всех было и есть *сложное*. Внятнее всего о нем – не мудрствуя: восьмой и девятый тома Карамзина.

Шервинский говорил о страшной судьбе Ивана: болезнь психическая всё прежнее перечеркнула, библиотеку его даже и не искали поэтому толком...

Наровчатов – предсмертно – пытался написать повесть о Самозванце. Главную «идею» повторял и повторял (мне – в том числе), видимо, чувствовал, что написать не успеет: всякая власть – самозванна. Вдуматься – явление Самозванца именно после Ивана («через» Бориса) вовсе не случайно ...

Бабочка раскрыла витражи крыльев ...

... отыскивать неспешно бабачек в цветах-натюрмортах Яна Брейгеля Бархатного ...

Ученые, наконец, уразумели давно известное писателям. Старость усугубляется, густеет, замыкаясь в кругу устроявшихся привычек. Прогулки по неизменному маршруту, кафе, где всё и все давно знакомы, можно легко и недлинно продолжить описание этого как бы *помеченного* консерватизмом пространства, которое постепенно обезволивает мозг, приучает его ко всё меньшей подвижности, *своего* пространства, которое человек начинает всё тщательней оборонять от любых перемен, но оборона — статична ...

Кто перестает двигаться — падает.

Подмятая Петром Первым церковь «освободила место», которое, как сказано давным-давно, пусто не бывает. *Духовная власть*, побыв полтора века без хозяина и без *определённых занятий*, в итоге перешла к литературе, которая заняла уникальное положение в обществе, *сакральное*. Лет на полтараста. Однако *власть* — любая — коварная штука, соблазн её силён, и надобны чувство юмора и самоирония, чтобы, например, прочертить границу между «Поэтом» и «Пророком» ...

Соблазн стать *больше*, чем художником/писателем, овладевает и Гоголем, и Толстым, и Солженицыным, и ... Евтушенко etc ...

То же происходит с группами/направлениями. В первое десятилетие своё большевикам было не до искусства, и русский авангард, помогавший им избавляться от старой культуры, получил их поддержку и волю вольную. И почувствовал себя чем-то бóльшим, нежели искусство. И это означало претензию на власть в культуре — над нею.

Но большевики нисколько не намеревались делиться захваченной властью — ни с кем! Им требовался *абсолют*. И потому на исходе двадцатых годов авангард был обречён ...

Чем предаваться страсти к власти, не лучше ль быть во власти страсти?

Лет двадцать тому назад на Ваганьковском кладбище — наискосок от церкви — исчезла стрелка-указатель: «К могиле матроса Железняка».

Тотчас — ассоциация: примерно тогда же возникло независимое государство Украина, а стрелка указывала направление в неё. Потому как со школьных лет — из песни — было известно, что

В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном — курган.
Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном
Матрос Железняк, партизан.

Тот самый, который в январе восемнадцатого на рассвете вместе со вверенным его командованию сильно уставшим от бессонной ночи караулом разогнал Учредительное собрание. Чем и прославился.

Далее следует поэтическое описание геройской гибели Железняка.

Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону —
В засаду попался отряд.
Налево — застава,
Махновцы — направо,
И десять осталось гранат ...

Ну, и так далее.

Один из самых совершенных мифов *художественной* пропаганды — всепобеждающего большевизма. Песня-миф. Где то, что матрос, ведя свой отряд «на Одессу», промахнулся километров на двести — едва ли не самое невинное отклонение от реальных событий и лишь вызывает сочувствие к «матросу», воюющему на суше. Прочее — поинтересней.

Недлинная биография Железняка — Александра Железнякова, прожившего всего двадцать четыре года, — прослежена историками подробно и давно, ещё до тридцать шестого года, когда Михаил Голодный и Матвей Блантер сочинили песню. Пересказывать не стану — желающие могут без труда ублажить свое любопытство самостоятельно, думаю, не

пожалуют. Упомяну лишь о немногом, что *преломилось* в чечевице-линзе текста.

«На Одессу» Железняк «ходил», но раньше и не без успехов — был там в подполье при «белых», вместе с Котовским брал-громил банки.

«Партизаном» никогда не был, а воевал сперва под началом Кикнадзе (рядом с которым и похоронен), а после — Подвойского.

«К Херсону» не «выходил», а кабы вышел и попал в нарисованную поэтом засаду, то мало чем рисковал — запросто мог повернуть «направо» — к Махно, потому как был он анархистом, и не рядовым — из оголтелых, а Нестор Иванович тогда ещё не поссорился с большевиками, воевал с ними заодно — против «беляков».

В последние месяцы Железняк командовал бронепоездом и был смертельно ранен шальной пулей неподалеку от Елисаветграда.

Понятно, что всё это было, так сказать, предъявлено автору песни вскоре после её появления. И ... ничуть не смутило его. Михаил Голодный отвечивал, что ни о каком *реальном* Железняке никогда не слышивал, а попросту *вымыслил* этого героического персонажа, не имеющего ни малейшего отношения к какому бы то ни было «прототипу».

Правды в его словах было не больше, чем в песне. Потому что юность поэта прошла в ... Елисаветграде. Потому что он был одним их первых елисаветградских комсомольцев-бунтарей — и выделялся даже среди них своей революционностью. Потому что, если даже он и не стоял у вокзала в толпе, провожавшей останки героя в Москву, не знать о том событии никак не мог ...

Однако в песне он не лгал. Он просто следовал сложившейся к середине тридцатых годов технологии советского мифа, в котором мифологичным, то бишь мифически-логичным, должно быть — *всё* ...

Увлечённый напряженным движением/действием фильма обыкновенно не тормозишь внимания на несущественных, вроде бы, «деталях». Они проступают позже — при втором, а то и третьем просмотре.

В начале «Сладкой жизни» при разговоре героев о трагической противоречивости бытия человеческого присутствует висящая на стене картина Моранди, в квартире, где совсем недавно разыгралась трагедия. Натюрморт. Фильм снят ещё при жизни художника, уже ставшего к тому времени «классиком простых форм». Контрапункт ...

От Римини Феллини до Болоньи Моранди — полтора часа пути.

Упоминаемые во второй части «Того самого Мюнхгаузена» даты — всего две — едва ли задевают зрителя, не посвящённого в подробности жизни «исторического» барона. Для посвящённого, либо просто любознательного — иначе. Так, «смерть героя» — с глаз долой у нервных моралистов-современников! — означена 1783 годом. Годом появления второй — и

последней — публикации его *историй* в журнале «Путеводитель для весёлых людей», с подписью «М-Н-S-N», которую принято считать *авторской*. «Воскресает» он три года спустя. В год выхода первого немецкого издания его «Приключений», изложенных Г. А. Бюргером. А три года «небытия» прошли вдали от его замка, в «туманном Альбионе», где несколько английских изданий книги первого «биографа» баронского Э. Распэ снискали шумный успех ...

Горин бывал в Боденвердере, дружил с тогдашней директриссой музея и, разумеется, обо всём об этом знал. Как знал и о том, что мифу нет дела до подобной *документальности*, он драпирует её в иные одежды ...

... искусство медленного чтения искусства.

Большие города европейские, по крайней мере, те, какие довелось мне видеть, неторопливо разглядывать, — Париж, Вена, Барселона, Питер, Мюнхен, да и другие, поменьше, — и уникальны, и *цитатны*. В каждом есть фрагменты, словно бы взятые у других, и — непременно — нечто *своё*, ни на чьё не похожее.

Объяснение на поверхности — архитекторы-строители, учившиеся на одних и тех же образцах, в едином пространстве-времени творившие, но и разные — дарованьем, характером, вкусом.

По-моему, всё — и глубже, и проще. Ибо не в исполнителях дело — в заказчиках.

Ребёнок хочет, чтобы у него была такая же игрушка/игра, как виденная у другого. Но и что-то, чего нет больше ни у кого. *Единство противоположностей* такое для него естественно.

Позже — в мальчиках — оно заглушается воспитанием из них *мужчин*, чьи жизненные цели/задачи будто бы заранее ведомы воспитателям.

В девочках — уцелевает. Потому процветают издавна ювелиры, модельеры и прочие утолители женских пристрастий.

У мужчины те *образы детства* всплывают из бессознательного, пожалуй, лишь тогда, когда случается придти к власти или разбогатеть, чтобы — никто не указ, и можно снова отдаться *игре*. И — хочу *такое же* (как в Риме, Париже, Флоренции, Амстердаме) — и хочу такое, чего нет ни у кого, что само — со временем — может стать у кого-то *цитатой*...

И тут, может быть, интереснее всех городов Петербург, где — после Петра — на престоле посидело примерно поровну «девочек» и «мальчиков»...

... комплекс неполноценности других ...

... «Благовещение» Фра Филиппо Липпи: крылья ангела из ... павлиньих перьев хвостовых.

Ночной ливень начисто смыл зиму. Вóроны бродят по матово-влажной земле. Чёрное на чёрном, оттенки китайской туши ...

Во дворе — на деревьях — старые гнезда, и в безлистье отчетливо видны вплетённые между прутьев пластиковые лоскуты, оторванные «строителями» от валявшихся где-то пакетов ...

«И ветер, жалуясь и плача»...

Деревья раскачиваются широким махом, занавеска моя, сквозняком выхваченная, дает понять, что я сдаюсь.

Дня три назад поутру двор был декорирован оторванными ветками, а вдоль изгороди, которую вот-вот снимут, закончив разбивать парк над автомобильным тоннелем, разбросаны были велосипеды — в позах, наводящих на мысль о ночном выяснении отношений.

Четырехлетняя Анна, оглядев это всё: «Грустно как»...

Вечер. Совсем тоненький — не серп даже, я бы сказал, полубод луны, вертикально, и прямо над ним, над верхним острием, — одна — крупная немигающая звезда. Поди изобрази...

Нарисовать — получится нечто вроде заставки к мультфильму.

И подумалось: художники/писатели делятся надвое. Одни скромно говорят, что ничего не могут *выдумать*, только *описывают*, пишут «с натуры»; другие создают «вторую реальность», нечто вроде «экспериментального реализма»: либо сюр, абстракции, фантазмы etc.

Традиционно принято думать, что первые — *скромные* (как «секретарь эпохи» Бальзак), а вторые — более или менее *заносчивые* «творцы небывалого».

На самом деле — чуть ли не наоборот. Потому как те, кто пишут исключительно «с натуры», конкурируют тем самым... с Создателем, ибо стремятся — всего лишь! — *точно* передать своим зрителям/читателям гармонию его Творения, пусть даже «от противного» — какая-нибудь «свалка» Оскара Рабина, но — гармония формы-цвета-света. Тот же, кто творит собственный мир, состязается лишь с собственным воображением. Так что ещё неизвестно — в ком больше гордыни?

Творческий союз — клумба нарциссов.

... отчаянные попытки быта прикинуться бытием, тень тени, воинственно воображающая себя анти-тенью ...

... до чего ж бывает нелегко устоять перед Вдовой Клико ...

До сих пор жалею, что так и не собрался когда-то, лет тридцать тому, посмотреть поставленного в Театре теней «Гамлета». А ведь как, помнится, хотелось увидеть тень «тени отца» Принца Датског ...

Что там башмаки! Ноги и те снашиваются ...

Был у меня тут, в Мюнхене, давний знакомец-немец, ветеринар Кристоф. Когда впервые встретились, он лет пять-шесть как университет закончил. Рассказывали, что Кристоф — из даровитых: еще второкурсником профессор взял его к себе в ассистенты. Особо знаменит стал средь коллег *птичьим чутьем* — лечил пернатых замечательно, говорили о нем, что знает птичий язык, да что там язык, по взгляду птицы, по движениям определяет — в чём нелад.

Ежегодно по весне в Берлине устраивается что-то вроде «орнитологического фестиваля», где собираются многие и многие птицелюбы — орнитологи, ветеринары, любители с питомцами своими. И конечно, птиц там несметно — от колибри до орла.

Павильон, где всё это происходит, пространен и высок. Большинство птиц — в клетках или забранных сетками вольерах. Есть и свободные, *ручные*, попугаи, например, с удовольствием *экспонирующие* себя, сидя на палках, а то и на головах своих владельцев.

Однако особенный — и неизменный — успех у публики имеют действия, разыгрываемые опытными тренерами — под скрытые от зрителей команды — с хорошо обученными хищниками — орлами, ястребами и проч. Их стремительные взлёты под стеклянный купол-потолок, затейливые кривые, прочерченные, так сказать, фигурами высшего пилотажа, чёткое следование замыслу *режиссера* с кожаной рукавицей на руке. Я однажды наблюдал такое в Мюнхенском Зоопарке и могу себе представить, сколь эффектно подобное выглядит в павильоне — при большом стечении *понимающей* публики, на фоне густого птичьего многоголосья...

Лет десять назад в апреле Кристоф уехал туда — дня на три. И исчез. Вернулся-объявился чуть не месяц спустя. Как выяснилось — «героем берлинских газет».

В разгар одного из таких представлений взмывшая под купол птица внезапно резко спикировала, перешла на бреющий полёт и врезалась Кристофу точно «под вздох», в солнечное сплетение. Он рухнул без сознания. Примчавшиеся несколько минут спустя врачи тщетно пытались привести его в чувство. В госпитале, куда доставила «скорая», его немедленно подключили к аппаратуре, поддерживающей все жизненно важные органы. Несколько часов спустя там появился вызванный из другого города отец Кристофа, известный врач.

Две недели Кристоф пролежал в коме. И врачи пребывали в растерянности, не обнаруживая в его состоянии никакой *динамики* — ни позитивной, ни пугающей. О чём регулярно оповещали газеты.

Словом, никто ничего не понимал — и потому не знал, что делать.

На пятнадцатый день, — опять-таки, вдруг! — аппаратура показала, что быстро восстанавливается нормальное, естественное дыхание, затем «включилось» всё остальное, а через день Кристоф ушёл из клиники,

вроде как ни в чем не бывало, только немного ослабевшим да похудевшим.

О происшедшем узнал из врачебных рассказов да собранных для него газет.

Сам не помнил ничего.

Такого *выхода из комы* врачи, по их признаниям, отродясь не видывали.

Равно как орнитологи даже не слыхивали о сколь-нибудь подобной истории...

Я не заметил, когда Кристоф перестал появляться в доме живущего поблизости ветеринара, где мы обыкновенно виделись. Вероятно, через полгода или немного позже.

А не так давно узнал, что примерно тогда же он занялся изучением *традиционных* способов *целительства* зверей и птиц, искони применяемых в разных странах, что открыл собственный кабинет-практику, где использует эти методы в сочетании с самой современной ветеринарией, а ещё — много ездит-выступает с лекциями и беседами о поведении зверей и птиц, об их взаимоотношениях с людьми...

Уходящая натура.

В воскресенье, в последний день октября девяносто третьего умер Феллини. Через несколько часов после этой вести французское телевидение, отменив вечерние программы, показывало «Амаркорд». Вместо некролога. А в следующую субботу в Париже стеклянные стенки газетных киосков были сплошь забраны обложками одного из журналов — с фотографией уходящего по осенней аллее Федерико ...

Поди слови дымление ассоциаций.

Вместе с Феллини ушло множество замыслов-сюжетов, по собственной его оценке, чуть ли не две трети, на осуществление коих так и не нашлось продюсеров, то бишь денег.

Андрею Тарковскому тоже удалось создать-отснять далеко не всё задуманное. Хотя продюсером советского кино было государство. Так что о нехватке денег речи не было. Только вот предназначались и нескучно тратились они на иное ...

Эпистолярный жанр — среди горьковских пристрастий — успешно соперничал с любым другим. «Великий пролетарский писатель» был общителен с корреспондентами-адресатами, отзывчив и неутомим. Потому в Европе — особенно за десяток эмигрантских лет — скопилось призрадное количество его писем.

Знакомый коллекционер-француз рассказывал мне, что однажды купил на аукционе несколько горьковских посланий, адресатами коих были его, собирателя, так сказать, «архивные подопечные». Мог бы сгрести и пачками, недорого, да ни к чему.

В начале восьмидесятых стало известно, газеты радостно сообщили, что на одном из европейских аукционов удалось приобрести богатое собрание писем Горького и вернуть их на родину писателя. Вскоре после этого заглянувший в редакцию «Литературной учебы», где я тогда работал, литературовед дополнил свое известие подробностями: приобретено и доставлено «домой» эпистолярное наследие «доверенным лицом», командированным с этой целью из питерского «Пушкинского Дома» — Института русской литературы, где оно «доверенное лицо» имеет честь служить. И приобретение — не просто богатое, но, можно сказать, вдвойне, ибо сравнимо со стоимостью писем кого-нибудь из европейских классиков, ну, там, Бальзака или Диккенса.

Несколько месяцев спустя довелось мне побеседовать с тем «доверенным лицом» — *горьковедом* из «Пушкинского дома»: послали меня в Питер — заказать ему статью для журнала. И я спросил его об этой занимавшей меня *странности* — цене горьковских писем, упомянув о давнем своём разговоре с коллекционером. Он глянул внимательно, впрямь не понимаю или прикалываюсь, — и, уверившись в простодушии собеседника, ответил, что ездил туда не один, а с «помощниками», и «не макулатуру покупать». Без подробностей. Да и к чему они, и без них легко представить себе, как они, — из разных концов зала — между собой торгуясь, подняли-взбили цену — до «классической».

Для престижа ...

Дети Лебеда и Леды — внебрачные для обоих (выбледки?)...

Самое пышное цветение, как известно, — цветение распада. Интернет стал апофеозом «самиздата» — и его упадком. Дом, построенный без понятия о сопротивлении материалов. Когда всё можно — ничего по-настоящему не хочется... Впрочем, за всё приходится платить — и сейчас ещё не вполне ясно: чем заплатим?..

Стенограмма сессии ВАСХНИЛ, состоявшейся в начале августа сорок восьмого, по-моему, — *литературный памятник* советской эпохи. Эпический. Водружённый на поле, где была наголову разгромлена отечественная генетика.

Полсотни авторов, собранных «от Москвы до самых до окраин».

Том в полтыщи с лишним страниц подписан в печать через две недели (!) по завершении действия. Тираж — двести тысяч.

Я подарил когда-то эту книжку Аркадию Штейнбергу, заполнил «пробел» в его разнообразно-богатой библиотеке — в год издания он пребывал в лагере близ Ухты, куда лишь газетное эхо донеслось. Мы провели длинный вечер, листая книжку, читая друг другу вслух зацепившие взгляд фрагменты, разговаривая о происшедшем. Разговор запомнился.

Генетика была выбрана мишенью, вероятно, потому что осведомлённость «читающей публики» в любой из намеченных к искоренению наук исчезающе мала и лишь генетика давала повод говорить про то, что *касается всех*. Про то, что, вернее — кто, мешает «накормить страну». Народу сообщили — кто виноват в том, что вместо «кушать подано» — кушать нечего. И Лысенко пообещал *накормить*, если, конечно, ему помогут справиться с «врагами».

Ну, и «борьбе с космополитами» сессия в рифму пришлось — филиппиками своими в адрес «менделизма-морганизма-вейсманизма»... Прочие науки, вроде кибернетики или графологии, подобного *содержимого* лишены были. Потому расправлялись с ними без лишнего шума. Вина их только в том и заключалась, что понять их вождь никак не мог, ему, корифею *всех* наук довелел «принцип некомпетентности». По закону Паркинсона.

Правда, погромы эти были — отчасти — спровоцированы и наукой. Во-первых, любая наука, способная дать государству «прагматический» результат, в какой-то момент становится *чересчур* независимой. И претендует на равное партнерство, *незаменимость* — вместо смиренного *обслуживания*. Даже о деньгах на свои труды говорит как бы с позиции силы: дескать, не дашь — не получишь, чего ждёшь от меня для своих дурацких нужд, нового оружия, например, которое для меня, науки, — продукт побочный, вполне могу обойтись и без...

А во-вторых, так *расхвасталась* наука ещё в начале прошлого века невероятными возможностями своими, что, право, было бы странно, кабы государство тоталитарное, возглавляемое, как водится, в лучшем случае, *троечниками*, не попыталось прибрать её к рукам, попутно *зачищая* от непокорных ...

...после разгрома деревни, приговора генетике, торжества Лысенко *продовольственную проблему* в стране можно было решить, только узаконив каннибализм...

«Давай, как сказал Мичурину фрукт, уродуй...» (*Бродский*).

При разговоре с «воспоинателем» или чтении мемуаров, сравнивая услышанное/прочитанное с имеющимися в твоём распоряжении документами и другими свидетельствами, пожалуй, интересней анализировать *забытое*, нежели сохранённое памятью.

«Вместо мудрости — опытность» ...

С возрастом граница как будто стирается. И хочется поделиться.

Но ни мудрость, ни опыт делением не размножаются.

...зубы злобы дня легко ломаются и быстро выпадают ...

Под голубыми небесами — великолепные мы сами...

В центре Мюнхена — ресторан «Prinz Myschkin». Разумеется, вегетарианский, ибо хозяину совершенно ясно, что герой романа Достоевского *никого не ест*, вегетарианец, не иначе.

Забавное примирение гениев-современников, никогда друг с другом не встечавшихся. Из них двоих вегетарианцем, как известно, был граф Толстой.

Новелла-притча «Третья рыба».

О рыбе, которая тоже хотела участвовать в кормлении алчущих. Но ей объяснили, что *для чуда хватит и двух*.

Что заграбастал, за гроб не возьмешь.

Обратная перспектива в живописи описана Флоренским в «Иконостасе». *Обратная перспектива* в поэзии обнаруживается у Чуковского в «Тараканище» («Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далёких из полей прилетает воробей».).

В восьмидесятом году Юнна Мориц съездила в Нью-Йорк. Дружески опекал её там Сергей Довлатов. Естественно, перезнакомил с людьми, так сказать, *своего круга*. Среди них — с бывшим москвичом Григорием Поляком, издававшим всякие замечательные книжки и журнал «Часть речи», один из номеров которого история литературы, думаю мне, запомнит — он целиком посвящён сорокалетию Бродского, без семи лет Нобелевскому лауреату.

Осенью девяностого Поляк прилетел в Москву. Позвонил мне — сказал, что телефон продиктовала Юнна и что хорошо бы встретиться. Договорились, как водится, на Пушкинской, у памятника. И только приближаясь к месту встречи, сообразил я, что не условились мы — как узнаем друг друга. Несколько минут спустя ко мне подошел невысокий коренастый брюнет: «Вы — Вадим?» — «Да». — «А я — Гриша. Я вас знаю». — «Откуда?» — «Вы в сто двадцать четвёртой школе учились, а я в сто двадцать пятой. Ваша баскетбольная сборная приходила с нашей играть, а я был болельщиком». Смутно помню, как ходили время от времени на игры первенства среди районных школ от себя, с Большой Бронной на Малую, пять минут пути, и только.

Было мне тогда лет шестнадцать ...

Двенадцать лет спустя забрел я на выставку в тогдашней галерее «Новый Эрмитаж», под которую был отведен этаж в доме «Лукойла», что в самом начале Спиридоновки, по соседству с гениальным домом Шехтеля. Галереей той ведало московское общество коллекционеров, а выставки там — одна другой лучше! — устраивала моя добрая знакомая Софья

Афроимовна Черняк. Уходя, подарил ей книжку свою. Вечером — звонок телефонный. И Софья Афроимовна спрашивает — не собираюсь ли на днях заглянуть в галерею — председатель общества, он же — шеф галереи, Валерий Дудаков увидал у неё книжку, раскрыл, на фотографии взгляд задержал и сказал, что, вроде бы, знает меня, хорошо бы проверить — увидеться. На следующий день отправился я туда. Застал «хозяйку экспозиции» в зале, поздоровались, и скрылась она в «служебных кулисах». Пару минут спустя появляется оттуда на пороге человек, с виду лет на пять меня помладше, медленно глядит сквозь очки, наконец интересуется: «Вы бывали в пионерлагере минфина?» — «Конечно, у меня мама в министерстве служила». — «Я вас помню — вы в футбол и в шахматы играли, а мы, младшие, болели за вас».

В тот лагерь ездил я лет до четырнадцати, баталии те спортивные были страстными. Я, правда, в их героях не числился, зато хорошо помню по именам-фамилиям наших лидеров — что на поле, что за доской ...

Еще четыре года спустя, итого — шестнадцать. Звонит мне из Бремена филолог и знаменитый в прошлом правозащитник Гарик Суперфин, вернулся, говорит, недавно из США, спрашивает — можно ли дать мой адрес или телефон Наталье Камышниковой, она — профессор одного из тамошних университетов, хочет со мною пообщаться. «А зачем?» — «Она вас помнит — вы с ней ходили в одну частную группу» ...

Были такие группы для дошколят в послевоенные годы. Детских садов не хватало отчаянно. Вот некоторые пожилые женщины интеллигентные — «из бывших» — и набирали детей из окрестных домов, пять-семь, больше у себя в комнате не разместить, и занимались с ними, пока родители на службе. Нашу наставницу звали Евгения Герасимовна, нам она, конечно, казалась очень старой, хотя было ей под шестьдесят, не больше. Жила она рядом с незакрытым еще Еврейским театром, напротив сто двадцать пятой школы, на которую выходили два окна, мы усаживались рядком напротив, на диване, застеленном потёртым красно-желтым узорчатым пледом. Еще запомнилось, как ходила она по коридору, по сторонам которого было ещё комнаты четыре, в кухню и обратно, верней сказать, расхаживала — без обычной для многочисленных тогдашних коммуналок, как бы поточней, пожалуй, *осмотрительности*, по-хозяйски. Позже сообразил, что, скорей всего, она и была когда-то хозяйкой этой квартиры.

Водили меня к с ней год — перед тем, как в школу отдать. Лет через двенадцать случайно встретились на Тверском бульваре — мигом друг друга узнали ...

Обратная перспектива памяти?

Алексей Михайлович Ремизов был изрядно близорук.

Книгу воспоминаний своих замечательно озаглавил — «Подстриженными глазами».

Написал её во Франции, куда эмигрировал в начале двадцатых. Издал в пятьдесят первом.

По-французски «близорукий» — *a la vue courte* — «укороченное зрение». Подстриженное.

Предпоследний год второго тысячелетия мюнхенский Музей игрушки объявил Годом сорокалетия Барби. Тот долгий праздник получился весёлым вдвойне — как бы с двойной музейной экспозицией — статичной и подвижной: глядя на посетительниц, забавно было представлять себе, какими были они, впервые с Барби повстречавшись ...

... с тех пор музей тот о юбилеях не забывает, отмечал и столетие медвежонка Тедди (2002), и восьмидесятилетие Микки Мауса — шесть лет спустя... Была и вторая выставка, в том же году, той же дате «мышьиной» посвящённая. В залах Kunsthalle, пять минут ходьбы от музея, превращённых в подобие Дисней-королевства — контурами замков по стенам, увешанным небольшими экранами с кружением кадров знаменитых диснеевских лент, эскизами-фантазиями к тем фильмам, холстами живописцев — от шестнадцатого века до двадцатого, от Дюрера до Матисса.

«Волшебный мир Диснея и его корни в европейской культуре».

И Микки Маус — мышонок этого замечательного амбара ...

И гномы словно бы живут в доме не только своём, но и напротив, в пейзаже кого-то из «малых голландцев».

И первые кадры «Пиноккио» явственно перекликаются с видом ночного Регенсбурга одного из немецких романтиков.

И графика Дюрера, приходящая в призрачное движение на соседствующем экране.

И прерафаэлиты, проступающие в персонажах «Спящей красавицы».

И в маленьком тёмном зале — «Destino», эти «Метаморфозы» Дали, задуманные режиссёром и художником ещё в середине сороковых и преображённые в шестиминутное видение шесть десятков лет спустя, когда обоих уже не было в живых...

И становится понятно — как в середине тридцатых, когда эмигрантской волной занесло из Европы в Америку немало художников, начала прорастать в анимации Диснея эта культурная прививка. И всемирный триумф «Белоснежки» — в тридцать седьмом.

И видится живопись, переведённая ... на язык, какой знаком и внятен любому, потому что «все мы родом из детства» (Януш Корчак). Хоть и не всякий помнит — как был ребёнком ...

«Искусство – место встречи. Автора с предметом любви, духа с материей, правды с фантазией, линии карандаша с контуром тела, одного слова с другим и т.д. Встречи редки, неожиданны. От радости и удивления: «"ты?" – "ты?"» – обе стороны приходят в неистовство и всплескивают руками. Эти всплескивания мы принимаем как проявления художественности» (Абрам Терц).

... И одновременно с Диснеевской — по всему городу прямоугольники афиш, на которых крупно, в три строки : «KAN-DIN-SKY», – тоже юбилейная выставка, к столетию со дня создания художником «Нового мюнхенского художественного объединения». Первого из тех, какие войдут в историю искусства с его именем.

Случайное, понятно, совпадение, случайно и то, что расположены галереи близ двух концов одной улицы, как бы связующей их четвертью часа ходьбы.

Выставки большие, каждую за полтора-два часа толком не разглядеть, а на большее взгляд и мысль откликаться перестают.

Длились они, как водится здесь, месяца три-четыре. Зрителей не убавлялось. На обеих.

Вот и бывал я – поочередно – на той и другой по несколько раз.

И проступать стало нечто вроде переключки между ними, какую чувствуешь, не сразу понимая, однако хочется понять.

... И повод поразмыслить над тем, что формотворческий *взрыв* в искусстве начала прошлого века длится – отголосками *взрывной волны* – по сию пору, и уже несколько поколений художников продолжают прислушиваться к тем отголоскам – *в себе*.

При входе на выставку – большая анфас-фотография Кандинского. Никогда прежде не обращал внимания на его глаза, да и не видать их столь отчетливо на многочисленных других снимках, но здесь... Глаза – сквозь пенснэ – не увеличены вовсе, но *выражены*: льдисто-прозрачная, с едва заметной серой дымкой радужка – и прицельно-чёткое чёрное дуло зрачка. И вся его графика-живопись словно бы увидена через этот прицел. В Мюнхене. В первые годы столетия.

Думаю, что этот *взгляд* и привёл его в искусство.

Он, конечно, как многие одесские мальчики *из хороших семей*, окончил художественную школу да и музыке поучился в охотку. Однако после был юрфак университета – и замечательно сложившаяся карьера: к тридцати годам его ждала кафедра в знаменитом Тартусском (тогда еще – Юрьевском) университете. Вероятно, так бы и случилось, когда бы ... не Моне с его «Стогами», увиденными на первой в России выставке импрессионистов. И поразившими Кандинского эффектом *двойного*

зрения. Тем свойством глазного хрусталика – видеть вблизи и вдали и естественно изменять это видение в зависимости от расстояния, тем свойством, открытым художниками много раньше, нежели офтальмологами, которые вот уже десятки лет тщетно пытаются воспроизвести его в хрусталиках искусственных, заменяя повреждённые катарактой на одно из двух: либо «в даль», либо «в близь». ..

Тридцатилетний правовед Кандинский уехал в Мюнхен – в знаменитую школу словенца Антона Ашбе, а после перешел в студию символиста Франца фон Штука. То были разные классы, но одной школы. Основательной немецкой школы, которая давала технику, технологияю умение, мастерство, – и знание всего накопленного и систематизированного столетиями. И она же, эта школа, убеждала учеников-художников, по меньшей мере, наиболее одарённых, в исчерпанности всех традиций, какие сложились, состоялись к концу девятнадцатого века. Способность научить делать так, как делал кто бы то ни было до тебя, лучше всяких слов убеждала в том, что такого делать уже не стоит, что надобно искать своё, новое. И давала свободу выбора.

А выбирать было из чего. Из охватившего Европу разнообразия интересов к тому, что прежде пребывало вдали от христианской культуры, – к искусству Ближнего, Среднего, Дальнего Востока, к орнаменту, к примитиву, пограничному с детским рисунком, словом, ко всему до- и внеконфессиональному, к эзотерике и метафизике ...

На выставке отчётливо виделось, сколь многое – и как умело – он перепробовал в поисках своего.

О «Новом объединении художников» он сказал просто и понятно: «Каждый из участников не только знает, как сказать, но знает и что сказать». Каждый – своё.

Художники, разумеется, объединялись и прежде. Но такое было внове.

В университете он не только изучал право, но и посещал биофак, слушал лекции, часами просиживал за микроскопом. Позже увлекся авиацией – и подружился с земляком-одесситом Сергеем Уточкиным.

И очень похоже на то, что его абстракции – место встречи ближнего и дальнего зрения: внутреннего броунова движения живой материи – и взгляда «с птичьего полёта» на общий вид, на ту геометрию, в которую это движение преобразуется. На геометрию жизни.

«Если художник использует абстрактные средства выражения, это еще не означает, что он абстрактный художник. Это даже не означает, что он художник. Существует не меньше мёртвых треугольников (будь они белыми или зелеными), чем мёртвых куриц, мёртвых лошадей и мёртвых гитар. Стать "реалистическим академиком" можно так же легко, как

"абстрактным академиком". Форма без содержания не рука, но пустая перчатка, заполненная воздухом» (Василий Кандинский).

В конце девятьсот десятого в Одессе, в Салоне живописца и скульптора Владимира Издебского, с которым прежде несколько лет делил мюнхенскую мастерскую, Кандинский впервые выставил свои *абстракции* – шесть десятков работ. Издебский потом всю жизнь, а прожил долго, до середины шестидесятых, гордился, что первым представил публике *истинного Кандинского*.

Он писал о *романтике* абстрактного искусства. О том, что «она – кусок льда, в котором пылает огонь». И о том, что, «если люди чувствуют только холод и не чувствуют огня – тем хуже для них».

Одесская публика, возможно, и не *поняла* его картин, однако ей было *интересно* – и *огонь* почувствовала. Он это *увидел*.

Воротившись в Мюнхен, Кандинский встретился в кафе с Францем Марком. И возник «Синий всадник» – великолепное *несходство* художников, объединённых общим *движением* ...

Примерно так и перекликнулись – в итоге – для меня – выставки двух участников со-творения искусства двадцатого века.

Эсперанто культуры ...

... А в Мюнхене – всё спокойно. И – сквозь волнистые туманы пробирается луна. Эта диковинная, светящаяся рябь наводит на резкость память о романтиках, которые, чтобы выразить *впечатления* свои, писали, рисовали, музицировали, пока, наконец, не сообразили, что подражать жизни – пустое, но сама она хочет/пытается подражать искусству. Тогда они и стали давать ей *образцы для подражания* ...

«Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг» (*Абрам Терц*).

Мюнхен. Парикмахерский салон «Scalp».

Питер. Магазин навигационных приборов «Сусанин».

Москва. Магазин женской моды «Тантал».

Американизация европейской классики.

Верный первой любви граф Монте-Кристо получает в финале (бедная Гайде!) свою Мерседес (хорошо еще, что не *свой*).

Дон Кихот видит свою Дульсинею в... официантке заведения вроде салуна Дикого Запада (разумеется, Софи Лорен).

... Фламенко ведь – не совсем «танец». Я несколько раз видел – и понял, что испанцы имеют в виду, говоря, что фламенко или *происходит*, или нет. Вот – танец, танец, танец, а потом, как щелчок неслышимый, – и там *живут*. Не только танцоры, но и публика. И это настолько ясно, что объяснять неинтересно ...

В позапрошлом веке фламенко впитало некоторые черты андалусийского фанданго. Так возникло *фанданго в стиле фламенко*. Похоже на то, что Грин видел этот танец — и при нём *произошло*. Потому что в его «Фанданго» именно такое — непонятно как — *происходит*.

... Разглядывать в Старой Пинакотеке несуществующих зверей на четырёх картинах фламандца *золотого* для Нидерландов семнадцатого века Яна ван Кесселя, изобразившего четыре стороны света — Азию-Африку-Америку-Европу, — начитавшись путешественников, наслушавшись живописных рассказов земляков-мореходов, добравшихся чуть не до краёв далеко не полно *открытого* мира.

В центре каждой из картин-квадратов — представление художника о *столичных чертогах* сей части света, с вольной этнографической пышностью, с обитателями, обряженными, словно бы для торжественного случая — позирования живописцу, и хоть один из них — непременно *характерен*. В Азии — перс в шелках тюбана и халата, в Африке — полуголый чёрный, в Америке, — понятно, индеец с перьями в волосах etc. Вокруг — подобно клеймам иконным — по шестнадцать малых квадратов: виды городов-строений-сооружений рукотворных — дальним планом, безлюдным за дальностью, наброском-намёком, и подпись, конечно, — который из городов в виду имеется. А вблизи — отчетливо-подвижно выписанная небесная, земная да морская фауна, в тех местах, по мнению художника, водящаяся.

И вот, видишь в Азии осла-единорога, выброшенного на берег кита, рыбью дуэль на мечях — меч-рыбы, надо полагать, жирафа с козлиными рожками. И среди городов — Ангола, и пирамиды египетские на картинке.

В Америке, — опять же, осёл, только теперь — осёл-носорог, зебры и слоны, «изысканный бродит жираф», впрочем, напоминающий ламу, битва бегемота с крокодилом, громадные нетопыри, подобные музейным птеродактелям ...

В Африке жирафа-то и нету, зато есть носорог, поддевающий на рог слона, и неведомо откуда приплывший, на берег вылезший морж ...

В Европе изображение художника, естественно, оказывается востребованным не так остро.

Птицы Вены.

Рыбы Венеции.

Лошади и бойцовые петухи Лондона.

Ну, разве что волк и ягнёнок — почему-то — у Константинополя.

Да на дальнем фоне экзотической для тогдашнего европейца Москвы — с туманным подобьем Кремля — среди нескольких небольших птиц — сияющий полураспущенным хвостом павлин, а на ближнем плане — два ... дикобраза, явно позирующие живописцу ...

Впрочем, фантазии на тему млекопитающей живности явно не хватило — и чуть не половина городов на всех четырех картинах представлены, ежели вблизи моря выстроены, преимущественно рыбацким уловом, а сушей окружённые — птицами, большинство из коих не только публике-зеваче, но и дотошным орнитологам неведомы. Ну, тут автор не сильно рисковал. Во-первых, потому что птиц умел изобразить искусно и убедительно. А во-вторых, потому что публика эта самая из всей фауны как раз в птичьей, пожалуй, наименее сведуша, птицы, они и есть — птицы, летают себе так, что едва уследишь, не разглядишь по отдельности, только ежели на ветку невысокую опустится или на траву, и чаще всего недосуг — разглядывать ...

... на газоне около Пинатотеки бродила, скучая, однако не желая расстаться, пара воронов — чернь в синеву и фиолет ...

... густая трава под солнцем тревожит глаз тонкими просверками синевы, которые мнутся зыбкими отражениями безмятежного неба, пока не приглядишься, наклонившись пониже: внутри, вблизи земли — мелкие синие цветы, травой от солнца заслоняющиеся, чтобы не выцвести до срока.

В живописи, по существу, два *собственно живописных* жанра, ну, два с половиной: портрет и натюрморт. Всё прочее — иллюстрации к Писанию, мифам, биографиям, истории, этнографии, бытописательству — либо церковный — или дворцово-замковый — *дизайн* и *бытовые* картинки — *на стенку*.

Портрет и натюрморт — на полюсах. *Живая* вода — и *мёртвая*. Между ними — переклички.

Портрет — остановленное мгновение, попытка увековечить оное; натюрморт — мгновение — жизни — завершившееся: срезанные цветы, сорванные плоды, битая дичь и проч.; инструмент без руки умельца/мастера, книга без читателя, утварь в пустой кухне etc.

Пейзаж — между ними, тяготея к тому или другому: либо *портрет* — местности, города, — либо *натюрморт*. В этом смысле «пейзаж с фигурой» — не что иное, как живая птичка или мышка, или бабочка в натюрморте. И если надо сделать ударение на *mort*, тогда птичка/мышка/бабочка будет дохлая. Или можно, допустим, череп рядом положить. *Memento mori* ...

Ну, а батальное полотно норовит обернуться верещагинским «натюрмортом».

Или невероятной красоты «горным пейзажем» Альтдорфера, где *виттьё* схлестнувшихся в непримиримости войск — лишь первые витки спирали, уходящей далее, становящейся горами и — выше, выше! — небом ...

Мюнхен. 2014-2016

Kerstin F. M. BLUM

IRINA GERSCHMANN – EINE REISE ZUR IDENTITÄT

*Eröffnungsrede zur Ausstellung „Wege der jüdischen Geschichte“ mit Werken von
Irina Gerschmannam*

16. März 2017 im Rathaus Erlangen

Aus mir braust finstre Tanzmusik,
Meine Seele kracht in tausend Stücken;
Der Teufel holt sich mein Missgeschick,
Um es ans brandige Herz zu drücken.

Die Rosen fliegen mir aus dem Haar
Und mein Leben saust nach allen Seiten,
So tanz ich schon seit tausend Jahr,
Seit meiner ersten Ewigkeiten.

In ihrem Gedicht „Mein Tanzlied“ beschreibt die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler¹ mit wortgewaltiger Intensität das Spannungsverhältnis zwischen dem weiblichen Individuum und der gesellschaftlichen Ordnung. Wie in der religiösen Ekstase eines Derwisch-Tanzes ist das lyrische Ich der schicksalhaften Kreisbewegung ausgeliefert, das Individuum zersplittert „in tausend Stücken“, wie es schon seit „tausend Jahr, seit meiner ersten Ewigkeiten“ geschieht.

Die Worte der Dichterin lassen Bilder entstehen im Kopf des Zuhörers. Gewaltige Bilder, intensive Bilder, kraftvoll farbige Bilder einer hemmungslos wild tanzenden Frau, einer Frau, die zum Sinnbild einer jahrtausendealten Kultur wird, im Zentrum eines machtvollen Mahlstroms, aus dem sie nicht entkommen kann. Eine Frau mit Rosen im fliegenden Haar. Eine Frau, deren Seele in viele kleine farbige Mosaiksteine zersplittert. Eine Frau, die mitten im Leben steht und vom ewiglichen Schicksal eingehüllt ist. Betrachte ich Irina Gerschmanns Frauengemälde „Auf ihrem Weg“, „Perspicientia“ oder „liberata est“, drängt sich mir unweigerlich der Vergleich mit Else Laske-Schülers Gedicht auf.

Auf der Suche nach ihrer eigenen jüdischen, weiblichen Identität erweitern beide Künstlerinnen ihre Identitätssuche, erforschen Parallelen zum Leben

anderer weiblicher Protagonisten und suchen einen neuen Zugang zu ihren Wurzeln zu eröffnen, der ebenfalls in ihre Reise zu sich selbst einfließt.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte bedeutet für Irina Gerschmann auch die Auseinandersetzung mit ihrem jüdischen Erbe und der Erkenntnis, ein kleiner Mosaikstein im langen Weg der jüdischen Geschichte zu sein. Die großformatige textile Collage „Der Zug der jüdischen Geschichte“ aus dem Jahr 2008, die Sie hier bestaunen können, war zwar bei weitem nicht das erste Werk, in dem sich Irina Gerschmann mit ihrem jüdischen Erbe auseinandergesetzt hat. Es ist aber mit Sicherheit das komplexeste und steht am Anfang einer intensiven Beschäftigung mit einem Themenkomplex, an dem der Künstlerin sehr gelegen ist.

War ihr Fokus in früheren Jahren mehr nach außen gerichtet, wendet sich der Blick der Künstlerin jetzt vermehrt nach innen. Sie nimmt Rollen ein, indem sie sich mit Archetypen und Stereotypen auseinandersetzt. Sie setzt sich selbst in neue Kontexte, indem sie ihre historischen und künstlerischen Alter Egos in neue Umfelder verpflanzt. Sie geht auf Distanz zu sich selbst, indem sie das Maß des bildenden Künstlers ansetzt. Sie sucht den Überblick, indem sie sich haarklein mit den Daten und Fakten ihrer geerbten Kultur auseinandersetzt. Sie studiert ihre Vorbilder in Kunst, Kultur und Geschichte und kombiniert sie mühelos zu neuen persönlichen Bildgeschichten. Wenn Sie glauben, in einem Bild eine Hommage an El Greco oder an Botticelli zu entdecken, sehen Sie richtig. Als akademisch ausgebildete Künstlerin bedient sich Gerschmann bei Ihren Vorbildern. Sie spielt so mit der Mischung aus Vertrautem und Neuem und fordert den Betrachter heraus, die Geschichten hinter den Bildern zu entschlüsseln. Dabei fließen sowohl der ursprüngliche Kontext der Leihgaben, als auch der identitätsforschende persönliche Kontext der modernen Künstlerin ein und lassen eine neue Bildsprache entstehen.

Irina Gerschmanns beide Welten, die Mode und die bildende Kunst, verbinden sich in ihren Arbeiten zu einer neuen Kunstform, in der sich Portraits, Stillleben, Akte und Landschaften zu abstraktornamentalen Kompositionen verwandeln. Betrachte ich das Oeuvre von Irina Gerschmann, sehe ich eine Vielfalt unterschiedlicher Werke, die auf den ersten Blick wenig miteinander gemein zu haben scheinen. Ich sehe Werke, die in sich Strömungen verschiedener Kulturen, Gattungen, Stoff- und Motivkreise vereinen. Irina Gerschmann selbst sagt dazu: „Wenn ich eine Weile in Textil gearbeitet habe, sehne ich mich nach Leinwand und Farbe, wenn ich mit Farbe gearbeitet habe, gelüstet es mich danach, zu zeichnen.“ Aus diesem Zitat spricht die Leidenschaft der vielseitigen Künstlerin, sich in den Materialien und Techniken ihres Metiers auszudrücken. Sei es die schlichte Unmittelbarkeit der Zeichnung, der Farbsturm ihrer leuchtenden Gemälde oder die gewebte Komplexität ihrer textilen Collagen.

Das Monumentalwerk „Der Zug der jüdischen Geschichte“ von 2008 orientiert sich in seiner Kombination aus eng beschriebenem Text und bildlichen Szenen aus der Geschichte des jüdischen Volkes stark am detailreichen Gedanken der Wissensvermittlung der Tradition der „biblia pauperum“, die im christlichen Mittelalter Menschen, die des Lesens nicht kundig waren die biblischen Geschichten nahebringen sollte. Und tatsächlich lassen sich die detailgetreuen Abbildungen wie Bildgeschichten lesen, die mehrere tausend Jahre der Geschichte des jüdischen Volkes in einzelnen Episoden zusammenfassen. In dicht aufeinander folgenden szenischen Darstellungen erzählt Irina Gerschmann von bedeutenden Stationen der jüdischen Geschichte, von den Ursprüngen bis heute, von der Zerstreuung in die Diaspora bis ins 21. Jahrhundert. Kaleidoskopartig werden Schlüsselszenen aus historischen Ereignissen, von Riten und Bräuchen zitiert und künstlerisch im Stil der einzelnen Epochen interpretiert. Namen und Portraits bedeutender Persönlichkeiten der Weltkultur aus Kunst, Musik, Literatur, Philosophie und Religion, Wirtschaft und Technik verschmelzen zu großflächigen Bildeinheiten, die vom Betrachter als abstraktes Formenspiel erlebt – oder aber als informativer Bild-Textfluss entschlüsselt werden können.

Auch die zurückgenommene Farbigkeit und die sparsam eingesetzten, symbolisch stark aufgeladenen Farbakzente vermitteln einen Eindruck von Alter und historischem Gewicht. Durch die geradezu überwältigende großformatige Gestaltung und den organischen Fluss der bildlichen Narration bietet sich auch der Vergleich mit frühen Freskendarstellungen des Jüngsten Gerichts an, wie beispielsweise Nardo di Ciones Fresken in der Cappella Strozzi in Florenz.

Blickt man noch weiter zurück, stößt man auf die erstaunlichen jüdischen Fresken der Synagoge von Dura-Europos, einer antiken Stadt im heutigen Syrien, die im 3. Jahrhundert nach Christus zum Römischen Reich gehörte. Dura-Europos ist deshalb von besonderer Bedeutung, da sie die einzige erhaltene antike Synagoge ist, die mit figürlicher Wandmalerei ausgemalt war. Die Fresken sind heute im Nationalmuseum Damaskus zu sehen und es ist zu hoffen, dass sie auch diese schweren Zeiten überleben werden. Die Wandmalereien in der Synagoge erregte gewaltiges Aufsehen, denn es handelt sich dabei um den größten antiken Gemäldezyklus, der erhalten ist. Auch religionsgeschichtlich sind diese Fresken von Bedeutung, da die dortigen jüdischen Gemeinden zunächst als bilderfeindlich eingeschätzt worden waren. Im Jerusalemer Talmud² wird jedoch berichtet, dass man zu dieser Zeit begann, die Wände von Synagogen zu bemalen. Spätestens hier wurde klar, dass das im jüdischen Schrifttum ausgesprochene Bilderverbot³ im spätantiken Judentum nicht als absolut verstanden wurde. Der Impuls zur Darstellung ging vermutlich vom Volk aus, welches das Bilderverbot weniger strikt verstand und nur Kultbilder ablehnte. Die Malereien wurden von den Rabbinen geduldet. Wir können lange

spekulieren, welche ältere Tradition hinter diesen Bilderzyklen steht, ob es dafür andere, nicht erhaltene Vorbilder gab oder ob es sich um einzelne Phänomene handelt.

Möglicherweise wurden sie geboren aus dem Bedürfnis der – von einer heidnischen Bilderwelt geprägten – Gläubigen, die Schriften unabhängig vom geschriebenen Text anschaulich zu machen. Ein Gedanke, der gerade in der Diaspora naheliegen mag. In diesem Fall würde es sich bei den Bibelzyklen in Dura-Europos ebenfalls um eine Art „biblia pauperum“ handeln.

Man kann also sagen, dass Irina Gerschmanns „Wege zur jüdischen Geschichte“ ein konkretes historisches Vorbild in den jüdischen Bibelzyklen von Dura-Europos haben. Ganz im Stile alter Fresken kann sich der Betrachter in die bildnerisch dichte künstlerische Schilderung vertiefen und in den präzisen Bildmontagen verlieren. Die Technik der Materialcollage, mit ihrem Spiel von groben und feinen, harmonischen und zerstörten Strukturen, betont die Materialität und damit den Wirklichkeitsbezug der Werke anschaulich und führt sowohl das kollektive Schicksal des jüdischen Volkes innerhalb des großen Weltgeschehens eindrucklich vor Augen, als auch den Stellenwert und die Bedeutung der einzelnen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft.

Irina Gerschmanns bemalten Textilcollagen stellen eine überzeugende Kombination aus ungegenständlich-expressiv geschnittenen Stoff- und Materialteilen und aus realistisch bis abstrahierend gemalten eigenständigen Bildelementen und Bildzitaten dar. Sie bieten dem Betrachter das Erlebnis, sich zwischen mehreren Bildebenen und vielschichtig angelegten Bildräumen frei zu bewegen und so eine Vielzahl eigener Eindrücke und persönlicher Bilder zu ersehen, um sich dann ganz auf die Wirkung und die Aussage der Gesamtkompositionen einzulassen. Die Werke oszillieren zwischen linear aufgebauten Tableaus, die in ihrer gedeckten Farbigkeit und organischen Struktur an Höhlenbildnisse erinnern, ausdrucksstarken monochromen Zeichnungen sowie expressiven malerischen Farbexplosionen, die mit der Konstruktion und Auflösung von Mustern und Strukturen spielen. Der textilgestalterische Hintergrund, die Vertrautheit mit Materialität und Sprache des Stoffes, befähigen Irina Gerschmann dazu ihren eigenen Beitrag in das Gewebe der Geschichte einzuflechten.

² Mischnatraktat Avoda sara [Götzendienst] III 3/42a

³ Exodus 20,4f und Dtn 5,8f

Die jüngeren, kleinformatigeren Werke, die Irina Gerschmann nun im Rahmen dieser Ausstellung zeigt, haben im Vergleich eine reduziertere Bildsprache. Die Verwandtschaft zum Vorbild ist jedoch deutlich: Stoffreste sind auf einen Untergrund aus Stoff appliziert, ergänzt von schlichten Zeichnungen. Hinzu

kommen in den neuen Werken kleine Objekte, wie Sicherheitsnadeln, Nähadeln oder kleine Amulette, die Kommentare zur Produktion der Kunstwerke sowie zu einem der historisch akzeptierten Berufe für Menschen jüdischen Glaubens darstellen. Spielten Faden und Schnur bereits in „Der ewige Zug der jüdischen Geschichte“ eine Rolle, so rücken sie nun in den Vordergrund. Möglicherweise inspiriert durch die Geschichte des in Franken geborenen Erfinders der Blue Jeans Levis Strauss, dem die in Mittelfranken wohnhafte Künstlerin ein Werk widmete, verwendet Gerschmann nun auch Jeansstoff. Die dominanten Farben des neuen Zyklus sind damit Blau und Rot – zwei Farben, die bis heute eine große Wichtigkeit im Judentum haben. In der Thora werden die Israeliten dazu aufgefordert, die Fäden ihres Tallit in Erinnerung an Gott im Himmel mit dem aus der Purpurschnecke gewonnenen Indigoblau zu färben. Scharlachrot und Karmin

hingegen symbolisieren das Blut und damit das Leben. Entsprechend ziehen sich rote und blaue Wollfäden durch einige von Gerschmanns kleinen Geschichtsstücken. Die Streifen und Schnüre des Tallit werden in Gerschmanns Bildsprache zu einem grundlegenden Gestaltungselement und zum roten beziehungsweise blauen Faden der Narration. Der Himmel und das Blut des Judentums bestimmen den Zyklus nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell.

Neben den Interpretationen zur abendländischen Geschichten beschäftigt sich Irina Gerschmann in ihren Werken auch mit Themen der Passion, wie Golgatha und dem Judaskuss. Aber auch Szenen des Alltagslebens, das Verhältnis zwischen Mann und Frau sowie ihre Kindheit in Odessa beschäftigen die Künstlerin thematisch und finden Eingang in ihre Werke.

Der Weg der jüdischen Geschichte ist ein Weg der Migration, der Suche nach dem besseren Leben. Aufgrund ihres eigenen Migrationshintergrundes kann Irina Gerschmann diesen Aspekt gut nachvollziehen – das kleine Gefühl der Fremdheit, auch nach all den Jahren, die sich nicht zuletzt durch den charmanten Akzent offenbart. „Wir selbst bezeichnen uns als ‚Neuankömmlinge‘ oder als ‚Einwanderer‘.“ Mit diesen Worten beginnt Hannah Arendt 1943 ihren Essay „Wir Flüchtlinge“. Sie analysiert darin die Stellung von Flüchtlingen, die Situation von Menschen also, deren Leben auf die pure Existenz reduziert ist, die in einer rechtlich grauen Zone existieren und vom Wohlwollen – oder der Willkür – anderer Menschen abhängig sind. Arendt bezieht sich in ihrem Text auf die Juden, die vor

dem Naziregime in die USA geflüchtet waren. Gerade in unserer heutigen Zeit wird deutlich, dass ihre Worte allgemein auf die Situation von Flüchtlingen und vielen Migranten bezogen werden können. Der Flüchtlingsstatus bringt mit sich die Reduktion eines komplexen Lebens mit all seinen Erfahrungen und

Hoffnungen auf den Status des Flüchtlings – inklusive der implizierten sozialen Abwertung. Arendt beschreibt die traumatische Entwertung des bisherigen Lebens in einer Situation, in der man alle Kraft braucht, um sich den Herausforderungen im Exil zustellen, um ein neues Leben aufzubauen, weil man das alte hinter sich lassen musste.

Gesellschaftliche Fragen wie zum Beispiel „Wie wichtig ist mir der Ort, an dem ich lebe?“, „Was ist Heimat?“ oder „Was gibt mir Identität?“ drängen in den Vordergrund. Emotionen wie Angst, Frust und die Notwendigkeit nach Erfolg dämpfen das vor allem für den Künstler lebensnotwendige kreative Feuer ein. Nichts ist wertvoller für einen Menschen mit einer Idee als der geeignete Blick, das wohlwollende Ort, die interessierte Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund sind wir heute hier zusammengekommen – um mit offenen Sinnen die Werke von Irina Gerschmann auf uns wirken zu lassen, uns neuen Gedanken und Themen zu öffnen und darüber in Dialog zu treten. Die Bildsprache, die Ornamentik, die Technik, die Themen. All das sind Aspekte, die die Werke von Irina Gerschmann prägen, ebenso wie sie ihr Leben geprägt haben.

In Deutschland kennen wir – überspitzt gesagt – nur Katholiken und Protestanten, andere Religionsgemeinschaften fallen damit in den Bereich des Unbekannten, ihr religiöses und kulturelles Brauchtum sind fremd. Was fremd ist, wird oft als beunruhigend, ja sogar als beängstigend empfunden. Was fremd ist, wird gerade heute wieder vermehrt abgelehnt und angefeindet. Gerade in Bezug auf die jüdische Kultur und Religion ist dies, insbesondere in Deutschland, ein großes Versäumnis. Ja, wir haben uns mit unserer Geschichte auseinandergesetzt, wir haben Kenntnis der historischen Gegebenheiten. Vorurteile werden aber bekanntlich nicht durch unpersönliche Fakten abgebaut. Nur der persönliche zwischenmenschliche Kontakt vermag Differenzen aus der Welt zu schaffen, Ängste abzubauen und das Fremde vertraut zu machen.

Ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, die Nachfahren vertriebener Juden durch meinen Wohnort Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu führen, durch den Ort, in dem ihre Vorfahren aufgewachsen waren, durch den Ort, der ihre Vorfahren vertrieben hatte. Ich muss gestehen, ich war sehr nervös – was, wenn ich unwissentlich in Fettnäpfchen trete? Was, wenn ich in meiner Unwissenheit ihre jüdische Kultur und Religion brüskieren würde? Meine Sorgen waren unbegründet. Wir sind uns als Menschen begegnet, haben uns offen und auch sehr emotional ausgetauscht und unsere Leben waren danach um eine tiefgreifende Erfahrung reicher.

Das Jahresmotto der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, unter dem auch die Woche der Brüderlichkeit steht, lautet „Nun gehe hin und lerne“. Dazu gehört es auch, dass wir unsere Unsicherheiten, unsere Vorurteile

und unsere Ängste vor dem Fremden überwinden. Die Furcht vor einer fremden Kultur, einer andersartigen Religion, einer jahrtausendealten Geschichte, vor einer unbekannten und komplexen Kunst.

Diese Ausstellung bringt die gesamte Spannweite des Schaffens einer extrem vielseitigen Künstlerin zusammen, deren Werke auf den ersten Blick in ihrer Vielfalt und in ihrer detailverliebten Intensität irritieren und überwältigen. Das verbindende künstlerische Element der Werke ist die Liebe der Kunstschaffenden zum künstlerischen Ausdruck in Linie, Form, Farbe und Material, während sie sich inhaltlich ganz der Erforschung des Zwischenmenschlichen im Allgemeinen und vor dem Hintergrund der sich ewig wiederholenden Geschichte der Menschheit und ihrer ganz persönlichen Geschichte verschrieben hat.

„Judesein heißt, sich von der Strömung des uralten jüdischen Flusses, der immer weiterfließt, tragen zu lassen. Die Reise geht weiter“ so der polnisch-US-amerikanische Rabbiner Arthur Hertzberg.

Folgen Sie nun Irina Gerschmann und ihrer Reise auf den Wegen der jüdischen Geschichte.













Семён ГУРАРИЙ**В ПОИСКАХ СЕРЕДИНЫ**

За эфемерным поиском середины и застали меня несколько лет назад почти идентичные звонки из России и из Израиля с просьбой написать что-либо о нашей жизни там ...

Заканчивался фестиваль искусств «Auf der Suche nach der Mitte» (В поисках середины), к которому автор этих сумбурных заметок, как инициатор художественных и не вполне художественных фестивальных сюжетов, имел самое непосредственное отношение. Суматошное это празднество обрушилось на ленивый баварский городок-курорт Тегернзее. Примерно около часа езды на юг от Мюнхена в сторону Австрии. Летний фестиваль, каких много в Европе. Из окон выставочных и концертных залов, где кюнстлеры из разных стран пытались в меру своих талантов приблизиться к разгадке феномена середины, можно было безмятежно любоваться живописным видом озера и альпийских гор вокруг.

Но уже ничто не могло меня отвлечь от неожиданной просьбы (словно бы опровергавшей правомерность фестивального девиза) – написать что-то о жизни там, то есть – здесь. Поиски эфемерной середины? Здесь или – там. Легко сказать ...

Мешала профессия музыканта. Страсть организовывать звуковое пространство не позволяла мне довериться хаосу возникших мыслей. Вроде бы спасительно замаячила идея обратиться к упорядоченному языку алфавита, но ... незаметно пробежало почти два года. А может и больше. И вот абсурдная тема возникла неожиданно вновь.

Между тем разве испарившийся мифический Советский Союз не блаженная середина в моей жизни? Мифический Союз мифических городов.

Расскажите о вашей жизни в Кацан! Это Казахстан? Сибирь? Можно легко представить, сколько раз приходилось отвечать за эти годы на подобные вопросы. Или, вернее, вежливо уворачиваться от ответов. Одна знакомая юная сибирячка отсекала праздное любопытство европейцев (Ах, из Сибири?!) с раздраженным максимализмом: «Да, там очень, очень холодно».

Это к вопросу о житейских историях. И снова столько усилий и отступлений, чтобы подобраться к теме.

Что-то о нашей жизни? Обратимся всё же к внешне упорядоченному языку алфавитного справочника.

АБСУРД окружает нас повсюду. Стремление к истине абсурдно само по себе. Абсурдна ли жизнь русских или евреев в Германии? Настолько же, насколько и прежняя в Советском Союзе. И мои теперешние попытки найти в размышлениях доверительные интонации абсурдны, ведь по сути я не знаю, что интересует моих воображаемых читателей.

АЛЬТЕРНАТИВА, разумеется, была: Израиль или Америка. В советском вакууме Германия и Мюнхен звучали для нас враждебно. Здесь с «пивного путча» начинал Гитлер. На нём висело и пресловутое клеймо продажного Мюнхенского соглашения, поделившего Европу. В журнале «Крокодил» танцевали карикатуры уродливого толстяка, баварского премьера, которого именовали не иначе, как «жирная собака Штраус» ...

Однако, с юности звучала в моём сознании и другая Германия: Дюрер, Кранах, Босх, братья Гримм, Гёте, Рильке, Ремарк, Томас Манн, Бёлль ... Более того, музыкально я родом из Менуэтов Баха, сонатин Бетховена, Музыкальных моментов Шуберта, пьес Шумана ... Так уж получилось, что русская музыка пришла несколько позже.

БИОГРАФИИ наши с Людмилой Диденко-Гурарий, моей женой, в чём-то похожи и никак не располагали к «немецкому варианту». Наши отцы были коммунистами, орденосносцами, так называемыми красными директорами.

Иван Матвеевич Диденко, участник революции и Гражданской войны, во время Отечественной руководил одним из химических заводов в Ленинграде. В конце войны прибыл по заданию партии в Казань, где возглавлял более двадцати лет завод РТИ. Его жена, Вера Фёдоровна, агроном по профессии, вместе с полугодовалой старшей дочерью была на последней стадии дистрофии вывезена из осажденного города по Ладожской «дороге жизни». Вследствие приобретенного в блокадном Ленинграде ревматизма и порока сердца, она стала инвалидом и ушла из жизни в сравнительно молодом возрасте. Дядя моей жены погиб на фронте в первые дни Великой Отечественной.

«Немецкий след» в моей родне по материнской линии ещё более зловещий. Моя бабушка Ципе и двенадцать ближайших родственников погибли в фашистском гетто под Минском. Оставшиеся в живых не нашли в себе силы вернуться на пепелища Белоруссии и Украины и разъехались по всему Союзу. Моих родителей, фронтовиков-офицеров, судьба, опять же по партийной путёвке, занесла сначала в Латвию (где я и появился на свет), затем в Москву, Тамбов и, наконец, в Татарию, где мой отец, Иосиф Самойлович Гурарий, был одним из руководителей деревообрабатывающей промышленности в Совнархозе, а в последние годы своей жизни работал генеральным директором республиканского производственного объединения «Татмебель». Мать, Мария Рубиновна, медсестра

по профессии, выйдя на пенсию, начала с энтузиазмом писать воспоминания и рассказы, стала печататься и выпустила две книги.

Интересно, что наши музыкальные судьбы были как бы предопределены: словно сговорившись, первое что приобрели после войны те и другие родители, были ... рояли. Благо и стоило им это тогда – мешок картошки. Покупка в наши дни не для бедных.

БЕДНОСТЬ всегда и везде – понятие относительное. Всё зависит от жизненных приоритетов. В современной Германии средний класс составляет больше половины населения. Хотя «средние» немцы часто и жалуются на отсутствие средств. Если некий господин купил виллу, естественно, у него нет свободных денег. Гости из России часто возмущаются, что в магазинах теперь у них есть почти *всё*, а купить нельзя. Немцы же посещают магазины «*по карману*» довольно безропотно. В Германии есть, правда, слегка презируемая категория людей "шики-мики". Они ездят на сильно подержанных, но престижных автомашинах, посещают самые дорогие рестораны, где могут позволить себе лишь чашечку капучино или кружку пива. Тем не менее, восседая в удобном кресле в единственном модном костюме, они изображают из себя победителей жизни. Почти что «совковая» ментальность.

Жизнь насильно приучает к равнодушию. Мир равнодушен к тебе. Ты, к счастью, равнодушен к богатству. Да и что такое это пресловутое богатство, если блаженная жизнь, как говорили древние, не что иное, как безопасность и постоянное спокойствие.

Впрочем, к настоящей бедности равнодушным быть нельзя. Отправляя гуманитарные посылки на Украину и в Россию, невольно вспоминаешь свой первый год в Германии. Мы не голодали, но на жизнь, мягко говоря, не хватало. Подрабатывали, чем попало, не гнушались и самой чёрной работы. Помню, с каким счастьем принёс в наше временное жилище в Дом беженцев подобранный на перекрёстке ящичек с помидорами, выпавший из проезжавшего на скорости грузовика. Немного воображения – и вот вам картинка «тамошней» жизни.

Ходили пешком, транспорт дорогой. Занимались по очереди (жена и дочь тоже пианистки) на шуммклавише, на немой складывающейся клавиатуре (ещё одна картинка). Кстати, бесполезная вещь – воспитывает внутренний слух. Хотя, музыкант без инструмента – это всё равно, что бездомный.

БЕЗДОМНЫЕ в Мюнхене кучкуются в основном под мостами, в парках, или около старинных фонтанов. Обустраиваются кроватями, кипятильниками, тёплыми одеялами. Мимо ходят сытые горожане с детьми. Бездомные держатся стороной, прохожих не задируют. Если на просьбы о милостыне получают отказ, то вежливо извиняются за беспокойство, благодарят и

желают хорошего дня. Как ни странно, большинство бездомных – немцы. Лично я ни одного иностранца среди них не встречал. В принципе, бездомные получают социальную помощь и могли бы проживать в соответствующих общежитиях. Естественно, что они имеют и карманные деньги, на которые они покупают флакончики со спиртным, или как их здесь называют, «бомбы». Приняв эту «взрывную смесь», они охотно философствуют на темы социальной справедливости. Своеобразный род «тихого» протеста, хроническая болезнь общества «изобилия»?

В этом смысле мы не были бездомными. Мы имели крышу над головой, восьмиметровый апартамент на троих, однако, ощущение бездомности долго не покидало нас. Нарушились связи с привычным для нас миром. Мы зависли в безвоздушном пространстве без языка, постоянного жилья, места работы и круга близких людей. Единственное наше достояние соответствовало русской пословице: «Добрый словом и бездомный богат». Слова поддержки и советы совершенно незнакомых немцев во многом определили наши первые робкие шаги в чужом государстве. В так называемом открытом демократическом обществе с сильными бюрократическими традициями.

БЮРОКРАТИЯ в Германии охотно поддерживается населением. Более того, она в крови, кажется, даже у детей. Люди с рождения привыкают ориентироваться в строгой сетке инструкций и предрасположений. Чётко «расписаны» даже обыкновенные устные приветствия, не говоря уже о поздравлениях, соболезнованиях ... В любом книжном магазине продаются книги с образцами писем, речей на все случаи жизни. Шкафы простых граждан забиты папками документов, счетами, копиями переписки с государственными, страховыми, налоговыми, банковскими и прочими организациями и лицами. Практически каждый с каждым, вплоть до ближайших родственников, находится в эпистолярных отношениях. Если ты был в гостях, считается вежливым на следующий день поблагодарить хозяев письменно. Возникшие недоразумения и обиды выясняются тоже чаще всего на бумаге. Предписания обязывают, регулируют отношения иногда до тошноты. Наше советское «без бумажки – ты какашка» с наибольшей полнотой мы ощутили именно в Германии, шаг за шагом учась ориентироваться в бюрократическом лабиринте.

ВЫБОР, тем не менее, был сделан нами добровольно. Собственно, мы приобрели то, о чём мечтали – право на выбор. Из этого добра и состоит теперь вся наша жизнь. Да, мы не вписывались в советскую систему (а кто вписывался?), но выросли в неё. Осознанно или нет, это другое дело. Привыкли, «обустроились». Знали, что *система* должна ломать, подозревать (*разве можно забыть слёзы одной из моих бывших студенток, признавшей мне в неожиданном порыве откровенности, что долгие годы*

она сообщала в соответствующие «органы» о содержании моих «речей» в классе специального фортепиано Казанской консерватории), пускать-не-пускать, выкручивать руки, бить по физиономии, а мы – уворачиваться и при этом стараться не терять достоинства и порядочности. Иллюзия, что это удаётся, поддерживала нас долгие годы.

Но когда система начала обтачивать свои гнилые зубы на нашей дочери-подростке, мы от безысходного отчаяния и протеста готовы были на самые решительные шаги. Победа её на Международном фортепианном конкурсе лишь подтолкнула сделать этот нелёгкий для нас выбор – не возвращаться. Вероятно, внутренне созрели.

Трудно ли было поначалу самим принимать конкретные решения «за рубежом»? Как ни странно, не очень. Вероятно, от незнания имевшихся возможностей. Мы с женой трезво оценивали наши шансы в Германии. Они были минимальные в силу возраста, отсутствия языка, и, как казалось, необходимого времени на адаптацию. Словом, мы были готовы оказаться в самом низу общественного и материального положения. Впрочем, это обыкновенная история беженцев. О всяких душеспасительных фактах нет желания рассказывать. Моя цель не выдавливать слёзы сочувствия. Да, было тяжело. Но есть, к сожалению, судьбы куда более трагичные. Ведь мы-то выжили. Иногда мне кажется, что мир состоит из сплошных беженцев. Расспросите ваших родственников, знакомых: кто-то, когда-то, в каком-то поколении непременно спасался бегством. От суммы, так сказать, да от тюрьмы ...

ГОСУДАРСТВО, как институция, может потому ещё и существует, чтобы в какой-то степени упорядочивать это непрекращающееся «броуновско» движение беженцев. А зачастую и целых народов. Словом, немецкое государство приняло нашу семью. Без восторженных объятий, деловито, буднично. Ещё существовал Советский Союз и Берлинская стена. По сравнению с СССР (в России я с тех пор не был), да и с другими странами, в Германии всё функционирует слаженнее. Каждый знает, какой у него гражданский статус. Чёткая регламентация, учёт и взаимные обязательства сторон. Без всяких исключений – положено, не положено. Однако, подобная взаимозависимость не соответствовала нашим представлениям о желанной свободе, и поэтому мы постарались как можно скорее от социальной помощи государства избавиться. И перейти на скудные, но собственные «хлеба». К слову сказать, мы знаем немало наших бывших соотечественников, с удовольствием пользующихся десятилетиями социальными «дарами» Германии, и при этом ... занимающихся нелегальным бизнесом. Вольному воля, как говорится, где бы человек ни жил. Однако, инертная позиция ожидания милостыни от государства ли, от сильных ли мира сего, без малейшей попытки проявить собственную инициативу даже в изучении языка, не кажется им

унизительной. Откуда это иждивенчество? Наследство Совдепии? От воспитания?

ГОРОД Мюнхен многие часто ругают, но все хотят в нём жить. Он и в самом деле предрасположен для житья. Уютный, срединный. Колыбель музыкальных прозрений Орlando ди Лассо, моцартовских клавирных сонат и опер, город пивных фестивалей, нескольких революций, французомании, вагнеризма, фашизма ...

Русский Мюнхен связан с именами поэта Тютчева и художников Леонида Пастернака, Василия Кандинского, Владимира Явленского, Марианны Веревкиной, Валентины Ходасевич, композитора Глазунова и революционера Ленина ... Да и в последние годы в нём обитает и обитало немало именитых россиян: балерина Майя Плисецкая, композитор Родион Щедрин, дирижёры Марис Янсонс и Кирил Петренко, пианистка Элисо Вирсаладзе, виолончелистка Наталия Гутман, писатели Владимир Войнович, Александр Зиновьев, Борис Рацер, Владимир Кунин, Борис Хазанов, Анри Волохонский, Майя Туровская, Вадим Перельмутер, Сергей Юрьенен, Эйтан Финкельштейн, певец Михаил Александрович, художник Гавриил Гликман, актёры Лев Круглый и Юлиан Панич, эстрадная звездная пара шестидесятых Лариса Мондрус и Эгил Шварц, танцовщица на льду и киноактриса Татьяна Катковская. Ну и, конечно, блистательная плеяда журналистов с Радио «Свобода» и множество более молодых кюнстлеров ...

Столица Баварии лежит в окружении добрых четырёх десятков живописных озёр и упирается своими предместьями в Альпы. Европейский перекрёсток скоростных автобанов в Австрию, Италию, Швейцарию, Францию, Чехию, Словению ... Основанный почти девять веков назад монахами (Münch в переводе – монах), город ещё сохраняет таинственную вкрадчивость своего первоначального предназначения – приобщая просвещать. Или попросту – обольщать. Лукавая мягкость его манер органично сочетается с отвращением к будням. Мюнхен всегда, до глубокой ночи в праздничном настроении, полон туристов, зевак, уличных фокусников, музыкантов, авантюристов ... Устойчивое впечатление, что никто не работает, и время своё проводят в бесчисленных ресторанчиках и кафе, гуляют, развлекаются. Или что-то безостановочно покупают, закупают, прицениваются ...

Красавец Мюнхен по статистике один из самых дорогих городов. Средняя зарплата среднего горожанина зачастую соответствует месячной квартирной плате. Горожане любят повторять: «В Мюнхене работают, чтобы отдыхать, а в остальной Германии отдыхают, чтобы набраться сил для работы». На самом деле основная масса мюнхенчан трудиться умеет. Благо и есть где – в городе промышленных гигантов (Сименс, BMW, Бош и др.) безработица, опять же по статистике, ниже.

В своё время «собака Штраус» отстоял Баварию от химического производства. Соответственно и воздух теперь экологически чистый. Не встречал более зелёного города. Только один Английский парк тянется на протяжении 20 километров. Одно из чудес города – река Изар. Или её «укрощение». Когда-то спускающаяся с Альп речушка могла в один день затопить полгорода. Теперь же, «разбитая на рукава», закованная каменными дамбами, шлюзами, она умудряется весной иногда вздыбиться на два три метра вверх, но не приносит особой тревоги горожанам.

Мы живём в старом центре около реки, окружённой лугами и парками. Пляжно «раздетая» публика соседствует в нашем районе с респектабельными посетителями театров и классических концертов и диковинными представителями артистической богемы. Невысокая этажность в центре составляет предмет гордости коренных горожан: за исключением нескольких сверхмодерных архитектурных комплексов, в Мюнхене почти нет высотных зданий (выше 120 метров) и прочих атрибутов мегаполиса. Может быть поэтому юное поколение часто в сердцах называет почти двухмиллионный Мюнхен «деревней». Между тем это молодёжный город. В одном только университете более семидесяти тысяч студентов. В городской архитектуре плавно смешались все эпохи и стили. Центр Мюнхена окружён средневековыми воротами. Дворцы баварских королей, сановитые всадники на площадях, скульптурные ансамбли фонтанов и мостов, триумфальные и прочие старинные арки соседствуют с модерными обелисками жертвам последних войн и фашистского террора, со стеклянными торговыми пассажами. На каждом углу католического Мюнхена кирхи. Самая древняя 13 века. Однако, верующие легко найдут в городе религиозные храмы любой другой конфессии. Из православных церквей, насколько мне известно, есть несколько греческих, две русские, украинская. Функционируют в Мюнхене и довольно много мечетей.

Мюнхен – город книжных магазинов-гигантов и невероятного (по впечатлению приехавшего книгочеха из «самой читающей» страны мира) количества небольших специализированных магазинчиков. А ещё город музеев (47), театров (57), сотни галерей. Галереи – это нечто особенное. Мир, где коммерция должна присутствовать незаметно. Галереи живописи, скульптуры располагаются довольно скученно в определённых районах. Почти всегда в одной из галерей города можно найти работы художников из России и других постсоветских государств. По четвергам в галереях вернисажи с шампанским и музыкальными приветствиями. Вход свободный для всех интересующихся, а также желающих «на шару» подкрепиться, потусоваться. Один наш соотечественник, посетив «сырное парти», не учёл коварства этого продукта, и попал, вследствие его чрезмерного принятия, в неотложку.

Город промышленных месс, книжно-журнальных издательств, антикварных магазинов и аукционов, классических концертных залов, кабаре, джазовых и ночных клубов, гигантских площадок для рок- и поп-музыкантов ... Впрочем, если бы я увлёкся идеей снять документальный фильм о Мюнхене, по аналогии с теми лентами, что снимают западные, да и отечественные авторы о российских городах из цикла «город контрастов», то, естественно, можно было бы найти в элитарной баварской столице картины ужасающей бедности, свалок, бессмысленные, отёкшие лица алкоголиков и наркоманов, трудных подростков, детей ...

ДЕТИ – будущие взрослые. Их мир достоверная модель общества. Начальные уроки о Германии мы получили от своих учеников по фортепиано. Если конспективно: немецкие дети, как и взрослые (даже на похоронах), редко плачут! Их собаки почти не лают и дисциплинированно бегут без ошейников рядом с хозяевами! Дети вежливы и аккуратно одеты! Если на улице вы встретите неряшливого ребёнка, который что-то требует, кланчит, капризничает, то, скорее всего это всё же иностранец.

Далее. Немецкие дети знают свои права! До 2 лет ты – бэби, потом ребёнок, с 12 лет подросток, и так далее. Прежде чем сказать безобидную, и казалось бы, поощрительную фразу "о, ты уже взрослый", надо вначале выяснить точный возраст юного собеседника. Иначе любой ребёнок тебя тут же поправит! Немецкие дети с ранних лет активно путешествуют с родителями по белу свету. Вовсе не сенсация, если полугодовалый ребёнок посетил Таиланд, а пятилетний карапуз летит на три недели в Мексику.

Далее. Школьники за редчайшим исключением опаздывают или пропускают занятия! Даже по болезни! Самый маленький ученик аккуратно отсидживает положенное время урока и если иногда тема разговора случайно выходит за «фортепианные рамки», может укоризненно взглянуть на часы. В случае недобросовестности или лени ребёнка, вовсе не обязательно вызывать к его совест, говорить о долге и разводить прочую "педагогическую лирику". Достаточно просто напомнить о сумме напрасно потраченных родителями денег на его уроки.

Далее. Дети знают цену деньгам непонаслышке. Они получают карманные деньги и самостоятельно приобретают себе «цацки». Кому не хватает, имеет возможность подрабатывать. Частенько первыми «работодателями» становятся собственные родители. Что ещё? Минору дети предпочитают мажор! В особой чести футбол, коллективные походы в бассейн, в кино, за город. С удовольствием выезжают школьники два раза в год в обязательные (особенно зимой – кататься на горных лыжах) спортивные лагеря. Однако, в отличие от российских своих сверстников, немецкие дети не любят сбиваться в кучи. Группы агрессивных подростков на улицах чаще всего разговаривают на турецком, итальянском, сербо-хорватском. В маленьких городках уже появились и

материальные группировки русских немцев. Солидарность и круговая порука в школах также не сильна. Основной движущий критерий учебы – удовольствие. По мнению большинства детей и родителей, в конфликтах и плохой учёбе виноваты, как правило, учителя, не справившиеся с процессом преподавания. А именно: отсутствовал фактор удовольствия.

Далее ... далее время восклицательных знаков кончается. И ты убеждаешься, что на поверку немецкие дети похожи на детей из других стран. Есть воспитанные, нахальные, разговорчивые, молчуны, зубрилы, лентяи, отличники ...

Вот с таких беглых наблюдений и непосредственного общения с детьми, начался желанный наш ежедневный диалог со странной страной Германией, с немцами.

ДИАЛОГ – форма существования. Хотим мы этого или нет. В любые времена и эпохи. Невзирая на жизненные обстоятельства. На *осенённость* той или иной *темой*. Жизненная тема захватывает нас в силу не совсем объяснимых обстоятельств. *Теме* можно и должно сопротивляться, пытаться от неё освободиться, или к ней подстраиваться, ну и так далее, вариантов не счесть. Чаще же всего она незаметно «обрастает одеждами» и присутствует в нашей судьбе до конца. Некая доминанта, определяющая каждодневные наши поступки. Вот что не прекращается никогда – это борьба за доминанту. Вне всякого нашего видимого или слышимого участия. Даже если полностью отступили и зависли в беспомощной пассивности.

Тем столько же, сколько и людей. Разумеется, и автор этих поверхностных выводов, не исключение. В частности, его жизненные и музыкантско-писательские опусы ограничены практически одной и той же темой – преодолению абсурдного замкнутого пространства, когда в муравейных, часто бесплодных, но непрекращающихся усилиях существования человеческое пытается выстраивать хрупкие мостки взаимопонимания. Добавьте его (автора) личное недостаточное умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми и всевозможными общественными институтами, коллективами ... А также замкнутость, чрезмерную ранимость и некую внутреннюю зажатость. Ну, и, наконец, врождённый пессимизм и отсутствие должной веры в потусторонние силы. Впрочем, как вы уже догадались, моя бесхитростная вера – диалог.

Теперь возможно объяснимо, почему ферайн, организованный нами почти сразу же после переселения в Германию, без долгих размышлений был назван: <DIALOG> Neues Münchner Kunstforum e.V. Что это такое – ферайн? Нечто среднее между обществом и фирмой. Довольно распространённая в Германии структура, узаконенная государством и имеющая свой устав, цели и финансовый распорядок. Для нас же это была может быть ещё и единственная реальная возможность творчески себя проявить. Сегодня на

счету Форума более 1000 всевозможных акций: *фестивалей*, концертов, мастер-классов, выставок, конкурсов, спектаклей, экспериментальных проектов.

Почти с самого же начала была организована при ферайне и «Gourari-Klavierschule (Akademie)». Кто у нас учится? Первое время мы брали в школу всех подряд, было не до уровня. Порой впадали в транс, общаясь с «фортепианными калеками». Но давно уже, чтобы попасть в нашу школу, желающие должны выдержать конкурс. Формально результаты школы неплохие: свыше восьми десятков раз наши ученики были удостоены лауреатских званий на различных конкурсах в Германии и других странах.

Чем занимались мы ещё все эти годы? Голос моей жены, Людмилы Диденко несколько лет звучал в передачах радио «Свобода». Вернувшись на «фортепианные круги», она добилась широкого признания как педагог. Сам я выступал с сольными программами, как ансамблист с известным Endres Quartett, с легендарным певцом Михаилом Давидовичем Александровичем, с другими музыкантами. Пришлось мне также участвовать в премьерных исполнениях сочинений немецких, русских, еврейских композиторов, «экспериментальничать» на бумаге и в «диалогических» проектах, связанных с живописью, скульптурой, танцем, театром, видео ...

Кроме того, продолжал заниматься литературной деятельностью, в результате которой мои тексты постепенно собирались в книги, выходившие в свет в разных странах.

Ещё одно важное для нас творческое детище: «Dominante / Доминанта» – так называется литературно-художественный альманах, издаваемый нами с 2006 года в основном двуязычно на русском и немецком (были публикации также на английском, французском, итальянском, иврите).

«Налаженность» нашей жизни, впрочем, иллюзорна. В этом мире нам не остаётся ничего другого, как не останавливаться, чтобы удержаться как можно дольше «на плаву», тем более пенсии мы здесь заработать вряд ли успеем. Словом, материальных выгод практически никаких, кроме права жить в долг.

ДОЛГИ имеют, к счастью, все. Это образ жизни. К этому надо было привыкнуть, переступить некий психологический барьер и поверить, что долговые кредиты могут означать также и финансовую стабильность.

Долги, долги ... Кто кому ещё на этом свете должен? Каждый каждому и никому. А вообще-то, первейший долг человека, как утверждали мудрецы, созерцание величины мира. И нахождения внутренних связей с ним, с его прошлым и будущим.

ДОЧЬ Анна стала музыкантом формально во втором поколении. Разумеется, сколько бы я не дистанцировался, в размышлениях и оценках

своих я останусь прежде всего её отцом и педагогом. Меня, конечно, иногда «распирает». Но не столько от гордости за её победы на международных конкурсах, за её государственные и творческие премии, за то, что ей посвящают свои произведения такие прославленные композиторы как Родион Щедрин и Йорг Видман, за персональные приглашения выступать у Президента или Канцлера Германии, за блистательные отзывы о ней многих выдающихся музыкантов, за её десятки СД ... Пусть меня простят за нескромность, но я уже привык, когда мою дочь в прессе называют «одним из самых больших талантов», «клавирным титаном», «индивидуальностью 21 века», сравнивают с Артуром Рубинштейном, Эмилем Гилельсом, Мартой Аргерих ... Слова, слова. Жизнь в искусстве – это нескончаемый марафон труда и разочарований. Кто знает, ценой каких невероятных усилий и жертв достигаются, так называемые, творческие вершины. Неизмеримо важнее, что когда я слушаю игру своей дочери, меня часто не покидает возможно и ошибочное, но глубокое, стойкое убеждение – вот так должна звучать Музыка.

Думаю, что оставшись в Казани, Анна стала бы другим музыкантом. Ей бы не хватало, как и многим из нас, тогдашним россиянам, европейской культуры. Осознания многомерности мира, богатого вековыми традициями и художественными открытиями.

Конечно, она родом из своей школы для музыкально одарённых (или как тогда шутили - «одурённых») детей, из павлюхинского «группировочного» двора, из Детского театра «Радуга» ... В одной из её живописных картин (рисует Анна с детства, теперь стала иногда и выставляться) она изобразила саму себя, «выкуривающуюся» из печного дыма некоего затерянного в волжском лесу домика. Дым отечества, так сказать, это и её друзья, учителя, композиции Рустема Яхина, Софьи Губайдуллиной, Рафаэля Беялова и, конечно, прежде всего аура русской поэзии, музыки, кино ... Всё то, что стало потом частью её художественного мира.

В 2005 году, один из самых известных музыкальных журналов в Европе «Fono-Forum» поместил большую статью о встрече двух знаменитых женщин из Казани: («Anna Gourari und Sofia Gubaidullina – Zwei Dame aus Kazan» - «Анна Гурарий и София Губайдуллина - две дамы из Казани») где они беседовали друг с другом о музыке, о родном городе ... Было время, когда о Софье Губайдуллиной практически не упоминали в Казани. Теперь наступил, очевидно, черёд не замечать Анну: имя её даже в родной школе, где она училась 10 лет и выиграла, как школьница, два конкурса, не упоминается нигде по прихоти очередного «Калифа на час» уже ... 25 лет. Пагубная эта традиция в бывшей «стране советов» ещё, к сожалению, сохраняется – основываться не на музыкальных фактах, а на конъюнктуре

момента ... Это так, к слову. Скорее всего, когда эта книга дойдёт до читателя, вспомнят об Анне и в её родном городе.

Оказывается, писать о собственной о дочери невероятно трудно. Поэтому ограничусь констатацией, что теперь Анна разговаривает кроме русского ещё на трёх языках, снялась как актриса в заглавной роли в художественном фильме у Вернера Герцога, мировая премьера которого успешно состоялась на Венецианском кинофестивале, и чувствует себя почти везде в Европе, как дома.

ДОМ же в западно-европейском понятии означает прежде всего – кирху или собор, куда ты ходишь молиться. Дом своих, подобных, верных т в о е м у Богу.

ЕВРЕИ с незапамятных времён поняли, что фактически Бог тождественен всей вселенной в целом, что мир и не мог быть создан иным. Посему иррациональное стремление к всеохватности мира, к воссозданию целостности человеческого сообщества с одной стороны и местечковая отгороженность от всех остальных преследует порой каждого из нас. Впрочем, имею ли я право рассуждать о моём еврействе, ведь наверняка религиозные деятели оспорили бы не только моё невежество, но и принадлежность к народу? Для меня быть евреем вовсе не означает исповедовать иудаизм. Хотя я мог бы повторить вслед за Полем Валери: «Что касается веры, я её не ищу, но и не избегаю». Еврейство я ощущаю как некую основу не столько кровного порядка, сколько прежде всего моего сознания. От него не откажешься как от гражданства или религии. Моё еврейство – это некая вневременная сила, обладающая властью надо мной, и освещающая, как мне кажется, мутные потоки моих же заблуждений. Это не мало во времена, когда на подмостках каждодневного хаоса с маниакальным упорством ищут чужих, неверных, регламентируют, выворачивают наизнанку старые шовинистические догмы. Евреи? Такой национальности нет, мягко убеждают тебя в Германии. Есть израильтяне. А ты – латыш, ведь ты родился в Латвии ... Что означает, не хочешь – а будешь! То есть, практически евреям отказывают в праве на еврейство. Единственной национальности среди прочих. Нет национальности, нет и проблемы. Новая изощрённая форма антисемитизма? Или врождённый комплекс окончательного решения еврейской проблемы?

Между тем, евреи часть общечеловеческого пейзажа, часть природы. Осознание еврейства как необходимой части сообщества, делает нас свободными от набивших оскомину вечных вопросов: как жить – вместе со всеми, отдельно, идти особым путём? ...

«Живите в доме, и не рухнет дом», писал Арсений Тарковский. И в самом деле, нет другого пути как жить *внутри* страны, культуры. Тогда германское или российское становится не просто понятным, а в какой-то

степени частью тебя. И ты обретаешь шанс стать частью целого, частью сообщества. Выйдя за рамки самоидентификации, мы (парадокс, но это так) только тогда и ощущаем себя самими собой. Определяя свои границы, мы хоть отчасти приобщаемся к бесконечности и соглашаемся с необходимостью всего сущего.

Срабатывает эффект алфавита: буквы сами по себе ничего не означают. И тем более очерёдность их появления. Смысл возникает в результате словообразований. Природа также не нивелирует кустарник, даже если он обитает в соседстве с могущественным деревом, не лишает цветения, зелени, аромата и причудливости очертаний. Словом, осознание неделимости мира и себя как части этого мира, необходимо для эмигранта и в странах Нового и, тем более, Старого света, в Европе.

ЕВРОПА – вовсе не старушка. А прекрасная, загадочная дама с тысячей облиций. Динамичная, деловая, слегка капризная, элегантная, рафинированная аристократка, простушка ... Выбирайте на вкус. Страны? Города? Где вы любите бывать? Где лучше жить? Какую кухню вы предпочитаете? Ах, еда бывает или вкусной, или невкусной. Как и женщины – женственные или ...

ЖЕНЩИНЫ в западной Европе часто похожи на мужчин. А мужчины на женщин. Особенно в Германии. Увлекательно порой угадывать половую принадлежность движущегося навстречу существа. Соответственно, немецкая женская мода практична и усреднена. Днём спортивно и почти без макияжа и украшений. Цвета неброские, преобладают чёрно-белосерые. Представительницы прекрасного пола эмансипированы не по необходимости, а по убеждению. Выражается это не только в стремлении работать и получать зарплату наравне с мужчинами. Священное и признаваемое всеми завоевание немецких женщин – время для себя. Это означает – занятия музыкой, живописью, спортом, театром, медитациями и т. д. В магазинах женщины не суетливы. Домашними заботами себя обременяют «в охотку», для тяжёлой работы существуют приходящие домработницы (Putzfrau). Немки ярые противницы всего массового, так сказать, американизированного. Доминируют среди них блондинки, натуральные и крашеные. В основном, худые и высокие. Причёски короткие, «под мальчика». Физические свои недостатки не скрывают, а подчёркивают. Жизненный принцип в быту – что естественно, то прилично. В меру религиозны. Много курящих. Ещё больше маниакально *следящих* за своим здоровьем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в Германии вроде бы постоянно совершенствуется. Дорогостоящая аппаратура и прекрасно оборудованные больничные палаты. Высочайший уровень диагностики и хирургии. Впечатление, тем не менее, от здравоохранения в целом удручающее. Медицинская

государственная страховка обязательна. По желанию можешь страховаться и в частном порядке, или в различных комбинациях. Но берегись – всё решают не связи (о, утерянное советское – «по знакомству»!), а деньги! Чтобы получить высокие прибыли, больницы и врачи готовы без надобности держать больных в стационарах, удалить у пациентов все органы и повытаскивать зубы вместе с протезами. Что касается фармацевтической индустрии, в правительствах и парламентах запада они имеют самое мощное лобби. Вот и глотают доверчивые пациенты тонны химии. Альтернативная медицина, впрочем, цветёт не менее бойко. Выбирай на любой вкус. Ситуация же объективная (в сравнении с другими странами, даже с США), несмотря на обличительные статьи в прессе, почти что идиллическая.

ИДИЛЛИЯ преследует вас в мирной Германии. Баварский городок Дахау. С балкона старинного замка открывается на юг идиллическая картина туманного вдаль мирного Мюнхена. С северной стороны мирного замка – бывший фашистский концлагерь. Звучит классическая музыка. Концертный зал мирного замка Дахау переполнен мирными детьми идиллической земли немецкой.

*дитя идиллии –
кладбищенская пряжа,
прими подснежники на завтрак
по недосмотру декабря
и величальным стилем вайнахтским
воспой температуру милой суеты ...*

*дитя идиллии –
каштановый подросток,
прими в подарок изморози страх,
и про себя молитву говоря,
станцуй апрельскую туманную надежду
среди свистков, допросов, темноты ...*

*дитя идиллии –
шестиконечная звезда,
прими побои за избавленье
от чести тошнотворной, фимиам курия,
дыханием своим из газовых печей
рассвету придавать идиллии черты ...*

ИЛЛЮЗИИ, как известно, с удовольствием лопаются. Особенно идиллические. Но не исчезают. Появляются новые. Ты зависишь в их плену. Бредишь в ностальгических снах: ... ах, слово «иностранец» исчезло и больше не звучит оскорблением в великом немецком языке ... Наяву же

рассерженные немцы частенько для усиления добавляют ещё к «выражению» иностранец (Ausländer) один весьма излюбленный эпитет (Scheiße) – привычное сочетание этих двух слов в переводе означает *говняный иностранец*. Как правило, этими «лестными приветствиями» награждаются представители, так называемых, малых народов. Перед «равновеликими» нациями (американцами, англичанами, французами, русскими) срабатывает веками врождённый пиетет. Или воспоминания о поучительных исторических уроках.

ИСТОРИЯ, и её уроки в Германии выставляются напоказ. Своих ошибок официально стыдятся. Извлекают выводы. Скажем, в том же великом немецком языке исчезли из обихода слова *вождь, вождизм*. Никакой идеализации и обожествления лидеров в любом виде деятельности. Элитарность – признак дурного тона. Все должны, как гласит конституция, быть равны в реализации своих возможностей. Между тем, жизнь – это непрекращающейся конкурс.

КОНКУРС, удручающая гонка случайных обстоятельств, успехов, поражений. Мы друг друга всё время расставляем по полочкам. Эдакое азартное казино: тот проиграл, этот выиграл ... Хотя никому не дано отличать «пораженья от победы». Невозможно защититься и от постоянных оценок некоего жюри – людского мнения. И Германия в этом смысле не исключение.

Между тем даже для музыкантов-исполнителей конкурс лишь условный импульс к раскрытию или ... закреплению творческих возможностей. Вряд ли они хоть когда-нибудь способны были по большому счёту решить судьбу.

Конкурсы являются слепком общества. В бывшем Союзе это было нечто противоестественное музыке, просто коррумпированный, мафиозный бизнес. Арена политических, национальных, но прежде всего карьерно-материальных амбиций членов жюри. Бедные участники! Не до вас было, не до музыки ... Невозможно без омерзения вспоминать неповоротливые, поделённые на маленькие группки «представительные» жюри Всероссийских конкурсов исполнителей, члены которых были заняты прежде всего дележом прельстительных призов, сведением личных счётов и обдумыванием выгодной стратегии в получении желанной профессуры или других почётных званий ...

Западные конкурсы в основном отличались от бывших советских. Прежде всего тем, что их было неизмеримое количество, и они никак не были связаны с политикой. Сегодня, впрочем, большинство конкурсов во всём мире приобретают коммерческий характер. Организаторы и члены жюри стараются избавить себя от ответственности за судьбы победителей. Даже крупные конкурсы зачастую не выполняют условий призового вознаграждения. Всё зависит в бумажной волоките. Получив

первый приз на солидном конкурсе и «крупную» сумму, на которую можно в лучшем случае купить лишь средненькое пианино, новоиспечённый лауреат рискует остаться со своими призами в одиночестве, всеми покинутый, без стимула к дальнейшей работе. Между тем, молодой музыкант нуждается прежде всего в заинтересованности со стороны концертных агентур, публики, медиа ...

Наш "Диалог-Форум" выступил инициатором иной формы конкурса. Прежде всего это своеобразный Подиум, место встречи творческих индивидуальностей, играющих концертную программу по собственному выбору. Никаких обязательных «спортивных» рамок. Никаких денежных призов. В качестве наград – концертные выступления. Главный приз – симпатичная скульптура «Мраморная клавиша», так сказать, своеобразный фортепианный «Оскар».

Выступления участников оценивают четыре жюри: профессиональное, медиа-жюри (из представителей прессы, радио, ТВ, концертных агентур и звукозаписывающих фирм), жюри публики и молодёжное жюри (до 25 лет). Естественно, мнения часто не совпадают, отчего возрастает количество отмеченных наградами участников. Конкурсанты в анкетах не указывают имён своих педагогов, учебного заведения, лауреатских званий. Члены жюри (работающие, кстати, бесплатно) и публика не знает кто есть кто в таблице о рангах. Поэтому случается, что дебютант может победить опытных конкурсантов. Словом, наш конкурс пытается открыть индивидуальности, разглядеть за чисто фортепианным умением лицо «необщего выраженья».

Более двадцати лет назад, в Кисловодске, многие могли наблюдать впечатляющую картину: один из участников Всероссийского конкурса, юный талантливый музыкант, не прошедший на второй тур (но сделавший впоследствии за рубежом неплохую карьеру), молча стоял против двери, из которой выходили члены жюри и с укоризной смотрел в глаза респектабельным музыкантам, в надежде увидеть в них чувство стыда. Напрасный труд.

ЛОЖЬ, как гласит народная мудрость, на тараканьих ножках, того гляди подломится. Иногда приходится ждать этого, к сожалению, нескольким обманутым поколениям. Как утверждают почти во всех странах запада, обман государства, хуже любого другого преступления. Не берусь спорить. Могу лишь засвидетельствовать, что хорошо лгать умеют во всех частях света. «Цивилизованный» мир торгует всем и вся. Что остаётся простым гражданам – потихоньку сходить с ума от обилия лжи вокруг или ... ловчить самим. Наши эмигранты, естественно, не отстают от прочих – это уникальный народ сплошных начальников, докторов наук, известных артистов ... Они приехали с благими намерениями, а «заграница» недостаточно подготовилась, вот казус-то!

Как-то читая биографию одного известного фортепианного профессора в Австрии, я обнаружил, что он является победителем мифического Всесоюзного конкурса пианистов в ... Казани. Или просматривая списки педагогов одного музыкального колледжа в Америке, я встретил фамилию довольно средней пианистки из Йошкар-Олы, которая, как явствует из её биографии, оказывается с успехом работала долгие годы в Казанской консерватории (!?), в школе-десятилетке(!?), была лауреатом конкурса (!?) и концертировала, разумеется, по всей стране Советов. Естественно, в её собственном воображении. Ещё один тамошний педагог, «лауреат и бывший ведущий преподаватель КГК», оказался даже моим бывшим учеником. Подумалось, впору просить рекомендации у столь «маститых» музыкантов. Это только пара случаев, связанных с Казанью.

Воистину, правдивые слова некрасивы, красивые слова неправдивы.

МУЗЫКА могла бы спасти от приблизительности, опасной словесной эквилибристики. Открытая точность языка музыки связана, по всей видимости, с текучестью и взаимопроницаемостью, так называемых, составляющих компонентов. Эстетические же границы, если они художественны, всегда преодолимы. Вероятно, из-за постоянной их готовности к метаморфозам.

Российское в музыке лежит *м е ж д у* – как бы открытое всем сторонам, ветрам, течениям, краям-крайностям. Отсюда спонтанная готовность, искренность в желании душевно приобщить собеседника к своим тайнам, а потом в откровении этом взлететь вместе с ним в воображаемую высоту. И затянув, как в воронку, в полётные дебри, задержать, растянуть высший чувственный пик, создать полную иллюзию остановки времени и эмоционального прозрения, завоевания некоей истины, которая по сути окрашена почти всегда в ностальгические тона. Естественно, что открывающаяся истина просто не может быть обыденной, а непременно – лишь вечной. Ну, и как здесь обойтись без преувеличений? Ими устлана вся эта дорога интуитивных, сиюминутных озарений, признаний, мелодической доверительности ...

Запад – отсутствие случайностей, выверенность конструктивных начал и заключений. Интеллектуальное, медитативное постижение феномена соразмерности, гармоничности бытия. Оптимизм существования. Закруглённость, реверансность мышления. Неизбывное, неутолимое возведение здания системного постижения жизни. Любые компоненты, чувства, могут сосуществовать лишь в рамках системного охвата цивилизации, знания, исторических аналогий, культурных пластов. Стремление к внеличной позиции, объективности, дистанцированности. И это при всей страстности высказывания.

НЕМЦЫ, по утверждению Томаса Манна, народ мыслителей и музыкантов. Можно сослаться и на Бальзака: «если немцы и не умеют играть на великих инструментах свободы, зато они от природы умеют играть на всех музыкальных инструментах». И в самом деле, если бы можно было посчитать, сколько приходится классической музыки на душу населения, то Германия, без сомнения, опередила бы все страны.

Можно ли себе представить, что почти все (!) городские немецкие гимназии имеют по симфоническому оркестру, хору, не говоря уже о более мелких коллективах. Минимум раз в году школьники умудряются ставить своими силами или мюзикл, или ... оперу. Не удивительно, что бесчисленные кирхи в состоянии «поднять» Реквием Моцарта или одну из Баховских ораторий.

Нас также не перестаёт поражать, как «съедается» грандиозная ламина классических концертов. Скажем в Мюнхене, городе опять же по населению среднем, два оперных театра, пять больших симфонических оркестров, несколько камерных. А ещё огромное количество гастрольных коллективов со всего мира. Конечно, Мюнхен одна из музыкальных столиц, но и в маленьких немецких городках музыкальная жизнь необычайно интенсивна. И тем не менее, изобилие всевозможных фестивалей, концертов, спектаклей, словно бы не удовлетворяют немцев. Они по традиции организуют ещё домашние концерты. Редко какой семейный праздник обходится без «классической» части. Вероятно, поэтому общий уровень музыкальной жизни в Германии несравним ни с какой другой страной. Количество же талантов одинаково везде, и в Лаосе, и в Норвегии. Талант – товар штучный. Уровень же определяют традиции, востребованность общества и система образования.

ОБРАЗОВАНИЕ, в принципе, от слова *образ*. Что за ценности общество вкладывает в немецкие головы? Образ мира многомерности и толерантности? Или образ мира одной экстремальной идеи? Важно, что немцы имеют возможность выбирать.

ОТДОХНОВЕНИЕ – кто из нас не мечтает о покое от «трудов праведных». Покой ... Искристый, плещущийся напиток в бокале. Он постепенно застывает, превращается в вязкую массу, высыхает, трескается. А затем рассыпается и исчезает вместе с бокалом ...

Отдыхать, впрочем, лучше всего на велосипеде. Велосипед в Германии не просто уважаем. Это как бы часть национального самосознания. Иллюзия непрекращающегося, но плавного движения вперёд. Нация велосипедистов. Нацеленность на длинные штреки. Возможность ехать по дорожкам друг за другом. Ездят семьями, на тандемах ... Велосипедный азарт заразителен и для эмигрантов. Даже Ленин когда-то приобщился. Несмотря на разветвлённую сеть метро и автобусно-трамвайных линий, многие предпочитают велосипед. Особенно

в центре, где припарковаться в дневные часы практически невозможно. Гаражи для автомобилей, разумеется, имеются. В основном же паркуются на улицах. Угоняют в Мюнхене реже, чем на севере страны. Хотя лично у меня «раздели» колёса прямо у перекрёстка в центре города.

ПЕРЕКРЁСТОК – место для человека без возрастных ограничений. Мы всегда стоим «на семи ветрах». Мимо несутся толпы, одержимые всевозможными «спасительными» идеями ... Устоять от искушения и не присоединиться к массовым забегам? Чем эта спасительная идея хуже других? ...

ПРОТИВОРЕЧИЯ примирить в себе возможно. Это путь разума. Но обрести желанное равновесие?

РАЗУМ, однако, не всегда в состоянии отличить истинные истоки от ложного пафоса.

РОДИНА – место рождения? «Что считать родиной, если из-за всеобщих странствий почти нигде не найти аборигенов. Пусть мы проедем из конца в конец любые земли – нигде мы в мире не найдём чужой страны: отовсюду одинаково можно поднять глаза к небу ... » (Гельвеций) Национальность по существу важна только для чиновников. В России я был евреем. В Германии «стал» русским. По немецким правилам могу быть и латышом. Раз родился в Риге, значит латыш. Когда-то на Руси говорили иронично: «Немец, что верба, куда ни ткни, туда и пришёлся». Определение неприменимое ни к немцам, ни к туркам, ни к евреям ...

СВОБОДА – слоеный пирог исчезнувшего. Попробуйте посмотреть вокруг с младенческой наивностью и нежностью. Попробуйте, ведь вы свободны.

СЕРЕДИНА сродни музыке. Возникает из ничего и постоянно движется в обновляющем потоке, к казалось бы, туманной запредельности.

А на самом деле от середины к середине. Постоянная, никогда не исчезающая срединность. Вероятно, от нашего неумения ощутить сиюминутность.

Обрыв, край, граница, предел – все эти понятия враждебны человеку. Кто хочет быть крайним? Мы существуем в середине. Серединой и тяготимся. Как в некоем временном корабле из прошлого в будущее. Или наоборот. Кому как нравится.

СТИЛЬ жизни определяет и художественный стиль. Хотя, собственно художественные стили не меняются, а сосуществуют. Конечно, эпоха предпочитает, давит, акцентирует и делает тот или иной стиль определяющим. При советской власти долгие годы, скажем, музыка Баха

была канонизирована как идеологически альтернативное явление. Не враждебное, но не пересекающееся с генеральной мировоззренческой линией. Употребимое, так сказать, для воспитания полифонического мышления у музыкантов. Вне религиозного его, культового значения. Почти без органных, хоровых произведений. Вне живого концертного бытования. Бах изучался специалистами. Но не жил в контексте с временем. Хотя его идеологически религиозная востребованность, «ортодоксальность» (кантаты, оратории), как нельзя лучше соответствовала советской эпохе. Приветствовался, разумеется, Бетховен в вульгарно-прикладном смысле – энергия преодоления, устремлённости не взирая ни на что к цели, завоевания её «любой ценой». Играть, как «на штурм Рейхстага», «закрывая телом амбразуру врага» и т.п.

И всем обществом, десятилетиями – мимо Моцарта ... Эдакое, не актуальное, музейно-конфетное, состоящее не из плоти, не из мускулов. Разве существует красота и гармония вне классовой борьбы? Да, духовность, да успокоение, да созерцание и раздумья – всё возможно. Но лишь после смертельных схваток с врагом, или в промежутках борьбы. О красоте позволительно было говорить, утирая со лба пот усилий. Впрочем, эти тенденции слышны и в начале 21 века.

В Германии, Австрии и прочей Европе для душевного «употребления» больше подходит Моцарт. Его интонационный язык и поэтические подробности естественны, как воздух, еда и прочие атрибуты повседневности. Его музыка как бы для жизни на все случаи и времена. Нужнее библии. *Es ist einfach schön*. Без морали и назиданий. Играючи. С его музыкой можно осваивать быстротекущие дни, пробегать (или не пробегать) мимо важных событий – так охватывают случайным взглядом пейзаж. Моцарт и сам часть пейзажа, называемого жизнь. Он бывает прост до банальности. И необъясним. В этом полное его совпадение с нашим запутанным существованием.

СКУКА пользоваться одними и теми же словами, маячащими всегда наготове. Или смотреть телевизионную рекламу.

ТЕАТР саморекламы родился задолго до телевидения. Судя по российской прессе и телерекламе, в нашем отечестве продолжают по инерции сотрясать воздух всевозможными титулами: народный, заслуженный, самый-самый, единственный, крупнейший и пр. В других частях света для привлечения внимания к собственной персоне действуют более изощрённо.

УСПЕХ, как иногда кажется, единственная болезнь, которой все хотят хотя бы разок переболеть. И любой ценой не выздороветь. Скажем, одна пианистка не столько хорошо играет на рояле, сколько разводит ... волков. Тем и популярна. Журналы захлёбываются, рассказывая о необычной

сострадательной любви смазливой пианистки к хищникам. Что по этому поводу сказал бы Рахманинов, произведения которого пианистка с особой охотой насилует жесткими, пахнущими волчиной пальцами? Что скажут впоследствии её ученики?

УЧЕНИК не способен уклониться от подражания. Всё начинается с корявой копии. Однако, далее ... Тот, кто воспитал хотя бы единственного ученика, поражается, что ученик превратился в личность, которую учитель вовсе не желал. Вдобавок и сам учитель иногда с невольным удивлением замечает, что становится зеркальным отражением своего ученика. Страны тоже переживают периоды ученичества.

ФЕТИШИЗМ совкового мышления ориентирован даже не на Москву, а на Лондон, Париж, Нью-Йорк, на сверхразмеры, сверхшироту. На самое-самое. «Как в лучших домах». А если среднее, срединное, то уж лучше тогда ... ничего. Впечатление важнее сути. Оно как бы определяет содержание. Немцы переболели этим. Вроде бы ... Человек вообще существо изначально камерное, непохожее, индивидуальное. Теряя камерность, человек попадает в сети кошмарных сновидений о сверхдержавках, сверхнациях, сверхчеловеке.

Отсюда, подчас, стремление и в музыкальных интерпретациях показать сверхчувства, сверхтемперамент, сверхтехнику.

ХУДОЖНИК не сверхчеловек. Он рождается в нас тогда, когда ум отказывается объяснить пережитое, увиденное. На свет появляется некое произведение, всегда соразмерное творцу. Идеал и стандарт. Их соседство, даже близкая родственность очевидна. Границы размыты. Наша тяга к обычному, усреднённому, стандартному, настолько порой сильна, что мы мучаемся нашим внутренним несоответствием и невозможностью обрести эту срединность. Чтобы, впрочем, потом в панике вновь её преодолевать, возвращаться к своей корявой индивидуальности. Словом, метаться без устали на одном и том же пятачке.

ЦЕЛЬ, казалось бы, достигнута, чем дольше живёшь, тем меньше понимаешь. Снежинка, дерево – тут всё вроде бы имеет очевидный смысл в бесконечной взаимосвязанности частей и целого. Но каким образом, конкретно ТЫ – часть целого? Если даже исходить из установки, что всё объяснимо в этом мире, то, тем не менее, это непостижимо – ведь любое ТЫ само по себе уже нечто целое, самодостаточное. Для полнокровного бытования в профессии, в искусстве, вовсе не обязательно задумываться о своей роли, значении, или эфемерном миссионерстве. Нет ничего более бесперспективного, чем постоянно себя соизмерять с эпохой и современниками, выстраивать некую собственную шеренгу по ранжиру. И уж тем более считать, да выкрикивать на весь мир свои обиды или задыхаться в бесконечных вопросах на тему – кто первый?

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это череда сомнений. Протопоп Аввакум не родился пророком. Чадолубивый семьянин, вовсе не склонный к монашескому аскетизму и поучительству. «... Аввакум заскорбел и колебался, проповедовать ли ему слово божье». Он сомневался. И этим всё сказано.

Повествовательность бывает разного рода. История для детей невозможна без последовательности, без логических поворотов сюжета и завершённой концовки. Однако, если рассказываемая история прерываема слезами, паузами, вопросами, то это уже совсем другой жанр. Восхитительнее же всего сомнение: а надо ли вообще было рассказывать. Или ещё больше – нежелание продолжать. Всё это, если ненавязчиво ощущается в ткани повествования, придаёт ему необъяснимую чувственность.

ШКОЛА, к счастью, продолжается. Кто нас окружает? Волею случая – страны, города, дома, люди. Кто наши ученики? Также почти все – волею случая. Учителей мы вроде бы выбирали сами. Или, во всяком случае, должны были выбирать.

ЩЕЛЬ всякая питит. Прислушаемся к разноязыкому их хору. К космосу голосов вне времени.

ЭСТАФЕТА времени невидима. Всю жизнь мы пробуем ощутить, увидеть, понять её пограничность и связать уносящиеся мгновенья воедино. Между тем, время и без наших неимоверных усилий всё соединяет.

ЮМОР в том, что я перестал понимать, так называемый, новый российский юмор. А немецкий так и не научился.

ЯЗЫК и речь адекватна повседневной жизни. Не может быть жизнь одного цвета, а речь другого. Звучащее рождается из молчания и заканчивается безмолвием. Всё по сути в этом мире лишь диалог молчания и речи. Границы между ними размыты – серединны. Если всё возникает из молчания, не значит ли что речь – это и есть жизнь? Как много в сущности вокруг тишины. Мы её ищем и не замечаем, что мир словно бы укутан в неё. Нам не остаётся ничего другого, как без усталости продираться сквозь безмолвие к звуковому хаосу, к взаимопониманию, к речи.

Мюнхен. 2004/2014

Наталия ВОЛКОВА

Памяти Бориса Рыжего

Раз вам дано неназванною силой
Дать имя сущему, как дал Адам в раю,
И чувствовать, что страшно, что красиво,
А боль чужую – больше, чем свою,
Наступят неизбежно дни такие,
Что жизнь не будет стоять и гроша...
Всего трудней поэту жить в России.
Здесь боли больше, чем вместит душа.

Во рту растаял нежно козий сыр
С таким, словам неуловимым, вкусом,
И чуть фруктовый аромат вина
Букетом радужным наполнил ноздри,
Что, может быть, из этих мелочей,
Стихов творенья вовсе недостойных,
Любая тайный смысл в себе несёт
И к вечности стоит гораздо ближе,
Чем приторные радости любви,
Чем слишком пряные фанфары славы
И кислый вкус огромного богатства.

Ропщут листья под моей ногой.
Не предвидя участи такой,
Лепетали радостно весной
И пленялись света новизной.
Да, конечно, знали, что придёт
Осень и зима, и унесёт
Солнце, соки жизни, только вот,
Впереди, казалось, целый год!

Нежным свистом, птичьей трелью длинной
Прага утро новогоднее встречает,
И трамвай ночной баюкает, качает
Брызжа искрами, как гроздьями рябины.
С улиц, вымытых полуночным дождём,
Клейкий запах первых хрупких почек
Отпускать домой меня не хочет.
Чтож, побродим и рассвета подождём.

Какое странное смятенье
внезапно пробуждают в нас
места, где долго не был.
Тени
прохожих – не сегодняшних, не здешних
идут на встречу.
Тех, что, много раз
и лет
назад, ходили здесь.
И даже небо
как будто поменяло цвет
из летнего тускнея на осенний.
И на вопрос тебе я не отвечу
Ты есть
сегодня, но меня тут нет.

Опять ночной оборванный покой
разбитый ритм.
Кто умерли зимой, пришли со мной
поговорить;
В ушах, хотя всё глуше, но звучат
их голоса,
И затянулся полуночный чат
на пол часа,
На час, на два, на три, скорей смотри
и отвечай,
Все те, кто умерли, ко мне пришли,
как в пять на чай;
Молчит и спит, кто сыт, кто жив-здоров,
а ты шепчи,
Мне свой уже от этих голосов
не отличить...

Graziano MORETTO

Ti guardi dentro

c'e solo un vetro che distorce

uno specchio **Concavo** **conVesso**

Locus Horridus

Laselvadimacchineglisqualimangiastradatendonoalgrigio
dispersinellepolverisquallideimetallipesantisiaddensano
innubiquasipersonneasmandoinstradaèinterminabilelafila
diomologazioniedanchegliesternirinchiusionsimanotrancode

incuburocratiche

Il Sole

Le lunghe dita

S'aggrappava al cielo

Scivolando

L'oggi era concluso

Rosa dei venti

steli

sillabe incastonate

declinanti

leab ban do no mia pro un var co

-l'intreccio di reminiscenze.

Danze del primo tramonto
Volatili
Stormi che volano sul mare

– gabbiani sulla battigia –

un nido appeso al tetto
sembra un vespaio
invece è dimora
di un pennuto passeggero del cemento

ordina scene

Phersu

e riordina periodico

rimesta racconti

e quadri del romanzo perfetto

alieno ad ogni nesso

è l'rresistibile canto delle sirene

-l'inevitabile incontro

l'easaurive degli anni perduti

con l'ordire di una trama-

e la nostra memoria tramonta

dietro all'instancabile narratore

Archi tesi
 Frecce che tendono
quadranti abnormi
 il mondo sfreccia
questa breccia è l'irrisorio starnuto
 del varco
 del vacuo
 del vano
la pressione della gravità
d'ogni respiro
 indebitato
tra due specchi frontali
i sé non si contano
 assenti
 insenzienti
nella cosmica demenza d'io

Quel vuoto

tra la sottile

quasi virtuale seta

dell'immensa ragnatela che

il ragno tesse con il suo segreto

é ragno e ragnatela

Genja RYKOVA

Wenn es dann irgendwo Morgen wird,
Und die Häuser noch schweigend stehn?,
Wenn dein Blick noch der Nacht nach irrt,
Uns scheu die Sinne einzeln aufgehen?,

Wenn mein Duft dir im Bart noch hängt,
Mein Schweiß noch dein Bauch schmückt,
Leis? dein Laut sich ins Ohr mir drängt,
Und mein Haar dich spielend entzückt,

Wirst wie je du verstohlen prüfen,
Während süßlich ich taumel in Träumen,
Ob nicht doch sie bereits gerufen,
So wie eh werd mein Glück ich (ver)säumen.

WÄCHTER

Mein Atem riecht nach Rauch,
Deiner nach Weisheit.
Dein Finger tanz mit meinem Haar,
Ich schäme mich vor deinen Blicken.

Doch wenn dein Blick
Beginnt zu tanzen, Liebster,
Gelingts mir kaum,
Vor Scham mich abzuwenden.

So wend ich mich dem Stahlen zu,
Ja, wenn ich irre leuchtest du.
Du leuchtest nur,
Und ich kann finden.

PENELOPE

Ja!

Ich triumphiere wenn du Fehler machst.

Und wenn du stolperst muss ich lachen.

Mitten in die Züge, die ich lang nicht mehr gesehen.

Die mir lang nichts mehr erzählt , deren Regung ich vergaß.

Die Furchen fremd.

Die Winkel schlaff.

Verformt von Fremde.

Kampf und Irrtum.

Ich weiß es nicht. Ich war nicht da.

Nachst am Fenster stehend.

Neben der Hoffnung du verirrst dich in unsre Straße,
unter das Fenster.

Deine Augen, diese trüben Meere,

dein Herz, das wilde, verirrt sich in mein Blick.

Und findet nicht mehr heraus...

Wonach fragst du. Was verlangst du.

Reisender du,

Wächter der reissenden Ruhe.

Mit stechendem Blicke, starrst du.

Die rissigen Ruhen,

Wie Böhen aus den Orkaaugen brüllend,

Sich holen, was sie glauben

Wissen können.

Willst du mich stechen mit dem Hohn?

Als Dank fürs? Lange Weilen.

In brüllend dunkler Stille,

In fragend Kinderblick gefangen.

Nur Winde sangen mir dein Duft!

Soll ich mich mühen,

Danken für Verzicht und Spott?

Und wenn ich schweige, stundenlang.

Und wenn ich nur durch Blicke waage.

Wenn ich singe in der Stille

oder springe auf dem Eis.

Wenn ich lach am Grab und küsst? mit Hass,

leid? mit Glück und lieb? mit Schmerz.....

Wohin wehst? mich dann, Odysseus, nachts

wenn dus? nicht merkst!

Ihr russisches Herz lügt;
Ganz offen, ohne Scham,
Ohne Röte, ohne Reu,
Ohne Schrecken.
Ohne Blick.

Ihr russisches Herz liebt;
Ohne Wärme, ohne Seel.
Ohne Körper, ohne Geist.
Ohne Antwort.
Ohne Blick.

Ihr russisches Herz lacht;
Ohne Freude, ohne Charm,
Ohne Sonne, ohne Luft.
Ohne Lust,
Und ohne Blick.

Ihr russisches Herz weint;
Mit Schrecken und Reu,
Beschämt und errötet,
Voll Wärme und Geist,
Mit Körper und Seele,
Mit Freude und Charm,
Voll Sonne und Luft,
Mit Lust und Antwort,
Ganz offen. Mit Blick.

Elena KAUFMANN

Wir rasen von Gemeinplatz zu Gemeinplatz
die Ubahnstangen möglichst nicht berühren
während
sich Floskeln über Floskeln türmen nicht
über sondern zwischen uns nur Worte, die
ich alle schon kenne aus amerikanischen Soaps, denn
da haben sie auch oft Probleme.
Und die Drehbuchschreiber ob
sie wohl erst da waren oder
erst unser Bedürfnis nach Floske

Blau in Blau stürzt der Himmel ins Meer und erschlägt so die Sorgen der
Badenden.
Sie lärmen.
Salz brennt in den Augen und Sonnenmilch klebt jede Seite.
Verklebt und verbrannt vergessen sie völlig,
dass Orte mit Palmen das Kummern
verbieten.
Ob das Bein genug braun, ob der Bauch nicht zu groß
erschlagener Kummer gebärt seinesgleichen.
Solange der Mensch nur bei bester Gesundheit,
sucht er und findet er Fehler.

ES WIRD JUNI

Während Kirchturmspitzen den Himmel zerstoßen,
heult der Wind durch geöffnete Fenster und weckt ungesehen Schlafendes.
Weckt und macht, dass man Gräser wieder wehen hört
und aus Klatschmohnröte Mut fasst.
Macht, dass der Kopf in den Wolken wieder
auf zwei Beinen landet und man merkt,
dass sich nicht nur Sorge, sondern auch Schokolade teilen lässt.
Staubsaugen unter Betten und auf Augenlidern.
Straßenkatzen streicheln, Mutters Spiegelei genießen.
Deine Haut voll Chlorgeruch, der soviel mehr wiegt als Parfüm.
Es wird Juni und ich hoffe er bleibt er so grell wie er kommt.

All die Auto
bahnen, Breitengrade
Es ist Sand im Getriebe
und der Telefonapparat kriegt ihn nicht raus.
Wir könnens so nicht weiter treiben.
Treibsand macht nur unglücklich.
Ich würd mich so gern treiben lassen
ach
in einem blauen Wasser ohne Sand
mit dir
und wollten wir ein Haus am See
dann gäbst du mir nur deine Hand
dann bau ich dir ein Schloss
aus Sand.

LES ADIEUX I

Dass Menschen nicht immer parallel sehnen und Man
Flüge bucht, die wegführen von dem Ort an dem man ist
Dass man wächst mit dem Alter und Hosen zu eng
werden Dass man merkt was wichtig und der Andere
nicht darunter.
So lange nebeneinander leben, dass man das Gesicht des Nebenmanns vergisst
und nur noch das Gefühl seiner Schulter an der eignen weiß,
das Geräusch seines Kauens wie das Ticken
einer Uhr bis die Stunde schlägt um in andre Brauen zu runzeln.
Es ist nicht der Tatbestand der Trennung, der doch so viel natürlicher soviel
logischer als dieser Wahnsinn des zeitweisen Übereinklangs zweier Ohren
Geister Rücken.
Schmerzend, das sind die leeren Phrasen, an die man sich hält zum Schluss, weil
sie in Filmen so sprechen.
Wer je Machs gut gesagt hat zu dem,
mit dem er viel bis alles geteilt hat, der weiß wie falsch und weiß wie
beschämend hier Sprechen und Hören.
Nicht Trennung Abwesenheit Wiedersehen sind verstörend. Sie heilen wohl
durch Zeit und tun unterschiedlich weh.
Doch was der Puls in der Wunde, das sind die Abschiedsworte.
Worte, die leer werden sobald man sie mehr als dahin spricht. Die
banalisieren was groß und von Nöten.
Was schmerzt, ist nicht der Abschied, was sticht, das sind die
Floskeln.

LES ADIEUX II

Wir schreiben noch Emails, doch wir lassen
Begrüßungs- und Abschiedsformel weg. Mein
Posteingang ist ständig geöffnet, falls du mir eine Email ohne Abschiedsformel
sendest, ich lese jede Amazon
Empfehlung ich lese GMXSpamreports ich lese alte Emails ich weine ein
bisschen und mache mir ein Müsli.

AQUARIUM

Die Ohren sind taub und ich wünsche mir Kiemen; die Haare so fliegend und
weich wie im Weltraum oder vielleicht in der Werbung. Meine Haut seltsam
grünlich durch diese Massen an Blau, die so schwer und mir das Luftholen
unmöglich machen und jedes Geräusch wie 1000 Meilen entfernt.
Im Supermarkt zwischen all den Obstregalen und Dosen und Nudeln nur ich so
schwerelos und doch den Stein im Magen, weil furchtbar abgeschnitten von
jedem Fiepen und Klappern und Schimpfen.
Was ist das Leben, wenn man träglahm Fremdkörper zwischen all der Hektik.
Schubsen an der Kasse dann, weil ich vor lauter aufsteigenden Luftblasen die
Münzen nicht sehe.
Ich trete auf die Straße, schwerfällig wie
ein Greis und doch schier nicht bremsbar. Taubes
Weiterwaten macht ungeduldig und die Augen, sie brennen vom Salz. Wieder:
meine Hände schlagen ins Nichts, doch auch das macht mich nicht schneller.
In Slow Motion gefangen.
Dann ein fernes Wabern. Muss
eine Sirene sein. Kein Alarm mehr nur noch Wabern, wenn
die Menschen am Sterben in weißen Autos mit Licht in Blau.
Ach Blau in Blau sieht sich schlecht.
Und wenn alle Wut und all mein Bedürfnis nach Krach mich zerreißt
dann stell ich mir vor Musik die so schrill, dass sie weh tut. Die so
schnell, dass mein Herz stockt weil so viele Töne hintereinander,
Ein rauf und runter, das Wach macht und versöhnt.
Das Ohren spitzen lässt und mir den Atem beruhigt auf einmal
Das ansteigt, dass ich merke wie das Blut schwillt und
das ist wahrscheinlich Irrsinn. Doch
ja diese Höhepunkte, an denen es mir fast zu hoch ist in den Ohren
das Gehämmer sind intensiv, weil ich will, dass sie enden.
Das alles auf einmal will ich,
wenn ich mich quälend tief unten im Blau über
die Straße kämpfe.

Марина БОЧКОВА

Да, мы рабы...
Нам нужен Бог и Царь!
Умиленно заглядывая в очи...
Крестьясь, молясь, ликуя-Отче!
Готовы на закланье принести
Свободу, жизнь, друзей, себя и веру.
Да, мы рабы!
Обуревают страх
В толпе безликой, нищей и убогой,
Забывшей всё и задушившей всех!
Мой Skype молчит... он нем... Мой грех!
Ура! Ура!
Да здравствует Плохиш!
Ведь у него есть доллары в кармане
Ну разве он когда-нибудь обманет?
И для народа сделает барыш!
У ног его народ. В холодном взоре
Самодовольства, выигрышный куш!
Трибуною увенчан "Лучший муж"
Когда падёт - умоемся позором!
Да, мы рабы!

Я беженец с тысячелетним стажем:
Еврей, араб, кочевник и ковбой.
Меня всегда все обвиняют в краже.
Всё оттого, что я везде чужой.

Ещё когда пришёл я в Палестину
Тысячелетний слой на мне налип:
Песок, зола, присохли комья глины;
Порой казалось я в аду, погиб...

Но я бегу, бегу через границы,
Тяну к другим народам шаткий мост,
Учу слова и вглядываюсь в лица,
Ищу спасенья, миновав погост...

В зеркальной глади, серебром,
Рассвет бледнея отразился.
Он был моим поводырём,
Обои трогая, резвился.

Он бледен был, но его пыл
густую тьму сдвигал угрюмо,
шершавым языком отмыл
мои нерадостные думы.

О чём? Так утренний каскад
Из полусонного сознания...
Слова смешались, все подряд,
ко мне придя из сострадания.

Я даже их не поняла...
Рассвет вошёл, улёгся рядом.
К нему я руку подняла,
чтоб понял, как ему я рада.

В его отбеленных зрачках
предметов отразились тени
и незаметно был зачат
спектакль, на этой малой сцене.

Как имитация души,
Бог с множеством его заветов,
Чтоб вас удерживать в глуши,
Вдали от множества ответов.

Чтоб вам дарить единый мир
Фантазий, общих представлений
И не высказывать, ни-ни!
За твёрдый свод постановлений.

Рукой я проведу по лбу,
Дотронусь до ствола берёзы...
В природе мёртвых нет табу,
Лишь жизни временные позы...

Рассвет проник в пустые зеркала
И удивился простоте предметов,
На волшебство таинственных отсветов
Не расщипилась ровная шкала.

Быт проявился тихо, без обмана,
В чуть оползавшем сумраке теней
Был лес вдали нагроможденьем пней
Без своего торжественного сана.

Как будто в потемневшем серебре
Жизнь запеклась чернеющим налётом,
Воспоминанием душила, словно гнётом,
И окислялась на его ребре.

Январский холод был немым и скучным,
Бродил вдоль дома тяжело и без сил,
Не делал ничего и не просил
И лишь в окно заглядывал беззвучно...

Зимой удручает не столько холод
Как липко льющаяся темнота,
Её сжимающий Землю полог,
Зрачка бездонного слепота.

Чернеют дома квадраты ночи
Окно, как рама для пустоты.
Земля, застыв, ничего не хочет,
Лишь ветер хрипло жуёт кусты.

Там за окном исчезла упругость
И хрупко падают ветки вниз...
Тяжёлая, злая, чёрная грубость
Как бы нависший над ним карниз.

Там нет обрыва, там только космос,
Так близко в мой заглянувший дом,
И подо мной исчезает плоскость
Смешавшись в чёрный сгоревший ком.

Зачем поверх снов и выше?
Уютная жизнь в долине...
Что может быть выше крыши,
И слаще собственной лени?

К чему эти все страдания-
Ломать и заново строить?
Привычные изваянья...
С привычным не надо спорить...

Всё под рукой, не зябко...
Вот рай - вот ворота ада,
Дорога протоптана гладко
И в этом своя услада.

Какие там лабиринты?
Лишь кнут нам добавит бодрость,
А сверху огромные плиты,
Чтоб задохнулась гордость.

Погружены мы, как в стакан воды -
Тугой и пресный... капельки на раме...
Поблѣкший день, такой многострадальный,
С морщинками течения на реке,
Похоже как и на моей руке...

Пустой, холодный, предморозный воздух,
Дыханье задержавший на окне,
Мне веки плотно прижимал во сне,
Подтѣки на щеках и на стекле,
И очень грустный получился образ...

Ни звука... будто захлебнулись птицы
Или набрали в рот воды...
Покрылись ржавчиной сады
И в капюшонах побелели лица
И, как в Венеции, в воде столбы, столбы...
Смотрю сквозь воду, жду что мне приснится...

Я снова, кажется, больна,
Живут все, как то, по-другому.
Лишь там, где множатся слова
Себя я ощущаю дома.

Я в заводи моей души
Уверенней, чем на паркете.
Слова мои - карандаши,
Которым можно всё на свете.

Как примирит меня с собой
Тот звук летящий наудачу?
Чей это голос?...Нет, не мой...
Не мой... Но почему я плачу?..

Эйтан ФИНКЕЛЬШТЕЙН

МИФЫ ХОЛОКОСТА

Впервые Всемирный День памяти жертв Холокоста, установленный по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметили в январе 2005 года – в 60-ю годовщину освобождения «главного» нацистского лагеря смерти «Освенцим» советскими войсками под командованием генерала Петренко. В тот год в некоторых европейских столицах прошли официальные собрания, на которых первые лица государств, министры, депутаты парламентов произносили пламенные речи, клеймили нацизм и клялись никогда в будущем не допускать ничего подобного. Многие европейские СМИ посвятили этой дате специальные статьи или передачи с участием известных общественных деятелей, историков, бывших узников концлагерей.

Нарочитая помпезность и подчеркнуто официозный характер этих мероприятий заставляли думать, что речь, скорее всего, идет о разовой акции; завершится юбилей, и о Холокосте вспомнят, разве что к столетней дате освобождения Освенцима.

Случилось по-другому. День памяти жертв Холокоста стали отмечать ежегодно, отмечать все с большим размахом, а география соответствующих торжеств постоянно расширялась, охватывая все новые и новые столицы. Но вот что любопытно: в каждой стране акценты по случаю Дня памяти расставлялись по-разному, а причины и даже история Катастрофы рассматривались под «национальным» углом зрения. Соответственно делались и выводы о том, как такое могло случиться, кто более других виноват, каким образом определять и компенсировать ущерб выжившим в Катастрофе и, наконец, что делать, чтобы трагедии подобного рода не повторялись в будущем.

Что касается бывшей Западной Германии, то эта страна безоговорочно приняла на себя вину за Холокост и сделала все возможное, чтобы как-то вину эту загладить. Сотни тысяч людей, прямо или косвенно пострадавших от нацистских зверств, получили – и продолжают получать – финансовую поддержку со стороны германского правительства. Кроме того, сотни миллиардов долларов, которые тогдашняя Федеративная Германия долгие годы выплачивала государству Израиль, помогли этой стране создать современную, в том числе – военную индустрию. В

сочетании с поставками вооружений и политической поддержкой сначала Бонна, а затем и Берлина, все это помогло Израилю выстоять в противостоянии с неисчислимыми врагами, то есть избежать нового Холокоста. Не менее важным было и «внутреннее очищение», очищение западногерманского общества от духа милитаризма, национализма, ксенофобии. И в этом направлении ФРГ сделала все возможное, чтобы расстаться с прошлым. И не только на уровне законодательства. Несколько поколений западных немцев были воспитаны в духе неприятия и, более того - ненависти к нацизму, воспитаны в духе миролюбия, толерантности, терпимости и покаяния.

И все же в начале XXI века акценты – не в оценке прошлого, а в видении будущего – начали в объединенной Германии меняться. Целью официальных церемоний в День памяти жертв Катастрофы стало теперь не столько покаяние за прошлое, сколько желание подвести под ним историческую черту. Официальный Берлин прежде всего пытается показать миру, что новая Германия заслуживает полного доверия в качестве не только экономического, но и политического лидера Европы и, более того - важной мировой державы, претендующей на членство в Совете безопасности ООН.

Совсем иные цели у тех, кто отмечает День Холокоста в Австрии, Франции, Голландии, Бельгии. В 1938 году Австрия была включена в состав Третьего Рейха, или, как принято говорить – аннексирована (*Anschluß*) нацистской Германией. Но немецкое слово «*Anschluß*» не обязательно означает «насилованное присоединение», как это принято думать именно в связи с событиями 1938 года. Это слово может означать и «союз» и «объединение». Если внимательно присмотреться к событиям тех лет, нетрудно убедиться, что *Anschluß* 1938 года де-факто не был насильственным. «Австрофашизм», нацистские и пронацистские настроения были широко распространены и глубоко укорены в довоенной Австрии. По утверждению многих историков и свидетелей тех лет, духом немецкого шовинизма Австрия была пронизана даже в большей мере, чем сама Германия. Наверное, не случаен тот факт, что и сам фюрер, и многие его ближайшие соратники, а также нацисты среднего звена были выходцами из Австрии. (На 1938 год население Австрии составляло 8,5% от населения Германии, но при этом три четверти комендантов нацистских концлагерей были выходцами из Австрии. Австрийцы же составляли большинство сотрудников Четвертого (еврейского) спецотдела гестапо, возглавляемого А. Эйхманом).

Верно, какая-то часть австрийского политического истеблишмента сопротивлялась объединению с Германией на условиях Гитлера, то есть,

не хотела механического присоединения своей страны к Германии и, соответственно, утраты своих привилегий. Австрийская элита хотела выторговать себе какую-то автономию. Гитлер же об этом и слышать не хотел. С согласия Британии и Франции и в нарушение Версальского мирного договора 1919 года он ввел (в ночь с 11 на 12 марта 1938 года) немецкие войска в Австрию. Австрийская армия не оказала им ни малейшего сопротивления, а толпы граждан приветствовали колонны германских солдат как братьев-освободителей. Чуть позже, на всеобщем плебисците 10 апреля того же года 99,75 процентов австрийцев сказали «да» объединению с Германией. Тем не менее, некоторый элемент давления, который Гитлер оказывал на правящую верхушку в Австрии, в послевоенные годы дал Вене повод позиционировать себя в качестве... жертвы нацистской Германии!

Между тем, «новая» немецкая земля (Острих) ничем от остальной нацистской Германии не отличалась, а в том, что касается преследования евреев и экспроприации их имущества, усердствовала более других «старых» земель. Не делали различия между Германией и Австрией и союзные войска, сражавшиеся против фашистской Германии. После окончания войны аншлюс был аннулирован, Австрия, как и Германия, была разделена на четыре зоны оккупации, в трех из которых – западных – началась интенсивная денацификация. От должной ответственности за преступления нацизма и за Холокост, в частности, Австрию спасла начавшаяся холодная война.

Западные державы, крайне заинтересованные в том, чтобы «отодвинуть» Советскую армию подальше на восток, согласились на нейтралитет Австрии. В 1955 году был принят «Государственный договор о восстановлении независимости Австрийской республики и о постоянном ее нейтралитете». В результате, все оккупационные войска – советские и западные – покинули страну. Таким образом, Австрия в сущности «вышла сухой» из воды! Это означало, что денацификация там до конца доведена не была, многие нацистские преступники не понесли наказания, Вена не приняла должного участия в деле компенсации уцелевшим жертвам Холокоста. (Невероятно, но из списка почетных граждан австрийского города Амштатен /Amstetten/ Адольф Гитлер был вычеркнут лишь в мае 2011 года!) Между прочим, на вопрос автора этой статьи, почему вы перебрались из Германии в Австрию, знаменитый охотник за нацистскими преступниками Симон Визенталь ответил следующее: «В Германии делается все или почти все, чтобы найти и привлечь к суду бывших нацистов – там я уже не очень нужен, а вот в Австрии у меня непочатый край работы...». И верно, на момент интервью с С. Визенталем, в Австрии проживало 450 000 бывших членов нацистской партии, а четверо из них даже оказались... членами тогдашнего правительства Бруно Крайского!

Так что же спустя 60 лет говорят в Австрии по случаю Дня Холокоста – обещают переосмыслить исторические факты, признать свою вину, помочь в деле компенсации еще живым жертвам Холокоста? Ничуть не бывало! Песню там поют старую: мы тоже жертвы нацизма, вины на нас нет, участвовать в программах помощи жертвам нацизма мы не обязаны!

Легкой добычей нацистской Германии стала Франция. Ее армия в короткий срок была разгромлена Вермахтом, часть страны была оккупирована, другая часть попала под власть прогерманского, в сущности – марионеточного, правительства Виши. Так что Франция действительно стала жертвой германской агрессии. Но в том, что касается Холокоста, эта страна фактически была союзником нацистской Германии, соучастницей преступлений века.

Верно, во время войны, особенно к ее концу, на территории Франции существовало движение Соппротивления. Но участвовала в нем лишь крайне незначительная часть населения (прежде всего иностранцы – поляки, евреи, чехи и другие). В целом же в годы войны страна жила обычной жизнью: никакой разрухи, никакого террора, никакого дефицита продуктов или товаров. Работали театры и кино, люди неукоснительно ездили в отпуск, а более всего радовались отсутствию безработицы – воюющая Германия закупала во Франции все для своей армии и тем самым обеспечивала французов рабочими местами. В подавляющем большинстве французы сотрудничали с оккупационными властями и собственными коллаборационистами. При содействии и полном равнодушии обывателей оккупационные и «свои» власти выискивали и отправляли сограждан-евреев в лагеря уничтожения, в точности так же, как поставляли в Германию продовольствие, сырье, оборудование.

При этом первым шагом французских властей после подписания капитуляции стал указ, требующий от евреев выплатить «штраф» в размере одного миллиарда франков. Специально созданный «Главный комиссариат по делам евреев» в правительстве Виши (аналог 4-го спецотдела гестапо, возглавлявшегося Эйхманом) «по-государственному» планировал и осуществлял переход во французские руки еврейской собственности. Власти приказали конфисковать у евреев все, включая радиоприемники и велосипеды. Мебель же и домашняя утварь угнанных в концлагеря, как правило, переходила в руки соседей. Подсчитано, что за годы войны было уничтожено 98 тысяч французских евреев. Невозможно представить, чтобы сотрудники немецкого гестапо, штат которых во Франции был весьма незначителен, могли справиться со столь грандиозной задачей только своими силами! И верно, печально знаменитый «лионский палач» Клаус Барби, которого десятилетия после войны не могли привлечь к суду, возглавлял гестапо города Лион, штат которого насчитывал... 25 человек. При этом Барби умудрился отправить в

лагеря, тюрьмы и на виселицы тысячи евреев и участников движения Сопротивления!

С тем же равнодушием и деловитостью, с каким Франция отправляла своих евреев сначала в Дранси, а потом в Освенцим, Швейцария получала нацистское золото, на скорую руку переплавленное из зубных коронок умерщвленных жертв Холокоста, поставляя взамен оптические приборы и изделия точной механики для нужд немецкой военной промышленности. Армия же этой нейтральной страны всю свою мощь направила на то, чтобы отлавливать беглых немецких евреев и возвращать их гестапо. Мало кто знает, что печально известная буква "J" (Jude) появилась в паспортах немецких евреев по просьбе... швейцарского правительства! Мотивировка просьбы была проста: без этого, дескать, швейцарские чиновники не могут отличить немцев (арийцев) от немецких евреев. Равным образом преследовали в Швейцарии и тех, кто пытался оказывать помощь беглецам. В этой связи процитируем сообщение, которое появилось на официальном сайте правительства Швейцарии в ноябре 2011 года: «Государственная комиссия при правительстве Швейцарии оправдала 147 граждан страны, которые помогали евреям скрываться от нацистов во времена второй мировой войны».

Уточним. Эта комиссия была создана в 2004 году для расследования деятельности «преступников», которые помогали евреям спастись от нацистов в 1938 – 1945 годах. Часть этих людей была осуждена и посажена в швейцарскую тюрьму. Другие получили большие штрафы. Большинство потеряло работу.

До 1943 года, то есть до того момента, когда исход второй мировой войны был еще неясен, активно сотрудничало с нацистской Германией и правительство нейтральной Швеции. Причем речь шла не только о финансировании нацистов, поставках им стратегических материалов, но и о согласии на перевозку через свою «нейтральную» территорию военных грузов. Стокгольм категорически не принимал еврейских беженцев, а зачастую выдавал их гестапо. Правда, после разгрома армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом политика Стокгольма изменилась - в спасении евреев на оккупированных нацистами территориях отныне принимали участие и многие шведы, наибольшую известность из которых получил Рауль Валленберг, представитель клана Валленбергов, наживших, между прочим, огромное состояние на поставках нацистской Германии.

В 2012 году (!) муниципалитет столицы Бельгии официально признал факт сотрудничества с гитлеровскими оккупационными властями во время Второй мировой войны в деле "окончательного решения еврейского

вопроса». Оказалось, что в мае 1940 года муниципальные власти Брюсселя передали нацистам детализированный список, в который входили 5640 евреев, проживавших в бельгийской столице. В этом списке были указаны их адреса, а также различные биографические подробности.

Аналогично вели себя власти Италии, активно сотрудничали с нацистами хорваты, боснийцы и венгры.

Что касается Польши, то евреев здесь начали убивать еще до прихода немецких войск, а закончили уже после их разгрома. Символом польского отношения к евреям стало местечко Едвабне на северо-востоке страны. Десятого июня 1941 года - после того как советские войска покинули эти края - местные жители по своей инициативе согнали в амбар на окраине местечка около двух тысяч евреев и под гром барабанов и крики ликующей толпы подожгли его со всех сторон. Сделали они это неумело, так что потом им пришлось несколько дней рубить топорами спекшуюся массу человеческих тел, тел вчерашних своих соседей. К тому же извергам из Едвабне пришлось выслушивать упрёки немецких офицеров «за непрофессионализм».

Отнюдь не случайно именно в Польше с ее трехмиллионным еврейским населением и традиционной юдофобией нацисты построили Освенцим (Треблинку) - свою главную фабрику смерти.

Зловещую роль в том, что называется Холокост, сыграл и Ватикан. Правда, часть документов времен правления Папы Пия XII (1939 - 1958) все еще недоступна исследователям, и мир до сих пор не знает, сделал ли что-то Святой престол, чтобы помочь миллионам обреченных на гибель. Зато мы точно знаем, чего Папа Пий XII не сделал.

Общаясь в 70-е годы с литовскими ксендзами и активистами Литовской Католической Церкви, которые во время войны спасали евреев, автор этих строк часто слышал слова: «Спасали евреев мы, католики, и наши интеллигенты-атеисты. И мы, и они делали это потому, что не могли поступить иначе. Но им было легче. Они отвечали только перед своей совестью. Мы же чувствовали себя церковными изгоями, мы опасались, что иерархи нас не одобряют».

Согласно изданной Государственным Еврейским музеем Литвы книге Виктории Сакайте «Спасение евреев в Литве, 1941-1944», за годы Второй мировой войны нацисты при активной поддержке местного населения уничтожили 94 процента еврейского населения этой балтийской страны. Так вот, представим себе, что Папа Пий XII - высший авторитет Церкви - обратился к своей пастве со строгим предупреждением, что участие или соучастие в убийстве евреев противоречит основам христианской веры и что каждый католик, замававший руки еврейской кровью, будет отлучен от церкви. Не стоит

обольщаться, подобный призыв не остановил бы маховик Холокоста. Но и не сомневаюсь, что сотни тысяч рядовых священников и простых верующих в Польше и Литве (где погибло более трех миллионов евреев) восприняли бы его как руководство к действию. А значит, что у Холокоста был бы другой счет: не шесть миллионов, а пять, четыре или три...

Увы, несмотря на то, что с просьбами осудить массовые убийства евреев к Пию XII обращались президент Рузвельт, президент польского правительства в изгнании Рачкевич, епископ Берлинский Прейзинг, главный раввин Палестины Герцог и многие другие, тогдашний понтифик ни словом не осудил нацизм и антисемитизм, не выступил против «окончательного решения еврейского вопроса». С другой стороны, Гитлер, Геббельс, Кальтенбрунер и другие нацистские главы никогда не были отлучены от Церкви или просто осуждены Ватиканом. Они ушли из жизни, будучи (по крайней мере, формально) католиками. Факт сам по себе примечательный.

И еще одна немаловажная деталь. Многие историки, а также публицисты, писатели, кинематографисты (в том числе и в Израиле), интересующиеся темой Холокоста, довольно часто прямо или косвенно выражали недоумение – почему жертвы не оказывали сопротивления палачам, а покорно, словно овцы, шли на убой? Оставив в стороне вопрос о том, что данное утверждение далеко не всегда соответствует действительности, попытаемся понять, почему же сопротивления не было тогда, когда, казалось, оно напрашивалось само собой. Разумеется, причин было много, и в каждом конкретном случае, в каждой стране, в каждом городе, в каждом гетто или концлагере складывалась конкретная ситуация. Но одна причина во всех случаях была одной и той же.

Обратимся к дневнику русской эмигрантской поэтессы Раисы Блох. Ее семья бежала из большевистской России в Германию, позже она со своим мужем, поэтом и славистом Михаилом Горлиным, перебралась в Париж. В мае 1941 года Горлин был арестован как еврей и отправлен в пересыльный лагерь в Питивье возле Орлеана. При посещении мужа Р. Блох с удивлением обнаружила, что вход в лагерь не охранялся. Блох и ее друзья предложили Горлину бежать, но скоро все убедились: бежать бесполезно: жители первой же встречной деревушки схватят его и передадут в полицию. Вскоре Горлина переправили в Освенцим, где он и погиб. Ненадолго пережила его и Раиса Блох. При попытке перейти границу Швейцарии, она была схвачена швейцарскими пограничниками и передана в руки гестапо. Погибла она приблизительно в 1944 году. Как эти два человека могли сопротивляться в абсолютно враждебном окружении? Еще более убедительный пример – Польша. 19 апреля 1944 года восстало Варшавское гетто. Уцелевшие его узники, истощенные и почти

безоружные, напали на охрану, перебили ее и вплоть до 16 мая удерживали территорию гетто в своих руках. Лишь вызванные с фронта регулярные части СС сумели подавить восстание. В ходе боёв было убито около 7 тысяч защитников гетто, ещё 6 тысяч сгорели заживо. После подавления восстания, оставшиеся обитатели гетто (около 15 тысяч человек) были отправлены в лагеря смерти (большинство — в Трестлинку).

Но что поразительно, польское вооруженное подполье – национальная Армия Крайова, тоже готовила восстание, но она даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь – тем более, присоединиться – к восставшим из гетто. Некоторые историки считают, что среди руководителей Армии Крайовой были те, кто ждал, что немцы расправятся с евреями, а новая, послевоенная Польша будет «Judenfrei». Через три месяца, первого августа 1944 года, когда советские войска уже стояли на восточном берегу Вислы, Армия Крайова начала «свое» восстание. Руководители Варшавского восстания без сомнения рассчитывали на помощь Красной армии, но Сталин не спешил, ему не нравился вариант, при котором Варшаву освободила бы неподконтрольная ему «националистическая» Армия Крайова. Роль освободительницы Варшавы Сталин предназначал Красной Армии и ждал момента, когда Вермахт с помощью авиации и артиллерии «очистит Варшаву от националистов». Только после этого советские танки двинулись вперед. (За 63 дня восстания погибли 10 тыс. повстанцев, 17 тыс. попали в плен, 7 тыс. пропали без вести). Таким образом, эти два героических события происходили словно не в одном городе, не на одних и тех же улицах, ни в одно и тоже время, а на разных концах планеты в разное историческое время. Так они и вошли в историю никак не связанные между собой: «Восстание в Варшавском гетто» и «Варшавское восстание». Факт поразительный, более чего-то другого свидетельствующий о том, в каком положении находились евреи в оккупированных гитлеровцами странах. Между прочим, там, где окружение не было враждебным – Дания и Болгария – евреи в основном уцелели.

Итак, **миф номер один** состоит в том, что Холокост был делом рук одних лишь нацистов, одной лишь нацистской Германии. Верно, нацисты составляли ударный отряд палачей, но уничтожение шести миллионов евреев - дело рук многих европейских народов. Ни гестапо, ни войска СС, ни Вермахт, ни вместе, ни по отдельности, не в состоянии были за какие-то четыре-пять лет отыскать, идентифицировать, изолировать, а затем физически уничтожить шесть миллионов человек в более чем тридцати странах Европы! Без активной или пассивной поддержки местных властей и местного населения это представляется немыслимым. С исторической точки зрения, Холокост в широком смысле слова - это избиение

европейских евреев, физическое уничтожение большей их части и изгнание уцелевших из Старого Света.

Подвиги отдельных людей - Праведников народов мира, участников антифашистского Сопротивления, а также властей Дании и Болгарии, спасавших евреев, - это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. (Иерусалимский институт «Яд ва-Шем» за десятки лет упорной работы сумел установить имена 15 670 Праведников народов мира из 34 европейских стран.)

Миф номер два состоит в том, что в основе Холокоста лежат расовые предрассудки, религиозная или этническая вражда. Конечно, в той или иной мере, имели место и многовековые религиозные предрассудки, связанные с обвинением евреев отцами Церкви в распятии Христа. Имела место и этническая вражда, связанная с тем, что евреи часто оказывались единственным этническим меньшинством в окружающем однородном обществе и при этом часто еще и конкурентами! (Понятие об этническом и расовом многообразии мира и о равенстве людей всех цветов кожи и всех этносов получило распространение в Европе лишь в последней четверти XX века). Эти предрассудки переплелись со всевозможными мифами, легендами и верованиями чуть ли не языческих времен (вспомним хотя бы Вагнера!). В конце концов, все это вылилось в Европе во всеобщую нелюбовь к «пришельцам», временами (и местами) переходящую в откровенную ненависть и погромы.

Но что интересно - в разных странах евреев избивали и убивали под самыми различными, порой взаимоисключающими, лозунгами! В Эстонии, Польше, Литве, Латвии их гнали на смерть, обвиняя в приверженности коммунизму и сотрудничестве с советскими оккупационными властями. В том же польском местечке Едвабно евреев, которых вели в амбар, чтобы сжечь заживо, заставили нести красный флаг.

С другой стороны, во Франции Главный комиссариат по делам евреев в Виши распространял пропагандистские материалы, показывающие евреев международными банкирами, капиталистами, толстосумами-кровопийцами. В Швейцарии выдавали евреев на смерть под предлогом того, что «их маленькая страна не желает раздражать» могущественного соседа, в Швеции – не хотели получить в лице немецких евреев конкурентов, хорваты подозревали евреев в симпатиях к сербам, украинцы – к русским. Единственным «общим знаменателем» между гонителями и палачами во всех странах Европы была жажда наживы. Конечно, в первые послевоенные годы, когда еще только подсчитывали количество погибших, мысль о потерянном имуществе отступала на задний план. Более того, казалась кощунственной. Лишь по прошествии полувека стали вырисовываться масштабы ограбления европейского еврейства. И масштабы эти сами по себе свидетельствуют об истинной

цели Холокоста. Целью этой было ограбление еврейского населения, изъятия у него имущества, накопленного за предшествующие сотни лет.

Отсюда понятен и смысл **мифа номер три**: Холокост прекратился с разгромом нацистской Германии. Конечно, в мае 1945 года печи Освенцима перестали дымить, но сотни тысяч еврейских беженцев, чудом избежавших гибели, метались в первые послевоенные годы по Европе без документов, без средств к существованию, без права вернуться к родным очагам. И, само собой, без права вернуть свое имущество, которое осело в государственных и частных банках, в руках «арийских» фирм, в музеях, у бывших соседей и где-то еще.

Здесь, в пригороде Мюнхена «Гаутинг», по сей день существует заброшенное еврейское кладбище, где покоятся евреи – очень молодые люди из Польши, Литвы, Румынии и других стран, скончавшиеся в 1945 - 1955 годах. Выжившие в концлагере Дахау, они умерли своей (!) смертью, а потому их имена в списках жертв Холокоста не числятся. Но сколько их было, этих имен, по каким еще уголкам и закоулкам Европы разбросаны кладбища, аналогичные тому, что в Гаутинге? А те, кто выжил? В сущности, им не оставили иного выбора кроме бегства из Европы. Но и это было непросто. Те, кто хотел перебраться в США, годами ждали разрешения в лагерях для перемещенных лиц. Еще больше страданий выпало на долю тех, кто хотел добраться до Палестины. Официальный Лондон, играя в свои колониальные игры, отправлял этих людей в концлагеря на Кипре. Более того, не в последнюю очередь благодаря манипуляциям британского министерства колоний, которое сознательно разжигало страсти, заигрывая то с евреями, то с арабами Палестины, полмиллиона палестинских евреев в 1948 году оказались на пороге нового «ближневосточного» Холокоста – регулярные армии восьми арабских стран вторглись в Палестину, с целью «сбросить евреев в море». И не заслуга британцев, что эти армии потерпели поражение, и что в результате этого возникло Государство Израиль. Многие тогда сочли сам факт образование еврейского государства гарантией того, что Холокост навсегда ушел в прошлое. Ничуть не бывало, именно тогда тучи начали сгущаться над Русской равниной.

По всей видимости Сталин начал свой путь к Холокосту еще во время войны с Германией. Хотя советские евреи были естественными врагами нацизма, сталинская пропаганда без устали твердила об их «трусости и предательстве». Это было особенно удивительно на фоне того, что русские, украинцы, кавказцы и балтийцы нередко с радостью сдавались в плен и переходили на службу фашистской Германии. (На стороне Гитлера в разное время сражались до полутора миллиона русских, а в одной только

маленькой Латвии 140 тысяч латышей добровольно записались в войска СС). Нет сомнения, что антисемитская пропаганда была инспирирована Сталиным, чтобы подготовить почву для послевоенных погромных процессов. Сколько их было? Все знают об убийстве знаменитого актера Соломона Михоэлса, о разгоне Еврейского Антифашистского комитета, о закрытии Еврейского театра (ГОСЕТа), о, так называемом, «деле врачей». Но дел такого рода по всей стране было множество. Евреев расстреливали, сажали в тюрьмы и лагеря, изгоняли с работы, травили в печати. К концу 1952 года в стране сложилась обстановка, когда достаточно было искры, чтобы началось массовое избиение евреев; они же – космополиты, они же – сионисты, они же шпионы, они же вредители, отравители и прочие. А затем, «во спасение от народного гнева» последовала бы депортация евреев в отдаленные районы Сибири и их уничтожение. Искра не вспыхнула - смерть Сталина в марте 1953 года спасла советских евреев от нового Холокоста. Но и после этого угроза не исчезла.

Наследник Сталина, Никита Хрущев, вооружив до зубов армии арабских стран, всячески подталкивал их к войне с Израилем. Конечно, в первую очередь Хрущев стремился (по его словам) «ударить в подбрюшину британского империализма», но нет сомнения: не менее важной целью этого откровенного и злобного антисемита было уничтожение Государства Израиль, «дабы собственные евреи» и не помышляли смотреть в его сторону. И не его вина, что за шесть дней июня 1967 года арабские армии были разбиты, а Герой Советского Союза – он же диктатор Египта – Гамаль Абдель Насер так и не сумел осуществить свою мечту о новом Холокосте.

Прошло много лет. Давно нет среди живых Гитлера, Сталина и Хрущева, нет Шукейри, Насера и Арафата, но дело нового, ближневосточного Холокоста, переходя из рук одного знаменосца в руки другого, отнюдь не ушло в небытие. При этом любопытно, что все его адепты шли и продолжают идти в бой под разными знаменами. Любимец Гитлера Иерусалимский муфтий хотел уничтожить евреев, как расово неполноценную нацию. Шукейри обещал сбросить в море «крестоносцев», Насеру Израиль мешал осуществить мечту о панарабизме, отцу и сыну Ассадам создать Великую Сирию, Арафату – палестинское государство. ХАМАСу и Хисбулле – водрузить над Иерусалимом зеленое знамя ислама (ХАМАСу – суннитское, Хисбулле – шиитское), иранским аятоллам – добиться регионального господства. Но в чем же тогда **истинные мотивы** желающих устроить ближневосточный Холокост? В том же, что у тех, кто устроил Холокост в Европе – **жажда наживы**.

Лучше других это продемонстрировал Я. Арафат. Отказавшись в свое время подписать мир с правительством Э. Барака (согласившимся выполнить практически все условия Арафата) и развязав новый виток кровавого террора, так называемую «Вторую интифаду», Арафат дал ясно понять: он не хочет палестинского государства рядом с Израилем, он хочет палестинское государство вместо Израиля. Понять мотивы Арафата (и его преемников) совсем нетрудно. Куда как проще и приятнее быть «героическим лидером освободительного движения», чем президентом крошечного нищего государства. В первом случае ты – любимое дитя «мировой общественности», тебя с объятиями встречают в столицах многих стран, тебя носит на руках вся левацкая и пропалестинская публика, тебя щедро одаривают деньгами, львиную долю которых ты откладываешь на собственные счета ... А президент захудалого государства? Он должен заботиться о строительстве дорог, водопровода и канализации, строить больницы и школы, обеспечивать население продовольствием, рабочими местами... Одним словом, тяжелейшая и кропотливая работа, за которую тебя вечно будут критиковать со всех сторон. Тут то и возникает желание - взять и отобрать все то, что было создано за целое столетие на пустынных и заболоченных землях Палестины. Отобрать обустроенные города и высоко организованное сельское хозяйство, отобрать аэродромы и морские порты, отобрать заводы, дороги, отели. Отобрать все, что было создано кровью, потом и невероятными усилиями всего мирового еврейства.

Да, печи Освенцима давно погасли. Но дым от шести миллионов сгоревших человеческих тел не растворился в атмосфере и не рассеялся где-то на просторах Галактики. Он то уплывает за горизонт, то вновь дает о себе знать здесь и там, напоминая нам, что Холокост отнюдь не ушел в историю.

Franz Kafka (1883-1924) – Schriftsteller, Essayst.

Франц Кафка – писатель, эссеист.

Владимир Абрамсон – писатель, журналист. Автор книг и публикаций в различных странах. Живет в Мюнхене.

Борис Сандлер – писатель, журналист, издатель, главный редактор газеты «Vorward» и Альманаха „Будущее“ (Нью Йорк). Автор множества книг, документальных фильмов, радиопостановок и публикаций в различных странах. Лауреат литературной премии Я. Фихмана. Живёт в Нью Йорке.

Erich Maria Remarque (1898-1970) – Schriftsteller, Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet.

Эрих Мария Ремарк – писатель, автор многочисленных книг, изданных в разных странах. Удостоен различных призов и премий.

Julien Hebenstreit – Musiker, Erzähler, studiert Drehbuch in Filmhochschule München. Autor von mehreren Dokumentarfilmen. Lebt in Germering.

Жюльен Хебенштрайт – музыкант, литератор, студент сценарного факультета Мюнхенской высшей школы кино и телевидения. Живёт в Гермеринге.

Roman Perelstein – писатель, драматург, киносценарист, искусствовед. Доктор философии. Автор киносценариев, книг прозы, по проблемам эстетики и многочисленных публикаций в различных странах. Живёт в Москве.

Roman Perelstein – Schriftsteller, Dramaturg, Drehbuchautor, Kunstwissenschaftler. Doktor der Philosophie. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Moskau.

Konstantin Lopuschanski – кинорежиссёр, сценарист. Кандидат искусствоведения, профессор. Автор книг и фильмов, неоднократно удостоенных призов на Международных фестивалях в разных странах. Живёт в Санкт Петербурге.

Isroel Stern (1891-1943) – Lyriker. Gefangener von KZ Treblinka.

Исроэль Штерн – поэт, узник концлагеря Треблинка

Rachel H. Korn (1898-1983) – Lyrikerin, Schriftstellerin. Mehrfach wurde sie mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet.

Рахель Х. Корн – поэтесса, писатель, многократный лауреат литературных премий.

Pavel Friedmann (1925-1944) – Lyriker. Gefangener von KZ Theresienstadt und Auschwitz

Павел Фридманн – поэт, узник концлагерей Терезиенштадт и Освенцим.

N.N. – Unbekannter Gefangener von Chetto Theresienstadt

N.N. – неизвестный узник гетто Терезиенштадт

Ivan Goll (1891-1950) – deutsch-französischer Dichter. Als Lyriker ging er von deutschen Expressionismus aus. Zudem war er der Wortführer des französischen Surrealismus. Doktor der Philosophie.

Иван Голль – немецко-французский поэт. Представитель немецкого экспрессионизма. Один из основателей во Франции художественного течения «Сюрреализм». Доктор философии.

Paul Celan (1920-1970) – Lyriker, Übersetzer. Autor von mehreren Büchern. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet.

Пауль Целан – поэт, переводчик. Автор многих книг. Лауреат литературных премий.

Борис Хазанов – писатель, эссеист, драматург, переводчик. Автор множества книг и публикаций в различных странах. Один из учредителей и соредакторов журнала «Страна и мир». Лауреат многих литературных премий (в том числе „Dominante-Preis“). Живет в Мюнхене.

Boris Chasanov – Schriftsteller, Essayist, Dramatiker, Übersetzer. Redakteur des Zeitschriften „Der Land und die Welt“. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet (u.a. „Dominante-Preis“). Lebt in München.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) – Dichter, Schriftsteller, Essayist, Übersetzer.

Райнер Мария Рильке – поэт, писатель, эссеист, переводчик.

Osip Mandelstamm (1891-1937) – Lyriker, Erzähler, Essayist

Осип Мандельштам – поэт, прозаик, эссеист

Константин Кедров – поэт, драматург, философ, эссеист. Доктор философии. Президент русской ассоциации поэтов под эгидой FIPA (Юнеско). Шеф-редактор «Журнала ПОэтов». Лауреат многочисленных литературных премий (в том числе „Dominante-Preis“). Основатель поэтической школы «Метаметафора» и объединения «ДООС». Автор множества книг и публикаций в различных странах. Живёт в Москве.

Konstantin Kedrow – Lyriker, Dramatiker, Philosoph, Essayist. Doktor der Philosophie. Präsident der Vereinigung der russischen Dichter unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Der Gründer der poetischen Schule "Metametaphora" und poetische Gruppe „DOOC“. Chefredakteur des Zeitschriften „Журнал ПОэтов“. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet (u.a. „Dominante-Preis“). Lebt in Moskau.

Hilde Domin (1909-2006) – Autorin, Dichterin, Essayistin. Ihr Werk umfasst vor allem lyrische Texte, aber einige Erzählungen sowie einen Roman. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet.

Хильде Домин – поэтесса, прозаик, эссеистин. Автор множества поэтических книг, отдельных рассказов и одного романа. Лауреат многочисленных литературных премий.

Николай Шамс – поэт, публицист, сатирик, переводчик. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Лауреат многих литературных премий. Председатель Тюменского союза писателей. Живёт в Тюмени.

Nikolai Schams – Lyriker, Publizist, Satiriker, Übersetzer. Vorsitzender der Schriftstellersvereinigung in Tjumen. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet. Lebt in Tjumen (Russland).

Елена Кацуба – поэт, эссеист, журналист, редактор, арт-дизайнер. Одна из основательниц поэтического объединения «ДООС», редактор «Журнала ПОэтов». Автор многих книг и публикаций в разных странах. Создатель первых «Палиндромических словарей русского языка». Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

Elena Kazjuba – Lyrikerin, Essayistin, Art-Designerin. Eine von Gründer der poetische Gruppe „DOOC“. Redakteur des Zeitschriften „Журнал ПОэтов“. Autorin von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern, sowie der ersten „Palindromischen Lexika der modernen russischen Sprache“. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet. Lebt in Moskau.

Нури Бурнаш – поэт. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Казани.

Gerhard Bachleitner – Schriftsteller, Publizist, Philosoph, Essayist, Redakteur, Musiker. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in Anthologien, Lexikons und Zeitschriften. Doktor der Philologie. „Dominante-Preisträger“. Lebt in München.

Герхард Бахлайтнер – писатель, публицист, философ, редактор, музыкант. Доктор филологии. Автор книг и многочисленных публикаций в антологиях, журналах, энциклопедиях. Лауреат литературной премии «Dominante-Preis». Живёт в Мюнхене

Сергей Бирюков – Поэт, филолог, перформер, издатель, эссеист, историк и теоретик литературы, переводчик. Доктор философии. Автор многих книг и публикаций в разных странах. Основатель и президент «Академии Зауми». Лауреат многих литературных премий. Живёт в Галле.

Sergei Birjukow – Dichter, Essayist, Performer, Literaturwissenschaftler, Herausgeber. Doktor Philosophie. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Gründer und Präsident der internationalen Akademie der Transrationalen Sprache (Akademija Zaumi)“. Mehrfach wurde er mit verschiedenen Preisen gewürdigt und ausgezeichnet. Lebt in Halle.

Вадим Перельмутер – поэт, историк литературы, эссеист, художник-график, издатель. Доктор философии. Автор множества книг и публикаций в разных странах. Основатель и редактор интернет-журнала „Toronto Slavic Quaterly“. Лауреат многих литературных премий (в том числе «Dominante-Preis»). Почётный член Академий изящных искусств в США и Израиле. Живёт в Мюнхене.

Vadim Perelmutter – Dichter, Essayist, Literaturhistoriker, Übersetzer, Maler-Grafiker, Herausgeber. Doktor der Philosophie. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Gründer und Redakteur Internet-Journal „Toronto Slavic Quaterly“ Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet (u.a. „Dominante-Preis“). Ehrenmitglied von Akademien der Künste in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Áxel Sanjosé – Lyriker, Übersetzer, Komparatistiker. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Doktor der Philologie. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet (u.a. „Dominante-Preis“). Lebt in München

Аксель Санхосе – поэт, переводчик, исследователь в области сравнительного литературоведения. Доктор филологии. Автор множества книг и публикаций в разных странах. Лауреат литературных премий (в том числе «Dominante-Preis»).

Лев Шестов (1866-1938) – Философ-экзистенциалист

Lew Schestow – ein Philosoph des Existentialismus.

Irina Gerschmann – Malerin, Modedesignerin, Pädagoge. Zahlreiche Ausstellungen in verschiedenen Ländern. Lebt in Höchststadt.

Ирина Гершманн – художник, дизайнер моды, педагог. Многочисленные персональные и групповые выставки в различных странах. Живёт в Хёхстате.

Kerstin Blum - Literaturwissenschaftlerin und Komparatistin. Doktor der Philologie. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Adelsdorf.

Anton Röhr – Doktorand an der Philosophischen Fakultät (Uni in München und Erfurt). Lebt in München.

Семён Гурарий – писатель, музыкант. Автор книг и публикаций в различных странах. Редактор альманаха «Доминанта». Живёт в Мюнхене.

Simon Gourari – Schriftsteller, Musiker. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Redakteur des Almanachs „Dominante“. Lebt in München.

Наталия Волкова – поэтесса, актриса, фотограф. Доктор филологии. Автор книг и публикаций в разных странах. Живёт в Праге.

Graziano Moretto – Lyriker, Musikprofessor. Autor von Büchern und Publikationen. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in Antwerpen und Milano.

Elena Kaufmann – Lyrikerin. Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Genja Rykova – Schauspielerin, Lyrikerin, Sängerin. Lebt in München

Марина Бочкова – поэтесса. Живёт в Мюнхене.

Эйтан Финкельштейн – писатель, эссеист, журналист, переводчик, колумнист, издатель. Автор книг и публикаций в различных странах. Один из учредителей и соредкторов журнала «Страна и мир». Основатель и соредктор «Еврейского журнала». Колумнист газеты «Forward» (Нью Йорк). Живёт в Мюнхене

Sergei Tenjatnikow – Lyriker, Übersetzer. Autor von Büchern und Publikationen. Der Gründer der literarische Gruppe „Butterbrod“. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in Leipzig.

***Сергей Тенятников** – поэт, переводчик. Автор книг и публикаций в различных странах. Один из основателей русско-немецкого литературного объединения „Butterbrod“. Живёт в Лейпциге.*

Ирена Лейн – эссеистин, переводчица. Публикации в различных странах. Живёт в Мюнхене.

***Irena Lein** – Essayistin, Übersetzerin. Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.*

Natalia Schewtschenko – Übersetzerin. Lebt in Kazan.

***Наталия Шевченко** – переводчица. Живёт в Казани.*

Ilja Samoilenko – Übersetzer. Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

***Илья Самойленко** – переводчик, публикации в различных странах. Живёт в Мюнхене.*

Efim Schkolnik – Übersetzer, Fotograf. Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Haifa (Israel).

***Ефим Школьник** – Переводчик, фотограф. Пуликации в различных странах. Живёт в Хайфе (Израиль).*

Maxim Schuhmacher – Autor, Übersetzer, MA-Student an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg. Lebt in Halle.

***Максим Шумахер** – автор, переводчик, студент магистрант университета им. Мартина Лютера (Галле/Виттенберг). Живёт в Галле.*

ISSN 1863--6322

